

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ—АПРЕЛЬ

«НАУКА»

МОСКВА — 1993

Главный редактор: Т.В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю С. СТЕШАНОВ, Н.И. ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АБАЕВ В.И.
БАНГР В. (ФРГ)
БЕРНШТЕЙН С.Б.
БИРНБАУМ Х. (США)
БОГОЛЮБОВ М.Н.
БУДАГОВ Р.А.
ВАРДУЛЬ И.Ф.
ВАХЕК (Чехия)
ВИНТЕР В. (ФРГ)
ГРИНБЕРГ Дж. (США)
ДЖАУКЯН Г.Б. (Армения)
ДОМАШНЕВ А.И.
ДРЕССЛЕР В. (Австрия)
ДУРИДАНОВ И. (Болгария)
ЗИНДЕР Л.Р.
ИВИЧ П. (Югославия)
КЁРНЕР К. (Канада)
КОМРИ Б. (США)
КОСЕРИУ Э. (ФРГ)
ЛЕМАН У. (США)
МАЖЮЛИС В.П. (Литва)

МАЙРХОФЕР М (Австрия)
МАРТИНЕ А. (Франция)
МЕЛЬНИЧУК А.С. (Украина)
НЕРОЗНАК В.П.
ПИЛЬХ Г. (ФРГ)
ПОЛОМЕ Э. (США)
РАСТОРГУЕВА В.С.
РОБИНС Р. (Великобритания)
СЕМЕРЕНЬИ О (ФРГ)
СПЛОСАРЕВА Н.А.
ТЕНИШЕВ Э.Р.
ТРУБАЧЕВ О.И.
УОТКИНС К. (США)
ФИШЬЯК Я. (Польша)
ХАТТОРИ СИРО (Япония)
ХЕМП Э. (США)
ШВЕДОВА Н.Ю.
ШМАЛЬСТИГ В. (США)
ШМЕЛЕВ Д.Н.
ШМИДТ К.Х. (ФРГ)
ШМИТТ Р. (ФРГ)
ЯРЦЕВА В.Н.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЛПАГОВ В.М.
АНРЕСЯН Ю.Д.
БАСКАКОВ А.Н.
БОНДАРКО А.В.
ВАРБОТ Ж.Ж.
ВИНОГРАДОВ В.А.
ГЕРЦЕНБЕРГ Л.Г.
ГАК В.Г.
ДЫБО В.А.
ЖУРАВЛЕВ В.К.
ЗАЛИЗНЯК А.А.
ЗЕМСКАЯ Е.А.
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.
КАРАУЛОВ Ю.Н.
КИБРИК А.Е.
КЛИМОВ Г.А. (отв. секретарь)
КОДЗАСОВ С.В.

ЛЕОНТЬЕВ А.А.
МАКОВСКИЙ М.М.
НЕДЯЛКОВ В.П.
НИКОЛАЕВА Г.М.
ОТКУПЩИКОВ Ю.В.
СОБОЛЕВА И.В.
СОЛНЦЕВ В.М.
СТАРОСТИН С.А.
ТОПОРОВ В.Н.
УСПЕНСКИЙ Б.А.
ХЕЛИМСКИЙ Е.А.
ХРАКОВСКИЙ В.С.
ШАРБАТОВ Г.Ш.
ШВЕЙЦЕР А.Д.
ШИРОКОВ О.С.
ЩЕРБАК А.М.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 201-74-42

СОДЕРЖАНИЕ

Добровольский Д. О., Караулов Ю. Н. (Москва). Идиоматика в тезаурусе языковой личности	5
Николаева Т. М. (Москва). Просодическая схема слова и ударение. Ударение как факт фонологизации	16
Кангер Л. А. (Москва). К проблеме систематизации интонемного фонда языка	29
Бомхард А. Р. (Бостон). Развитие личных показателей атематических глаголов в праиндоевропейском	42
Перельмугер И. А. (С.-Петербург). Функционально-семантическая эволюция индоевропейского медиа	50
Ходорковская Б. Б. (Москва). К предыстории системы времен инфекта/перфекта в латинском и оскско-умбском языках (Становление системы перфекта)	58
Телегин Д. Я. (Киев). Иранские гидронимы на Левобережье Днестра и археологические культуры	69
Хэмп Э. (Чикаго). К методике анализа историко-фонетических аномалий. Индра, его лук и виноградная гроздь	80
Татаринцев Б. И. (Кызыл). Заимствования или исконная лексика? (К проблеме древних слов иноязычного происхождения в тюркских языках) (Окончание)	83
Мароевич Р. (Белград). Неопределенно-личные предложения в русском языке и их сербские эквиваленты (О соотношении сопоставительной лингвистики и теории перевода)	96

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Радченко О. А. (Ульяновск). Лингвофилософский неоромантизм Й. Л. Вайсгербера	107
Й. Л. Вайсгербер. Язык и философия	114

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Пиотровский Р. Г. (С.-Петербург), Попескул А. Н. (Кишинев), Совпель И. В. (Киев). Как строится и работает лингвистический автомат	125
---	-----

РЕЦЕНЗИИ

Климов Г. А. (Москва). <i>Фенрих X, Сарджвеладзе З. А.</i> Этимологический словарь картвельских языков	135
Домашнев А. И. (С.-Петербург). <i>Stellmacher D.</i> Niederdeutsche Sprache. Eine Einführung	139
Зограф Г. А. (С.-Петербург). <i>Masica C. P.</i> The Indo-Aryan languages	143
Веретенников А. А. (Москва). <i>Рубинчик Ю. А.</i> Лексикография персидского языка	149
Красухин К. Г. (Москва). <i>Lamberteric Ch. de.</i> Les adjectifs grecs en -us: Sémantique et comparaison	153

CONTENTS

Dobrovol'skij D.O. Karaulov Yu.N. (Moscow). Idiomaticity in the thesaurus of the speaker's personality; Nikolaeva T.M. (Moscow). Prosodic scheme of the word and the role of accentuation. Accentuation as a fact of phonologization; Kanter L. A. (Moscow). Systemic view of the intoneme-stock of language; Bomhard A. R. (Boston). The prehistoric development of the athematic verbal endings in Proto-Indo-European; Perel'muter I. A. (St.-Petersburg). Functional and semantic evolution of the Indo-European medium; Xodor'kovskaya B.B. (Moscow). On the pre-history of the tense system "inflect/perfect" in Latin and Oscan -Umbrian (The formation of the system of perfect); Telegin D. Ya. (Kiev). Iranian hydronyms on the left shore of the river Dniepr and archaeological cultures; Hamp E (Chicago). The methods of analysis of historical-phonetic anomalies. Indra, his bow and his grape; Tatarincev B. I. (Kyzyl). Loans or original word-stock? (On the ancient words of foreign origin in the Turkic languages) (End); Marojevič R. (Belgrade). Impersonal sentences in Russian and their equivalents in Serbian (On the correlation of conterastive linguistics and the theory of translation); *From the history of science*: Radčenko O. A. (Ulianovsk). Linguophilosophical neoromanticism of J.L. Weisgerber; J.L. Weisgerber. Language and philosophy; *Reviews*: Piotrovskij R. G. (St.-Petersburg), Popescul A. N. (Kischinev), Sovpel I. V. (Kiev). How a linguistic automat is built and how it works; Klimov G. A. (Moscow). *Fährnich H., Sardžveladze Z.A.* An etymological dictionary of the Kartvelian languages; Domašnev A. I. (St.-Petersburg). *Stellmacher D.* Niederdeutsche Sprache. Fine Einführung; Zograf G. A. (St.-Petersburg). *Masica C.P.* The Indo-Aryan languages; Veretennikov A. A. (Moscow). *Rubinčik Yu.A.* Lexicography of the Persian language; Krasuxin K. G. (Moscow). *Lamberterte Ch. de.* Les adjectifs grecs en -υς; Sémantique et comparaison.

© 1993 г. ДОБРОВОЛЬСКИЙ Д.О., КАРАУЛОВ Ю.Н.

ИДИОМАТИКА В ТЕЗАУРУСЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

"Единственно ложная перспектива — это та, которая полагает себя единственной".

Хосе Ортега-и-Гассет. Что такое философия

I. Под тезаурусом языковой личности понимается один из трех уровней организации языковой способности носителя языка, т.е. один из уровней владения языком [1]. Для тезаурусного уровня характерно наличие многочисленных координационных и субординационных, осознаваемых и неосознаваемых связей между отдельными языковыми сущностями и стоящими за ними концептуальными структурами. Эти связи могут основываться на денотативных отношениях между соответствующими фрагментами мира, на некоторых "классификационных" представлениях о понятийных иерархиях, на ситуативной соположенности определенных предметов и событий, и, наконец, на ассоциативных отношениях. Теоретическое осмысление этих сложных и неоднородных связей, попытки их системного описания закономерно приводят к необходимости построить некоторые модели тезаурусного компонента языковой компетенции, иными словами, создать лексикографические продукты, организованные по принципу "от концепта к знаку" и эксплицирующие связи между концептами.

Особо интересной представляется задача построения идиоматических тезаурусов, поскольку идиоматика обнаруживает целый ряд семантических и структурных особенностей (многосоставность, образность, культурная значимость и т.п.), которые каким-то образом должны влиять на структуру тезауруса, делая его более сложным и неоднородным. В настоящее время в Институте русского языка РАН ведется работа над проектом "Тезаурус русских идиом" (авторы: А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский, Ю.Н. Караулов). Основная задача этого проекта — представить в лексикографической форме наиболее существенные психологически реальные связи и отношения, пронизывающие русскую идиоматику¹.

Совершенно ясно, что любой тезаурус в эксплицитной форме отражает определенные представления о мире. Например, вводя в структуру тезауруса такие традиционные рубрики (таксоны), как "животные", "растения", "артефакты", мы фиксируем представление о раздельном и независимом существовании в мире этих трех классов сущностей. Хотя в этом случае ни с точки зрения обыденного сознания, ни с точки зрения научных знаний не возникает серьезных сомнений в правомочности такого разделения, по отдельным решениям тем не менее могут возникнуть споры (ср. например, биологические феномены, занимающие промежуточное положение между растениями и животными). Гораздо сложнее принимать классификационные решения там, где речь идет о непредметных сущностях типа человеческих эмоций, межличностных отношений, ментальных категорий и т.п.

¹ Проект осуществляется на основе компьютерных баз данных по русской идиоматике, включающих все идиомы и их варианты, зафиксированные в словарях [2—6], и новые идиомы, появляющиеся в современных художественных и публицистических текстах.

Поскольку при создании идиоматических тезаурусов приходится сталкиваться почти исключительно с непредметными сущностями (при интерпретации которых, кстати, особенно заметны конфликты между бытовыми, "наивными" и научными, "энциклопедическими" представлениями о мире), исследователь должен с самого начала определить, в рамках какой системы представлений (какой модели мира) он намерен действовать. Идиоматика, как известно, принципиально обращена не столько в мир, сколько на самого субъекта, т.е. идиомы изначально создаются не для того, чтобы описывать мир, а для того, чтобы его интерпретировать, чтобы выражать субъективное и, как правило, эмоционально окрашенное отношение говорящего к миру. Этот факт практически исключает возможность описания идиом и соответственно построения идиоматических тезаурусов в рамках "энциклопедической", претендующей на объективность модели мира.

Таким образом, исходным пунктом наших размышлений о путях и способах построения тезауруса русских идиом является исключительная ориентация на зафиксированную в языке обыденную, "наивную" модель мира. Эта ориентация предопределяет и технологию конструирования тезауруса. Если при описании научной модели предпочтителен дедуктивный путь, т.е. путь от некоторых априорных представлений о существовании тех или иных классов сущностей к языковым структурам, обозначающим эти сущности, то при ориентации на экспликацию субъективных, "наивных" представлений, которые не только отражаются в языке, но и в значительной степени зависят от языка (точнее от способа их языковой зашифровки), естественнее идти индуктивным путем. Это означает, что за исходный пункт анализа принимается языковая структура² (в нашем случае идиома), которой приписываются некоторые дескрипторы. Дескрипторы одновременно могут быть именами соответствующих таксонов в тезаурусе³. Затем идиомы разносятся по таксонам, и, наконец, между таксонами устанавливаются координационные и субординационные связи. Однако эта простота и четкость анализа являются лишь кажущимися. Трудности поджидают исследователя буквально на каждом шагу.

Поскольку сложности и проблемы построения идиоматических тезаурусов применительно к различным языкам обсуждались уже достаточно подробно (см. [8—10]), мы позволим себе лишь кратко перечислить основные из них.

Все трудности, с которыми сталкивается лингвист при построении тезауруса идиом, могут быть подразделены на две группы: проблемы приписывания идиомам дескрипторов и проблемы экспликации связей между таксонами.

Первая группа проблем связана с тем, что приписывание дескриптора не является механической процедурой, приводящей к однозначным результатам, а базируется на семантических интерпретациях, допускающих большую свободу выбора, а следовательно, и опасность "произвола исследователя". Кроме того, для получения сопоставимых результатов предварительно должны быть оговорены принципы минимизации метаязыка.

На первый взгляд представляется, что каждой идиоме достаточно приписать один (так сказать, "вершинный") дескриптор, как это и делалось в традиционных идеографических справочниках типа [11]. Ср., например, *сыграть в ящик* — "смерть", *залить шары* — "пьянство", *вцепиться друг другу в волосы / волосы* — "ссора".

Однако значение большинства идиом не может быть исчерпано одним дескриптором. Какой дескриптор приписать, например, идиоме *положить на*

² Такого типа классификация разработана Н. Ю. Шведовой [7] и теперь уже практически воплощена автором в новом словаре русского языка.

³ Дескрипторами мы называем элементы семантического метаязыка, которые подобно ярлыкам "приклеиваются" к соответствующим идиомам. Таксонами мы называем единицы тезауруса, соответствующие рубрикам и подрубрикам.

лопатки? Здесь одинаково важно и то, что речь идет о "победе", и то, что имеется в виду ситуация "спора" или "дискуссии", а не физическая борьба (иначе эта идиома воспринималась бы буквально, т.е. перестала бы быть идиомой). В идиоме *вызвать на ковер* одинаково важно и то, что актантами ситуации могут быть только "начальник" (агенса) и "подчиненный" (пациенса), и то, что агенс "порицает" пациенса, т.е. "высказывает" свое "недовольство", причем в достаточно "резкой форме", и что место действия также фиксировано — "кабинет начальника". При редукции значения этой идиомы до какого-либо одного, "вершинного" дескриптора (например, "порицание") теряется значительная часть существенной информации, которая, возможно, не менее важна для установления психологически реальных связей этой идиомы в тезаурусе языковой личности. Так, например, интуитивно представляется вполне правдоподобным, что связь этой идиомы с дескрипторами, а значит, и с таксонами "начальник", "подчиненный", "кабинет" не менее "сильная", чем с таксоном "порицания".

Попытки преодоления этих трудностей заставляют искать выход в "атомистической идеологии", т.е. в разложении значения идиомы на элементарные составляющие — семы (так, "порицание" — это "действие", "намеренное", "однонаправленное", "вербальное", "с целью..." и т.д.), с последующим помещением ее в множество таксонов по числу сем, выделенных в ее семантической структуре. При кажущейся объективности и надежности этот путь также оказывается тупиковым (см. подробнее [8]). Дело не только в том, что лексикографический продукт, изготовленный по этим принципам, неприемлем для пользователя из-за его громоздкости, но и в том, что семное представление структуры значения вряд ли обладает психологической реальностью.

Выход из этих трудностей видится нам в обращении к идее семантических прототипов [12—14], в соответствии с которой основанием отнесения некой сущности к определенной категории служат не дистинктивные признаки, а отношения сходства. Ориентация на базовый (первичный) и в онтогенезе и в филогенезе) уровень концептуализации позволяет, на наш взгляд, найти разумный компромисс между наивным представлением о сводимости значения идиомы к одному дескриптору и претендующим на объективность атомистическим подходом, при котором (в его наиболее последовательных и действительно верифицируемых версиях) разложение на элементарные смыслы должно осуществляться до уровня "семантических примитивов" [15]. Конкретно ориентация на семантические прототипы означает, что, к примеру, идиома *отправить на тот свет* получит дескриптор "убийство" или "убивать" (вопрос о номинации дескрипторов пока остается открытым), а не дескрипторы "каузация", "конец", "жизнь", "насильственно". Такой способ характеристики идиоматики смыкается с идеями "естественного" тезауруса «В "естественном" тезаурусе языка найдется отражение тот факт, что в качестве родовых терминов могут употребляться слова в уменьшительных формах ("деревце", "вещица"), и тот факт, что некоторые родовые термины биологической систематики не являются таковыми для носителя русского языка: например, слово "насекомое" не является родовым термином слова "бабочка"» [16].

Такой подход, естественно, предполагает, что во всех необходимых случаях идиомам будут приписаны не один, а несколько дескрипторов, но не по количеству сем в структуре их значения, а по количеству семантических прототипов, лежащих в их основе. (Примеры см. выше). С другой стороны, новый взгляд на семантику идиом позволяет объединять разные дескрипторы в кластеры. Это целесообразно во всех тех случаях, когда за мнимой многозначностью идиомы стоит некая единая в своей основе концептуальная структура, относящая данную идиому к целостному прототипическому представлению. Например, идиома *трястись/дрожать над каждой копейкой* может означать в зависи-

мости от ситуации "скупой" или же "экономный" [17]. Ср. *От него ничего не получишь, он ведь дрожит над каждой копейкой и Мы тогда жили очень бедно, вынуждены были во всем себе отказывать, буквально дрожали над каждой копейкой.* Для этой и сходных с ней по семантике идиом целесообразно открыть "кластерный" (градуальный по своей сути) таксон "скупой, жадный, экономный". Подробнее о дескрипторных кластерах см. [10]. В практической работе по составлению идеографических словарей фразеологи приближались к подобным представлениям, ср., например [18]. Но поскольку рубрикация в подобных словарях осуществлялась вслед за сложившейся во фразеологии традицией на априорно-дедуктивной основе (ср. такие рубрики, как "Начало—Конец", "Множество", "Целиком. Полностью", "Единство. Согласие", "Цена. Оценка"), на этом пути, как мы пытались показать выше, не достигается ни полная концептуальная адекватность⁴, ни тем более соответствие психологической реальности. Справедливости ради следует отметить, что в некоторых рубриках подобных классификаций их авторам на интуитивной основе удается максимально приблизиться к кластерному представлению, о котором речь шла выше (ср. такие рубрики, как "Сила. Власть. Влияние. Преобладание", "Отрицание. Отказ. Несогласие. Возражение").

Идея дескрипторных кластеров интересна не только с точки зрения удобства и связанной с этим психологической адекватности тезаурусного представления идиом⁵, но и с чисто теоретических позиций, так как позволяет выявить одну весьма нетривиальную особенность значения идиом, а именно их семантическую синкретичность, концептуальную диффузность. Проанализированный материал позволяет предположить, что за идиомами в ряде случаев стоят нерасчлененные, "донаучные" концепты, соответствующие недискурсивному, мифологическому типу мышления⁶. Основная функция идиом состоит не в том, чтобы приписывать фрагментам мира тонко дифференцированные характеристики (для этого в языке есть другие средства), а в том, чтобы выразить субъективный, эмоционально-оценочный взгляд на мир, причем эти субъективные модальности могут быть весьма тонко специфицированы. Иными словами, размытость "объективного" интенционала компенсируется за счет дифференцированности "субъективного" импликационала. Эти особенности значения идиом не могут не влиять на структуру тезауруса.

Вторая группа проблем связана с тем, что приведение отдельных терминальных таксонов тезауруса (которые, допустим, уже сформированы, хотя для этого предстоит разрешить все описанные выше трудности) в систему, достройка над ними иерархических деревьев допускает множественность интерпретаций. В какой гипертаксон следует, к примеру, включать терминальный "прототипический" таксон "обман", представленный такими идиомами, как *вешать лапшу на уши, обвести вокруг пальца, втирать очки, заговаривать зубы, морочить голову* и т.д.? В "знания" (если интерпретировать "обман" как "каузацию нахождения пациента в состоянии ложного знания")? Или в "информацию" (если понимать "обман" как "сообщение ложной информации")? Или в "намеренные действия" (если "обман" — это "нефизическое однонаправленное намеренное действие, совершаемое с целью введения пациента в заблуждение")? В принципе выход из этих трудностей может быть найден на путях построения

⁴ Так, например, в словаре [18] внутри раздела "Свойства и качества человека" не представлены рубрики "Скупость", "Щедрость", хотя фразеологизмов, входящих в эти рубрики, в русском языке много.

⁵ Заметим, кстати, что критерий удобства расположения идиом в тезаурусе с точки зрения потенциально пользуетеля при всей своей кажущейся утилитарности может служить показателем психологической реальности выделяемых классов, так как "несудобство" возникает именно в тех случаях, когда решения лексикографа наталкиваются на интуитивное неприятие носителей языка.

⁶ Таким образом, задачи построения идиоматического тезауруса заставляют совершенно по-новому взглянуть на проблему так называемой "широты фразеологического значения", неоднократно обсуждавшуюся в специальной литературе.

сложных многомерных концептуальных систем, отражающих все допустимые интерпретации. Это означает, что в нашем примере таксон "обман" должен быть помещен во все перечисленные (и, возможно, еще в некоторые не учтенные здесь) таксоны одновременно.

Однако при таком подходе мы получим плохо структурированный продукт, который при этом вряд ли сможет претендовать на соответствие тому, как "хранится" идиома в памяти носителя языка и используется в речи, т.е. на психологическую реальность. Дело в том, что анализ материала подвел нас к несколько "крамольной" гипотезе о том, что в обыденном сознании классификация действий, состояний, фактов, событий и т.п. осуществляется по совершенно иным основаниям, чем это принято делать в классических тезаурусах, а в ряде случаев не осуществляется вообще, т.е. некоторые участки картины мира остаются "непроницаемыми" для классификаторской деятельности говорящего. Иными словами, мы, употребляя идиому *вешать лапшу на уши*, возможно, вообще не задаемся вопросом, в какой таксон входит, например, "обман". Обман в обыденном сознании есть обман и больше ничего.

Нет уверенности, что преодолев перечисленные трудности логическим путем, мы приблизимся к выявлению реальной картины хранения идиоматики в сознании носителя языка. Эти соображения заставили нас обратиться к ассоциативному словарю.

II. В Институте русского языка РАН подготовлен к печати уникальный ассоциативный словарь большого объема, базирующийся на более чем 1000 стимулах (S), на каждый из которых получено не менее 500 реакций (R). Лексический, морфологический, словообразовательный и синтаксический анализ прямой (S→R) и обратной (R→S) частей этого словаря позволил установить, что по своим свойствам он с достаточной степенью полноты и надежности отражает организацию ассоциативно-вербальной сети среднестатистического носителя русского языка, сети, лежащей в основе языковой способности говорящего и совпадающей с лексиконом языковой личности [19]. В то же время свойства ассоциативно-вербальной сети дают возможность утверждать, что она может рассматриваться как один из равноправных способов репрезентации языка в целом. Существуют два традиционно принятых способа представления языка: язык-совокупность и язык-система. Язык-совокупность воплощается в текстах, а язык-система находит отражение в лингвистических описаниях—грамматиках и словарях.

Анализ ассоциативно-вербальной сети как раз и продемонстрировал, что она обладает свойствами как текстовыми, так и системными. Именно в этом отношении мы и предлагаем расценивать ее как третий, равноправный с двумя известными способ репрезентации языка, обладающий важнейшим дополнительным качеством, а именно, психологической реальностью. Ассоциативно-вербальная сеть, будучи онтологичной по своей сути, фиксирует психологически релевантные связи и отношения, которые не находят отражения в системной и текстовой ипостасях языка.

Таким образом, анализ ассоциативно-вербальной сети с точки зрения бытования в ней идиоматики может вывести на такие особенности ее хранения в памяти носителя, характеризующие реальности языковой способности, которые позволяют использовать новые принципы построения тезаурусной классификации.

III. Анализ ассоциативного словаря с точки зрения поиска ответов на вопрос о психологической реальности тех или иных "тезаурусных" связей в сфере идиоматики позволил сделать следующие выводы.

1. Доминируют синтагматические ассоциации "слева направо" типа БАБУШКА *надвое* сказала, ВОДИТЬ *за нос*, ПЕРЕЙТИ *Рубикон*, ПЕРЕТЬ *на рожон*⁷ (гораздо реже представлены случаи связи "справа налево" типа НОМЕР *дохлый*,

⁷ Прописными буквами даются стимулы (S), курсивом — реакции (R)

НОСУ *дать по*, НЛБО *седьмое*, ОВЦА *паршивая, наблюдая*). Ассоциации на гиперонимы, важные для построения тезаурусов (в привычном значении термина), практически отсутствуют. Например, на стимул ОБМАН нет ни одной идиомы, хотя известно, что существует несколько десятков идиом, попадающих в этот идеографический таксон. Отсюда следует, что "вещные" ассоциации (типа ОГОНЬ *вода и медные трубы*, где реакция обусловлена "квазисимволической" функцией стимула в составе идиомы, а не его "значениями" в лексикографическом смысле) обладают большей психологической реальностью, чем собственно понятийные, родо-видовые, синонимические, антонимические и т.п.

2. Роль слов-компонентов в идиоме как самостоятельных существей явно недооценивалась стандартной фразеологической теорией, говорившей об их "растворении" в составе целостной номинации, рядоположенной слову. Ассоциации свидетельствуют о том, что в лексиконе языковой личности (в ассоциативно-вербальной сети) компоненты обладают самостоятельным ассоциативным потенциалом (как слова). Иными словами, возможно предположить, что в тезаурусе языковой личности идиомы хранятся не только как целостные знаки (так как мы привыкли описывать их в словарях), но и покомпонентно, т.е. например, *огонь, вода и медные трубы* хранится в одном таксоне с ОГНЕМ, и с ВОДОЙ, и с МЕДНЫМ, и с ТРУБАМИ, а не только в таксоне "опытный, бывалый" и т.п.

3. Парадигматические ассоциации, которые могут быть проинтерпретированы в тезаурусном смысле, встречаются крайне редко. Например, НАЧИНАТЬ: *браться за дело*, НАЧАЛА: *точка опоры* (таксон "начало"), НГМОЩЬ: *старость не радость*, НРАВИТЬСЯ: *крутить голову* (таксон "каузировать нравиться"), ОБОЛЬСТИТЬ: *обвиться как змея*, ОТВЕТИТЬ: *дать знать, дать повод*, ОТДЫХАТЬ: *валять дурака*, ОТЕЦ: *глава семейства, глава семьи*, ОТКРЫТЫЙ: *душа-парень* (таксон "открытый характер"). Интересно, что в большинстве случаев стимулами, провоцирующими "тезаурусные" ассоциации, являются глаголы.

4. В ряде случаев стимулы (как правило, глаголы широкой семантики) дают реакции, которые могут быть проинтерпретированы двояко: как синтагматически, так и парадигматически. При синтагматической интерпретации глагол-стимул может рассматриваться как компонент идиомы-реакции, при парадигматической — как имя достаточно абстрактного таксона типа "состояние" "каузалия состояния", "инициация состояния" и т.п. Возможно, что тезаурус бытового языка (= наивная модель мира) организован именно таким образом: ряд конкретных таксонов, передаваемых семантическими прототипами ("обманывать", "нравиться", "отец"), включается сразу в некоторые абстрактные категории типа "находиться", а не поэтапно в ряд все более абстрактных таксонов, привычных для древесных представлений. Например, все реакции на НАХОДИТЬСЯ (*за гранью чего-л., за пределами, на краю пропасти, на седьмом небе, не в духе, не у дел, по краю пропасти, под ковриком, под крышей, под мухой, у края пропасти*) могут быть проинтерпретированы не только как синтагматические (что, кстати, в ряде случаев смотрелось бы странно: **находиться по краю пропасти, *находиться на седьмом небе, скорее уж быть на седьмом небе* и т.п.), но и как парадигматические — таксон "состояние". Ср. также:

ОСТАВАТЬСЯ (*самим собой, собой, человеком, в дураках, в тени, с носом, в неведении, без гроша, борт, в строю, на бобах, на чем-то своем, наедине с собой, не у дела, при своих интересах, при себе, сходить с ума, у разбитого корыта*);

ОКАЗАТЬСЯ (*в дураках, не у дел, в луже, за бортом, вне игры, на высоте, в галоше, в калоше, в переплете, галоша, калоша, на перепутье, на пределе, на распутье, под колесами, при своем интересе, у порога*);

ОКАЗЫВАТЬСЯ (*в дураках, не у дел, в луже, с носом, в калоше, в дерьме, в доле, вне игры, на высоте, на распутье, не на высоте, не у дела, перед лицом, у разбитого корыта*);

ОСТАВИТЬ (в дураках, на потом, в положении, на бобах, с носом, след в жизни);

ОСТАНОВИТЬСЯ (на полпути, на полдороге, на грани, на краю пропасти, перед бездной);

ОСТАТЬСЯ (в дураках, с носом, самим собой, на бобах, в тени, при своем интересе, бобы, в кустах, в рядах, в строю, в хвосте, за бортом, на мели, с самим собой);

ОТДАТЬ (должное, последнее, дань, душу, последнюю рубаху, сердце, Богу душу, отдать душу, ради Бога, руку).

5. Все сказанное позволяет сделать осторожное предположение, что тезаурусы с классическим древесным представлением концептуальных областей (по крайней мере, на материале идиоматики) не обладают адекватностью структуре языковой способности, иными словами, носитель языка в ходе ассоциативного эксперимента никак не выдал организацию своего ментального "идиоматикона" (если предположить, что она все же существует в виде некоего иерархически упорядоченного множества таксонов — концептуальных областей, наполненных конкретными идиомами). Если считать, что результаты эксперимента в какой-то степени изоморфны психологически реальным связям между единицами языка в мозгу носителя, то следует признать (по крайней мере, в виде осторожной гипотезы), что идиомы хранятся в ментальном лексиконе скорее покомпонентно, чем холистически, что они включаются только в "обыденные" таксоны, задаваемые семантическими прототипами и/или в суперабстрактные таксоны, задаваемые понятийными константами типа "быть", "оказаться" (и то только в том случае, если есть прямое или косвенное лексическое подкрепление, т.е. если слово со значением понятийной константы может синтагматически ассоциироваться с данной идиомой).

Сказанное, по-видимому, не должно означать необходимости отказа от привычных древесных построений в рамках тезауруса идиоматики, но указывает, однако, на их интерпретационные рамки: деревья тезауруса — это конструкты лингвистов, создаваемые с той или иной целью и не претендующие на психологическую реальность. Следовательно, и оценивать их можно только с точки зрения их целесообразности, телеологической (а не онтологической) адекватности. Тезаурус, претендующий на психологическую реальность, в принципе может быть построен, но уже сейчас ясно, что он не будет отличаться ни изяществом презентации, ни логической последовательностью классификационных шагов. Не совсем ясно пока, каким образом вообще будут задаваться отношения включения между таксонами. Т.е. в принципе можно себе представить, что в рамках ассоциативного эксперимента одна и та же идиома (например, *стоять на краю пропасти*) попадет в таксон "состояние" (ср. **НАХОДИТЬСЯ на краю пропасти**) и в таксон "опасность" (в ассоциативном словаре **ОПАСНОСТЬ** как стимул отсутствует).

Но можно ли на этом основании делать вывод о том, что в тезаурусе языковой личности "опасность" входит в "состояние"? Во всяком случае это предположение мы не можем пока экспериментально подтвердить.

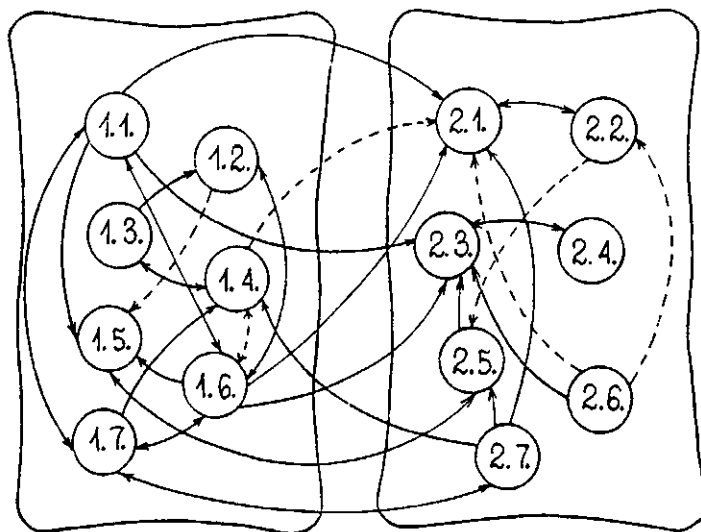
С другой стороны, в связи с этим встает вопрос о соотношении информации, зафиксированной в текстах, и данных массового ассоциативного эксперимента. Если носитель языка в состоянии правильно употреблять ту или иную языковую структуру (например, идиому *стоять на краю пропасти*), то значит, он знает обо всех ее тезаурусных вхождениях, определяющих свойства данного концепта (по Л. Витгенштейну [20]), даже если это знание не осознается и не выявляется в ходе ассоциативного эксперимента (см. также схему в разделе IV).

IV. Сделанные наблюдения позволяют предположить такие принципы построения идиоматического тезауруса, которые, соответствуя психологической реальности, дадут новые основания для лексикографического упорядочения состава идиом. В соответствии с этими принципами идиомы объединены по пра-

вилу "от концепта к знаку", между таксонами устанавливаются отношения не по априорно-логическим законам сущностной иерархии, а на основании их реальных ассоциативных связей. Прибегая к графической метафоре, эти соотношения следует представлять не в виде классических деревьев, а примерно следующей схемой:

1. Вхождение в состояние
(стимулы на глаголы ОКА-
ЗАТЬСЯ/ОКАЗЫВАТЬСЯ)

2. Нахождение в состоянии
(стимулы на глагол НА-
ХОДИТЬСЯ)



Вхождение в со-
стояние

- 1.1. — трудное (положение) (*в переплете*)
- 1.2. — успеха (*на высоте*)
- 1.3. — ожидания (*у порога*)
- 1.4. — неопределенности (*на перепутье, на распутье*)
- 1.5. — нарушения нормы (*на пределе*)
- 1.6. — неуспеха (*в луже, в галоше, в калоше, в дураках, при своем интересе*)
- 1.7. — отторгнутости от активной деятельности (*не у дел, за бортом, вне игры*)

Нахождение
в состоянии

- 2.1. — душевного дискомфорта (*не в духе*)
- 2.2. — счастья, блаженства (*на седьмом небе*)
- 2.3. — опасности (*на краю пропасти, у края пропасти*)
- 2.4. — под посторонним контролем (*под колпаком*)
- 2.5. — нарушения нормы (*за гранью, за пределами*)
- 2.6. — алкогольного опьянения (*под мухой*)
- 2.7. — отторгнутости от активной деятельности (*не у дел*)

Ср. разд. III, п. 4.

Дуги символизируют более или менее явные (однаправленные и взаимные) связи между таксонами, как внутри гипертаксона (1.1. "трудное положение" — 1.6. "состояние неуспеха"), так и за его пределами (1.7. "вхождение..." — 2.7. "нахождение в состоянии отторгнутости от активной деятельности").

Даже этот небольшой фрагмент показывает, что воспроизведение отношений между идиомами с учетом их психологической реальности приводит к сложной сетевой структуре. Подобные "коннекционистские" структуры не обладают схематической прозрачностью, но тем не менее выявляют такие особенности идиом, которые не учитываются в логически стройной системе традиционных тезауру-

сов. Преимущества сетевых структур перед древесным представлением усматриваются, в частности, в том, что они позволяют отразить существующие в сознании носителя языка связи между такими таксонами, которые при древесном представлении не имеют ничего общего и могут оказаться на конечных ветвях не связанных между собой деревьев. Например, идиома *обвести вокруг пальца* окажется в одном из терминальных таксонов дерева "информация" или "активные действия" или, может быть, "знания", а явно связанная с ней по смыслу идиома *оказаться в дураках* — в одном из таксонов дерева "состояние". Сетевой подход выявляет эту связь, так как "древесное" представление требует однозначной позиции по основанию бинарной классификации, которая на самом деле не может быть обеспечена (см. разд. I). Дерево эксплицирует только связи между вышестоящим и нижестоящим узлами, игнорирует горизонтальные связи, а также связи за пределами дерева. Кроме того, древесное представление уже своей формой навязывает необходимость структурировать все пространство идиоматики, которое, как показывает опыт идеографических классификаций, не поддается строгому логическому разбиению во всем своем объеме.

Однако мы отдаем себе отчет в том, что такая сетевая структура не может стать единственной основой создания идиоматического тезауруса как лексикографического продукта, поскольку, обладая психологической реальностью, она оказывается исключительно сложной для словарного представления (ср. схему).

С другой стороны, даже эта схема с ее многочисленными дугами, символизирующими многообразие связей, не отражает всех реальных отношений между идиомами в сознании носителя языка. Несмотря на все многообразие отображенных на схеме связей, это еще не все реально существующие отношения, а лишь парадигматические (см. разд. III, п. 4—5). Введение в схему описания синтагматических связей (между S и R в ассоциативно-вербальной сети), а также учет образных отношений (типа УПАСТЬ *лицом в грязь*, где R дана на внутреннюю форму — образ — илиомы, а не на ее значение "не осрамиться" и не на ее форму *не ударить лицом в грязь*, которая не содержит глагола *упасть*).

Сетевые психологические структуры нелинейны, а словарь любого типа (в том числе и тезаурус) должен быть линейен по своей физической сути. Любая попытка линейного представления нелинейных отношений создает неудобства прежде всего для пользователя.

Основной вывод из сказанного состоит в том, что идиоматический тезаурус должен строиться с учетом психологической реальности сетевых структур, но не только на их основе.

Очевидно, наиболее приемлемым способом построения идеографического словаря идиоматики следует признать такой путь лексикографирования, при котором конкретные идиомы помещаются в таксоны, задаваемые семантическими прототипами. Все реально существующие связи между таксонами не эксплицируются, таксоны упорядочиваются в гипертаксонах, также обладающих психологической реальностью и представляющих собой наиболее общие концепты типа "вхождение в состояние" и "нахождение в состоянии". Таким образом, мы пришли к необходимости конструктивного упрощения описания идиоматического фрагмента ассоциативно-вербальной сети на базе опыта создания традиционных тезаурусов. Оба подхода — древесный и сетевой — обладают своими плюсами и минусами, следовательно, для решения специальных задач можно использовать либо тот и другой в отдельности, либо одну из их возможных комбинаций (ср. в связи с этим идею асимметричных и многомерных "деревьев" в [8—9]).

V. Исходя из того, что, как показал анализ ассоциативно-вербальной сети, синтагматические связи доминируют в сознании носителя языка, необходимо каким-то способом отобразить их роль в построении тезауруса, а также учесть образную составляющую значения идиомы. Конструктивно это ведет к тому,

что, помимо учета парадигматических, родо-видовых отношений, необходим учет реакций на слово-компонент идиомы (типа *ОГОНЬ вода и медные трубы*). Как уже было сказано выше (ср. разд. III, п. 2), во многих идиомах семантически опорные компоненты сохраняют свой самостоятельный ассоциативный потенциал и могут быть осмыслены как языковые символы или квазисимволы. В качестве операционального критерия для их выделения может служить процедура "X символизирует У" или "X ассоциируется с У", например, в идиоме *отдать последнюю рубашку рубашка* символизирует "имущество человека", а в идиоме *выйти боком* *бок* должен ассоциироваться с "неудачей".

В настоящее время в Институте русского языка РАН подходить к завершению работа по построению "символьного" тезауруса русской идиоматики (авторы: А. Н. Баранов, Д. О. Добровольский). Суть этого проекта сводится к выделению по описанным эвристикам языковых символов и квазисимволов в составе русских идиом с последующим приписыванием этим идиомам так называемых "вещных" дескрипторов⁸ и упорядочением сформированных по этим дескрипторам таксонов, ср.: "части тела": "рука", "нога", "бок" и т.д., "числа": "три", "семь", "тридцать" и т.д.

Анализ ассоциативно-вербальной сети показывает, что "символьный" тезаурус обладает не меньшей психологической реальностью, чем "родо-видовой", причем в сознании носителя языка оба основания классификации присутствуют одновременно и неразрывно. Перевод этой психологической данности на язык лексикографического описания требует на первом этапе разделения задач, выражающегося в создании двух взаимодополняющих идиоматических тезаурусов: "символьного" и "родо-видового". Впоследствии оба словаря должны быть сопоставлены таким образом, чтобы пользователь мог получить информацию обо всех тезаурусных вхождениях интересующей его идиомы. Например, идиома *пройти (сквозь) огонь и воду (и медные трубы)* хранится в таксоне "опытный, бывалый" по родо-видовому основанию, а в таксоне "огонь", ассоциирующемся с "опасностью" — по символическому основанию. Подобное словарное представление, несмотря на существенные упрощения, максимально приближается к отражению реальной картины хранения идиом в памяти носителя, к адекватному описанию их коммуникативной и прагматической функции, что было бы невозможно без учета образных и символических параметров, т.е. внутренней формы идиом (ср. [22]). *Пройти (сквозь) огонь и воду (и медные трубы)* означает "испытать, перенести в жизни многое, побывать в различных трудных положениях, переделках" [3] именно потому, что *огонь* (как, впрочем, и *вода*) сохраняет свой самостоятельный ассоциативный потенциал и "прочитывается" носителем языка в составе этой идиомы как символ опасности. С другой стороны, *огню* (и *воде*) может быть приписано данное (квази)символическое значение именно потому, что существует целый ряд известных и достаточно употребительных идиом, поддерживающих это "прочтение", ср. *играть с огнем, готов в огонь и в воду, между двух огней, выйти сухим из воды*. Таким образом, предлагаемое здесь лексикографическое решение обладает большей объяснительной силой, чем традиционное тезаурусное представление, претендующее лишь на внесение некоторого таксономического порядка в стихию языка.

Заключая эти рассуждения, мы хотели бы подчеркнуть, что выявленная, в частности и на основе ассоциативного эксперимента, сила синтагматических связей внутри идиомы, свидетельствующая, наряду с вариативностью ее лексического состава, о способности каждого слова-компонента реализовать свой семантический потенциал, должна стать равноправным основанием тезаурусной классификации идиоматики.

⁸ Ср. "вещные коннотации" В. А. Успенского [21]. Дескрипторы, отображающие символическую функцию отдельных слов-компонентов в составе идиом, мы называем "вещными" в отличие от традиционных "родовых" дескрипторов, описанных в предыдущих разделах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Караулов Ю.Н.* Русский язык и языковая личность. М., 1987. С. 48—68.
2. *Словарь русского языка*: В 4-х т. / Под ред. Евгеньевой А.П. 3-е изд. М., 1985—1988.
3. *Фразеологический словарь русского языка* / Под ред. Молоткова А.И. Изд. 4-е. М., 1986.
4. *Ушаков Д.Н.* Толковый словарь русского языка / Под ред. Ушакова Д.Н. М., 1934—1940.
5. *Чтек А.Д.* Руско-английский фразеологический словарь / Ed. by Josselson H.A. Detroit. 1973
6. *Андрейчина К., Влахов С., Димитрова С., Запрянова К.* Русско-болгарский фразеологический словарь / Под ред. Влахова С. М.; София, 1980.
7. *Шведова Н.Ю.* Однотомный толковый словарь: Специфика жанра и некоторые перспективы дальнейшей работы // Русский язык: Проблемы художественной речи, лексикология и лексикография. М., 1981.
8. *Баранов А.Н., Добровольский Д.О.* К проблеме построения тезауруса русских плном // ИАН СЛЯ. 1992. № 5.
9. *Dobrovolskij D.* Phraseological thesauruses in the process of translation // Translation and meaning. Pt 2. Maastricht, 1991.
10. *Dobrovolskij D.* Phraseologie und sprachliches Weltbild: Vorarbeiten zum Thesaurus der deutschen Idiomatik // Deutsche Phraseologie in Sprachsystem und Sprachverwendung. Wien. 1992.
11. *Görner H.* Redensarten: Kleine Idiomatik der deutschen Sprache. Leipzig, 1980.
12. *Rosch E.* Human categorization // Studies in cross-cultural psychology. L., 1977.
13. *Лакофф Дж.* Мышление в зеркале классификаторов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII: Когнитивные аспекты языка М., 1988.
14. *Фрэнкина Р.М.* Цвет, смысл, сходство: Аспекты психолингвистического анализа. М., 1984. С. 146—164.
15. *Wierzbicka A.* Lingua mentalis: The semantics of natural language. Sidney, 1980.
16. *Розина Р.И.* Отношения общего - частного в языке: метод диагностики и сфера действия // Словарные категории. М., 1988. С. 104.
17. *Телия В.Н.* Макет словарной статьи для автоматизированного толково-идеографического словаря идиом (АТИСИ): технология и идеология // Макет словарной статьи для автоматизированного толково-идеографического словаря русских фразеологизмов: Образцы словарных статей. М., 1991. С. 27.
18. *Яранцев Р.И.* Словарь-справочник по русской фразеологии. 2-е изд. М., 1985.
19. *Караулов Ю.Н.* Ассоциативная грамматика русского языка. М., 1993.
20. *Wittgenstein L.* Philosophische Untersuchungen // Wittgenstein I Werkausgabe. In 8 Bn. Bd I. Frankfurt-am-Main. 1989
21. *Успенский В.А.* О внешних коннотациях абстрактных существительных // Семантика и информатика. Вып. II. М., 1979.
22. *Телия В.Н.* Семантика идиом в функционально-параметрическом отображении // Фразеография в Машинном фонде русского языка. М., 1990.

© 1993 г. НИКОЛАЕВА Т.М.

**ПРОСОДИЧЕСКАЯ СХЕМА СЛОВА И УДАРЕНИЕ.
УДАРЕНИЕ КАК ФАКТ ФОНОЛОГИЗАЦИИ**

Настоящая статья является обобщением исследований и наблюдений автора, начиная с 1973 г. На протяжении этих лет экспериментальное изучение просодии славянских и балканских языков, а также попытки осознать теоретико-лингвистический статус просодических единиц языка привели к некоторой, как кажется, единонаправленной концепции, которая в полном и эксплицированном виде излагается впервые.

Конечная установка изложения — сопоставить современные экспериментальные результаты и комплекс идей языковой реконструкции. Концептуально данная статья примыкает, будучи в то же время более конкретной, к положениям, изложенным в работе [1].

Необходимо сразу же заметить, что в статье не рассматриваются вопросы генезиса так называемого музыкального, или тонального, ударения. Речь будет идти в основном об ударении вообще и о динамическом ударении — в частности.

I

С тем, что ударение априори может выражаться любым из основных акустических параметров или любым набором этих параметров, соглашались и соглашались практически все исследователи звукового строя. См., например: "Ударение можно определить как вершинообразующее выделение, реализуемое разными путями: с помощью экспираторного усиления, с помощью повышения высоты тона, с помощью удлинения, с помощью тщательной и энергичной артикуляции того или иного гласного или согласного" [2, с. 230]; "...ударение может выражаться и повышением голоса, и усилением его" [3, с. 107]; «...ударение, будь то силовое ударение или музыкальное, "интонация" ...» [4, с. 62]; "Ударение — это выделение одного слога внутри слова по сравнению с другими его слогами. Важнейшими средствами такого выделения являются интенсивность, выдыхание, высота тона и длительность" [5, с. 86] и т.д.

Это единодушие в признании параметрической вариативности выражения ударения (сознательно приводились высказывания не современные и не эксперименталистские), разделяемое и учеными самого позднего времени, не препятствует тому, что в языкознании существует два способа категоризации статуса ударения: фонологический и фонетический. Фонологический, более абстрактный, обычно представлен в трудах фонетистов, осознавших методические трудности и экспериментальные парадоксы нахождения признаков ударения в конкретном звуковом потоке. При этом подходе ударение обычно трактуется как выделение одного из слогов слова, воспринимаемое на слух. В последнее время, когда активно исследуется взаимодействие со словесным фразового ударения, в отличие от словесного не имеющего заранее данной сегментной "привязки", словесное ударение стало определяться как словарный факт, лексическое свойство слова [6]. "Ударение — это то, что отмечается в словарях" [7].

Фонетическим подходом к ударению можно назвать такой, когда ударение тоже понимается как выделение одного из слогов слова, но при этом связывается с конкретными акустическими параметрами. Фонетический подход к ударению свойствен и фонетистам и — что более сейчас сущест-

венно — историкам фонетических изменений, акцентологам и индоевропейцам в целом.

Самым общепризнанным претендентом на роль выразителя ударения в слове является интенсивность (обычно синоним экспираторности или силы). Роль динамической характеристики при выражении словесного ударения как бы настолько очевидна ("любое ударение является динамическим" — [5, с. 80], что несомненность этого привела по сути к терминологической омонимии. Речь идет о следующем: "ударение" — это и идея выделения слога в слове, концепт, это и способ этого выделения (т.е. под ударением понимается именно силовое ударение). Эта двойственность термина в синхроническом описании обычно не доставляет трудностей исследователю, поскольку конкретный контекст и знание сути дела легко эту омонимию снимают.

Более сложной и методологически необходимой для настоящей работы является квалификация статуса динамического ударения в диахронии. Здесь важным является ответ на такие вопросы: 1) существовало ли в реконструируемый период динамическое ударение вообще? 2) было ли оно параллельным с другими средствами выделения слога, например, тональными? 3) налагалось ли оно на тональные средства или располагалось в слове на другом месте? 4) если оно существовало в другой позиции, то куда же исчезало после того, когда старое музыкальное ударение в ряде языков, как известно, стало передаваться нетональными средствами?

По этим вопросам существуют самые различные мнения. Например, А. Мейе говорит о динамическом ударении достаточно глухо: "и.-е. тон сводился к повышению голоса, без заметного усиления. Нет никаких следов, чтобы в и.-е. фонетике играло какую бы то ни было роль силовое ударение" [8, с. 163--164]. Ф.Ф. Фортунатов: "Ударение в и.-е. было свободным" [9, т. 1]. У исследователей более позднего времени уже читаем о параллелизме силового и музыкального ударений в раннем периоде. См., например, у Л.Г. Герценберга: "...наряду с тонами в праязыке существовало кульминативное словесное ударение. Оно, по-видимому, падало на первый слог, не имело фонологического значения: объяснялось это тем, что первый слог был корневым, язык же был суфигирующего типа" [10]; у него же: "...ударение первоначально выделяло важную часть слова, словесное ударение и слоговые интонации не связаны" [11, с. 321]. Итак, речь идет о первом слоге слова в и.-е. как подударном. И в то же время "ясно, что связанное ударение представляет собой инновацию по сравнению со свободным и что, следовательно, реконструкция индоевропейского ударения должна опираться на языки со свободным ударением" [5, с. 89].

Итак, находилось ли ударение на первом слоге или было свободным?

Аналогичные проблемы возникают не только для языка прапериода, но и при реконструкции древнейших состояний древних языков. В ведийском языке "... ударение было музыкальным по преимуществу и характеризовалось высотой гласного" [12]. Загадкой же латинского языка является гипотетическое существование первичного "динамического ударения" на первом слоге в "праисторическом" периоде латинского языка (свидетельством этого служит фонетическое богатство первого слога, явления синкопы раннего периода и под. [13]. Таким образом, по ряду концепций, латинский язык как бы проделал круг просодического развития: динамическое ударение — квантитативно-позиционные различия — динамическое ударение позднего типа (см. об этом подробнее [14]).

Более того, та же проблема встает и для финно-угорских языков. Только то, что для и.-е. языков соотносится с отдаленным реконструируемым периодом, в финно-угорском соотносится с недавним прошлым и даже с настоящим. Так, по сути со всей группой языков связана дискуссия о месте эрзя-мокшанского ударения [15]. Согласно одной точке зрения, ударение в эрзя свободное, оно варьируется в зависимости от говорящего и в зависимости от ситуации. По другому предположению, есть слабое ударение на первом слоге,

во всяком случае в изолированных словах. Для древнейшего прафинно-угорского состояния В.И. Лыткин восстанавливает свободное ударение

Обратим внимание на еще одно обстоятельство, связанное с реконструкцией ударения.

С.Д. Кацнельсон, занимаясь акцентологией германских языков и фонетическим воплощением акцентов, пишет о том, что «помимо словесного ударения, в шведском и норвежском языках имеется два "акцента", создающих возможность дополнительного смысловозначения в слове» [16, с. 13]. И далее он показывает, что «основными средствами фонетических реализаций акцентов являются интенсивность и тон» [14, с. 29]. Таким образом, акцент ≠ ударению, но в слове две точки выделены интенсивностью. Это в принципе верно, и повышение тона, как правило, влечет за собой динамическое усиление, которое потом может фонологизироваться, т.е. стать ударением. «Параллелизм интенсивности и тона в акцентах уже не раз отмечался исследователями», пишет в той же книге С.Д. Кацнельсон [16, с. 21]. Именно эта верная фонетическая идея привела В.А. Дыбо к важной концепции замены архаических и.-е. тонов динамическим (силовым) ударением: «Рассмотрение типологически аналогичных систем и их сравнительно-исторический анализ показывает, что такого рода системы возникают из тоновых систем с силовым контуром, сопряженным с тонами, при фонологизации силового контура, вызванной падением тоновых различий» [17]. Эта же идея связана и с исследованием Л.Г. Герленберга. Формированием свободного ударения из тоновых сандхи [11, с. 159].

Однако за всеми этими убедительными построениями стоит неясной тенью судьба загадочного силового ударения, отдельного от словесного ударения-акцента. Если выне задавался вопрос о том, где оно размещалось, то теперь можно поставить и другой вопрос: куда же оно исчезло после фонологизации силового ударения на месте архаических тонов?

Что касается более поздней истории языка, то о судьбе этого столь привычно декларируемого силового и.-е. ударения обычно не упоминают. Или о нем «забывают», или оно — артефакт. Более того, в акцентологических работах под ударением обычно и имеют в виду акценты: сдвиг ударения, мена ударения — это мена акцентов. Между тем если быть строгим и держать в памяти положение об «отдельном» силовом ударении, то глядя на акцентную парадигму, мы ничего не узнаем о судьбе «ударения», а узнаем только о судьбе акцентов и их рефлексов.

Можно предположить, что вся эта явная и скрытая запутанность в вопросе о диахронии силового ударения заставила А.А. Зализняка вообще избегать термина «ударение», оставляя за ним лишь четкие узкие границы: «Соответственно, термин «акцентуация» может употребляться, в частности, применительно к языку в целом (например, «праславянская акцентуация», «современная русская акцентуация»). В этом случае возможен также термин «ударение» но он уместен лишь там, где существует только один тип просодического выплескивания (например, «современное русское ударение», но не «праславянское ударение»)» [18].

II

Между тем, как кажется, все эти терминологические и экспликативные трудности могут быть разрешены в рамках единой объясняющей модели, если принять в качестве нового концепта просодической теории соответствующее ему явление, которое в наших работах было названо схемой слова или просодической схемой слова (см., например [19—21]). Под просодической схемой слова понимается модель распределения сильных и слабых (т.е. максимально и минимально выраженных) точек реализации параметров просодии в пределах слова, независимых от места и способа реализации ударения.

Для большинства исследованных языков (на типологической стороне этого яв-

ления мы остановимся ниже) просодическая схема слова ограничена таким образом, что сильной точкой интенсивности является начало слова, а сильной точкой для длительностного параметра, темпоральной — является его конец.

Приведем ряд примеров, демонстрирующих объективные параметры просодической схемы слова.

Данные итальянского языка (по работе П.-М. Берингетто [10])

Слово с начальным ударением:	+	-	-
Интенсивность	8,08	2,11	2,57
Слово с пениультимным ударением:	--	+	-
Интенсивность	6,74	4,91	3,49
Слово с конечным ударением:	--	--	+
Интенсивность	6,87	4,99	5,62

Из приведенных данных видно, что акцентная кривая слова во всех случаях остается нисходящей, но под влиянием конкретного ударения подударный слог несколько усиливается.

Продемонстрируем собственные результаты анализа языков Балкан. Анализировались слова пяти ритмических структур: $\overset{\cdot}{-}$, $- \overset{\cdot}{-}$, $- \overset{\cdot}{-} -$, $- \overset{\cdot}{-} - \overset{\cdot}{-}$, $- \overset{\cdot}{-} - \overset{\cdot}{-} -$. Рассматривались следующие языки: румынский, албанский, новогреческий, македонский, болгарский, сербскохорватский. Ритмические структуры были подобраны единообразно: с вокальным анлаутом на /a/ и косонантным анлаутом на /b/. Там, где это оказалось возможным, анализировались пары слов, отличающихся местом ударения. Все параметрические данные, полученные в Лабораториях ИРЯ РАН, ИСАА. Университета дружбы народов, МГЛУ, Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, регистрировались и сравнивались. Примеры пар: рум.: *ágă — agá; hába — babă; bārem — bavém; amără — amará*; н.-греч.: *ἄλλα — ἄλλά; ἄμη — ἀμή; ἄρα — ἀρό. ἄλκη — ἀλή; ἄκόλος — ἄκολος*; алб.: *ármë — armë; átë — atë*; бол.: *Бакан — бакан; артък — артък; арка — арка; близка — близка. бѹча -- бѹча; бѹден — бѹден; брава — бравá; армия — армѣя*.

Приведем обобщенный вариант фиксирования просодических параметров слова. Каждый из возможных показателей ударения нотировался как: f (высота тона), t (длительность) и i (интенсивность). Затем регистрировались данные в следующем виде. Например, если слог выражался максимумами всех трех параметров, то это передавалось как fti. Соответственно ti означало и длительность, и интенсивность, ft -- высоту и длительность, fi -- высоту и интенсивность, i — только интенсивность и т.д.

Конкретные показатели: цифры показывают число (в %) в тех случаях, когда интенсивность входит в число акустических параметров, характеризующих слог (стлб. 1); когда интенсивность является единственным показателем ударности слога (стлб. 2):

Румынский язык:	1	2
$\overset{\cdot}{-}$	41,8	17,6
$- \overset{\cdot}{-}$	36,4	0
$- \overset{\cdot}{-} -$	33,3	20
$- \overset{\cdot}{-} - \overset{\cdot}{-}$	66,6	9
$- \overset{\cdot}{-} - \overset{\cdot}{-} -$	11	0

Новогреческий язык:		
— —	50	28
— —	35	0
— — —	52	9
— —	43,7	16
— — —	23,8	0
Болгарский язык:		
— —	36	24,4
— —	30,2	0
— — —	36,3	90
— —	28	0
— — —	38,4	0

Вполне очевидно, что тенденция к понижению акцентной кривой, т.е. компонент просодической схемы слова, функционирует параллельно с выделительными тенденциями ударности.

Наконец, реальность просодической схемы слова очевидным образом демонстрируют огибающие интенсивности в соответствующих интонограммах. Так, изменение места ударения не влияло на распределение сильных точек в просодической схеме слова в македонских словах *básmen*, *aróma*, *balón*. Это же отмечалось для албанских слов *bóre*, *baléne*, *boú*, *afró*. Явным было доминирование первого слога в двусложных словах румынского языка *bábă* и *babá*, *ágă* и *agá* и сходных с ними структурах.

Однако необходимо сказать о том, что просодическая схема слова есть некий концепт, реализующийся в виде сильно или слабо проступающей тенденции. В реальном слове тенденция сохранить просодическую схему слова и тенденция выделить динамическими средствами фонологизировавшееся ударение находится в сложных отношениях, то единонаправленности, то противодействия. Так, например, на интонограмме было видно, насколько интенсивность первого слога при *bábă* сильнее, чем при *babá*, т.е. это именно тот случай, когда увеличение интенсивности переходит через когнитивный порог и воспринимается как ударение. Но было очевидно также, что и второй слог в *babá*, становясь ударным, как бы стремится подняться, хотя и не дотягивает до первого. Напоминаем, что мы в данной работе говорим о динамических средствах и об общей теории ударения — в реальных же случаях выраженность ударения имеет много фонетических компенсаторных средств, вплоть до психофонетических.

Выделенность непервого слога — ударного через интенсивность может выражаться и в том, что, рисунок просодической схемы нарушается: ударный оказывается выше первого слога. Наконец, выделенность непервого слога может выражаться и не абсолютными показателями. Например, при структуре — — — отношение первого слога ко второму по интенсивности будет 1:0,4, а при структуре — — — будет отношением 1:0,9 и т.д. Наконец, существенны и общеязыковые тенденции выделять ударение сильно или слабо, т.е. будучи фонологическим фактором, на уровне плана выражения степень выделенности ударения есть факт градуальный.

Существует и типология предпочтительного параметра выражения немusыкального ударения: одни языки ориентируются на высотный, другие — на динамический, третьи — на длительностный параметр. Так, например, несомненно, что зона длительностной преференции охватывает не только русский и украинский языки, но и греческий, албанский и итальянский.

III

Очертив концепт просодической схемы слова, мы хотим снова вернуться к динамическому ударению и показать связь этих двух просодических феноменов, но уже рассматриваемых отдельно.

При изучении ударения в самых разных аспектах как бы не принимается во внимание (или забывается) тот факт, что ударение есть то, что слышно как ударение. Иначе говоря, оно проходит некий порог нашей перцептивной тренированности. Т.е. ударение слышно всем как таковое и может быть всеми в таком качестве идентифицировано. Это — факт интроспективного языкового метасознания (возможен, эволюционно неранний). Сильные же точки просодической схемы слова не являются еще ударными слогами, однако расположенные на них сегментные конфигурации (слоги) слышатся (воспринимаются) лучше других. Если их усиливать, то эта увеличенная "слышимость" пройдет через тот порог перцепции, после которого слог уже воспринимается как ударный. Таким образом, сильные точки просодической схемы акцентогенны.

Как уже говорилось, сильной точкой интенсивности слова является начало слова, его первый слог. Фонологизация просодических явлений есть кодификация в парадигматике явлений, потенциально для этого пригодных, но градуальных по сути. Поэтому, вероятно, начало слова было усилено и в индоевропейском (см. теорию первого слога у Л.Г. Герценберга) — так, как оно усилено и в современном русском языке, и это было автоматизировано так же, как и в современном языке. Тем самым выделялось слово, очерчивалась в сознании воспринимающего его начальная граница (слово в данном случае мы понимаем широко), но слово не воспринималось как кодифицированный фонологический элемент. Смыслосоздающую функцию, видимо, выполняло тональное (музыкальное) ударение. После падения тоновых различий у языков оказывалось три возможности: 1) сохранить вообще тональные акценты; 2) кодифицировать те силовые увеличения, которые сопровождали тоновый акцент; 3) кодифицировать сильное динамическое начало, т.е., проще говоря, довести первый слог до состояния ударности. Все эти три вариации мы и имеем в общеиндоевропейском и — по группам — более узком наследии. Поскольку сейчас мы не говорим о другой сильной точке — длительностном конце слова, мы не анализируем возможности этого акцентогенного региона, но очевидно, что на его базе возникает пенультимое и конечное "ударения".

Предлагаемая нами теория, как представляется, распутывает указанные загадки с реконструируемым силовым праударением. Более того, она показывает, что по сути правы все авторы, как будто бы противоречащие друг другу. Это и идеи Л.Г. Герценберга об ударении на первом слоге, динамическом, но не несущем смысловой функции, это и мысли Р. Якобсона о так называемом "рецессивном" ударении, когда оно возникало в отдельных языках достаточно поздно, это и концепция В.А. Дыбо, выводящего позднее силовое ударение из динамического усиления при тональных акцентах (в этом смысле прав и О. Семереньи, утверждавший, что всякое ударение в конце концов "динамическое"), это и взгляды А. Мейе, сомневавшегося в наличии силового ударения в индоевропейском, и позиции тех, кто считал и.е. ударение "свободным", поскольку в данном случае речь шла об ударении из акцентов.

Акцентогенная активность первого слога имеет место и в наши дни. Так, исследовательница типологии акцентов М. Бекман [23] определяет три любимых места размещения акцента в анализировавшихся ею языках. Это 1) начальный слог, 2) конечный, 3) предпоследний. Наша теория просодической схемы слова, как кажется, и объясняет расположение именно этих трех точек. Понятие акцентной зоны было разработано в связи с изучением размещения ударения в латинском и древнегреческом языках. Эта зона получила название "конечного ансамбля" (см. [24, 25]). Вариации расположения ударения в конечном ансамбле определяются количественным критерием: долготой—краткостью трех последних слогов.

Замечательной в этом плане является идея Н.С. Трубецкого о том, что в искусственном международном языке целесообразно иметь ударение на первом слоге

[26, с. 27]. С возможным в данном случае стремлением выдать желаемое за действительное можно прочесть у него, что "начальное ударение вспомогательного языка не представляет затруднений и для тех народов, в родном языке которых место ударения свободно". Интересно в этой связи замечание Р.О. Якобсона о том, что при ярких эмоциях даже во французском языке возможно ударение на первом слоге: *fórmidable*.

Вообще о значимости первого слога как потенциально ударного написано очень много. Так, П. Мертенс [27] показывает, что во французском языке есть два места словесного ударения: конечное и начальное, эмфатическое. В английском языке при нежелательном стыке двух ударных ударение переносится именно на первый слог: *Mississipi river* — *Míssissipi* [28]. Даже в слабоударном грузинском речь может идти именно об ударении на первом слоге [29]. К этому же относятся, видимо, и такие явления, как "ляпанье", перенос ударения в говорах на первый слог [30]. Разумеется, акцентогенная точка слова создает условия для употреблений типа *включить, принять, начать* и т.д. Кстати говоря, экспериментально важным в таких случаях было бы обращение к говорящим с просьбой расставить ударение в этих словах, в том числе и в тексте. Весьма возможно, это не совпало бы с их произнесением, что еще раз подтвердит гипотезу о раннем возникновении ударения как фонологического феномена.

Введение категории осознанной слышимости ударения обращает наше внимание и на возможное несовпадение данных экспериментального анализа и осознанного восприятия звуковых единиц человеком. Например, в трехсложном слове типа — — первый слог может быть самым интенсивным, а последний — самым длительным, однако все будут "правильно" слышать ударение в середине. Обращение к человеческой перцепции и когнитивным факторам продемонстрировало асимметрию анализа и синтеза звукового потока.

Если принять ударение как некий факт становления, как результат процесса, то можно сделать ряд серьезных выводов. Во-первых, возможно, что в ряде языков фонологизация ударения еще не произошла. Поэтому в таких языках экспериментальный анализ будет выявлять, и с весьма возможной регулярностью, точки самые интенсивные, самые длительные, самые высокие и т.д., и все же об ударении здесь говорить нельзя. Это факт языковой интроспекции носителей языка. Поэтому языки без ударения вполне возможны, как это и показывает типология. Сложные компенсаторные отношения внутри языка могут и заместить непопавшиеся ударения.

Во-вторых, для того, чтобы реконструировать ударение в языке древнейшего периода, нужно сначала быть убежденным в том, что в данном периоде оно было, т.е. что это был язык, где ударение уже фонологизировалось. Для подобных доказательств, бесспорно, требуется глубокая разработанность теории диахронической типологии.

В-третьих, функции ударения меняются. Во многих языках оно настолько фонологизировано, что начинает выполнять все более разнообразные категориальные функции — от частеречной словообразовательной до самой тонкой семантики: ср. (професс.) *лифты́, болéй, компаса́* и т.д. Иначе говоря, ударение и его функция сейчас — это не то, что было даже семьсот лет назад.

Это еще раз возвращает к основной идее Н.С. Трубецкого об осознанности фонологических компонентов как воспринимаемых элементов: "... наличие в сознании каждого члена языковой общности единого языка является предпосылкой любого речевого акта... Язык существует в сознании всех членов данной языковой общности" [2, с. 7].

Необходимо обратить внимание на то, что само слово "фонологизация" имеет два значения: процесс и результат. О первом значении как-то пишут мало, считая фонологическую систему стабильной. Но эта идея процесса подчеркивается в работах Р.О. Якобсона: «Возникновение фонологического различия

можно назвать "фонологизацией" (или "фонологической валоризацией"), т.е. приобретением фонологической значимости» [31, с. 119].

Фонологизации противостоят: для сегментных единиц смешивание их в некий диффузный класс, а для суперсегментных, более сложных по интроспекции, — их автоматизированная выполняемость, неосознанность их различительной способности.

Таким образом, фонологизация может быть результатом длительной эволюции, и потому если в языках-потомках нечто фонологизировано, то в языке-источнике оно может быть еще "до-фонологизировано".

Между тем для просодических феноменов существует изначальное препятствие в их движении к фонологизации. Дело в том, что, как пишет Н.С. Трубейкой, фонологические звуковые различия в отличие от фонетических не знают "переходных зон" [32, с. 33]. Просодические фонологические особенности реализации ударения характеризуются тем, что ударение, став таковым, начинает входить в привативную оппозицию: "наличие/отсутствие ударения", тогда как фонетические данные шкалированы и градуальны: "ударный слог" может по своим параметрам отличаться от неударного практически минимально. Таким образом, фонологизация ударения есть по своей сути кодификация, перевод явления в парадигматический феномен. Кодифицировать — значит усилить потенциально акцентогенные компоненты просодической схемы слова до того порога, после которого усиленное место будет восприниматься как ударение.

IV

Итак, выше было предложено различать просодическую схему слова (автоматизированный феномен, интроспективно не замечаемый), и ударение (факт воспринимаемый, когнитивно осознаваемый, перцептивно значимый). Это можно показать на самом простом эксперименте. На вопрос: "Скажите, где в этом слове ударение?" или даже: "Где Вы слышали ударение в этом слове?" средний носитель языка ответить должен. Но просьба: "Опишите движение интенсивности и длительности в слове" или вопрос: "Где в слове более громкие и более растянутые участки?", как представляется, могут быть осознаны только изоциренным исследователем-специалистом.

Различие перцептивного статуса двух описанных феноменов словесной просодии строго параллельно отношению двух фразовых просодических феноменов [33]. Было предложено выделение фразовой интонации с фразовым центром и "автоматизированным" (термин И.И. Ковтуновой) оформлением и потенциально возможного выделения слова или составляющей — акцентного выделения (АВ). Акцентное выделение предлагалось считать таковым при соблюдении двух условий. Первое: оно должно быть слышимым, каждый носитель языка должен понять, где было подчеркивание, и воспринять это правильно. Второе условие, видимо, объясняется более высоким семантическим статусом высказывания в отличие от слова. Перцептивно яркое акцентное выделение создает вокруг себя дополнительную смысловую ауру, теневое высказывание: *Это был мой первый неудачный брак* (остальные тоже были неудачными); *Витя поехал в Москву* (были какие-то препятствия или колебания); *даже Петя не решил задачи* (Петя обычно решает их хорошо); *В школу пойдет папа* (а не кто-то другой, как обычно) и т.д.

В такой же степени, как трудно носителям сильноударных языков представить себе, что слово может быть без ударения, оказалось сложным представить высказывание без яркого "фокуса", столь обязательного в фонологических представлениях высказывания. Собственно говоря, возможность наличия двух гетерогенных центров в высказывании — 1) автоматизированного, показывающего терминальный контур фразы и ее коммуникативный тип, и 2) отчетливого по восприятию и демонстрирующего сознательное подчеркивание — явля-

ется сейчас в мировой интонологии наименее воспринимаемой. Так, сообщение на XI Международном конгрессе фонетических наук Н. Торсен-Гроннум [34] о том, что не во всяком датском предложении есть "фокус", а возможны простые описательные предложения без теневой семантики, было воспринято как сообщение о некоей датской экзотике. Таким образом, почему-то оказывается легче принять идею особенности языка (ср. характерную фразу английской фонетистки Э. Катлер: "In a language which has sentence accent..." [35]), чем идею нескольких функционально и формально различающихся интонационных самовоплощений.

V

Просодическая схема слова выше описывалась как треугольник с повышенным в начале и пониженным к концу движением интенсивности и движением длительности с растяжением к концу. Существует большое число данных по разным языкам в пользу универсальности этой схемы [36]. Однако примеры из тюркских и монгольских языков в ряде случаев свидетельствуют о повышении, а не о понижении акцентной кривой к концу слова. Например, А. Орусбаев пишет: "Если для русского языка типично увеличение интенсивности к началу слова, то для киргизского, напротив, характерно повышение интенсивности к концу слова. Подобное явление наблюдается и в другом тюркском языке — азербайджанском" [37, с. 8]. В целом это подтверждают Д.А. Павлов и Т.С. Есенова [38]. Они считают, что монгольские языки отличаются от индоевропейских именно повышением интенсивности к концу слова. По их данным, и слово с начальным ударным (если принять позицию об обязательности ударения) может также иметь восходящую акцентную кривую, а ударность выражать иными средствами.

Существенно то, что феномен такого рода способен оказывать влияние на территориально близкие, но не родственные языки. Отмечалось иное распределение интенсивности в русском слове в говорах, соседящих с татарскими [39]. Д. Тилков отмечает, что в болгарском языке, наряду с понижением динамической линии, есть и такие случаи, как *nina* (18—20, интенсивность слогов в условных цифровых единицах), *nina* (18—22), *пеперуда* (10—35—20—25), где явно имеет место восхождение акцентной кривой к концу слова [40].

Все сказанное выше относилось к интенсивности, т.е. к акцентно-динамическому феномену просодической схемы слова. Между тем в нее входит и длительность. И здесь также языки Балкан в ряде случаев демонстрируют увеличение длительности не к началу, а к концу слова. (К сожалению, мы не располагаем более широкой типологической базой данных.)

Тенденцию к долготному усилению словесного анлаута демонстрируют и сербскохорватские говоры (исследовались данные говоры по их фонетическому описанию [41]). Интересно при этом, что в кайкавских и чакавских говорах, т.е. там, где не прошел так называемый "неоштокавский сдвиг", усилена долгота предударного слога, а в штокавских говорах — усилен долготно посттоник.

Таким образом, по нашему мнению, во всем регионе осуществлялось долготное равновесие двух контактных слогов, т.е. был усилен "начальный ансамбль". В одних говорах первый слог так и оставался долгим предударным, в другом его долгота превышала соответствующий порог перцепции, необходимый для фонологизации ударения, и этот слог становился "ударным", а второй в долготном ансамбле — долгим посттоником. Вероятно, это движение к началу и было той причиной, которая приостановила для сербскохорватских говоры распространяющееся движение регрессивного, т.е. правоориентированного долготного сдвига, который успел осуществиться только словенский (о причинах неоштокавского сдвига см. подробно [41]).

Трудно говорить о том, случайно ли неоштокавское перемещение к началу

совпало с увеличением контакта с тюркскими элементами, хотя выше говорилось о своеобразии просодической схемы в тюркских языках. Создается впечатление, что сложным движением долготы в просодической схеме слова была охвачена значительная часть Балкан. Фонетически же в этом регионе широко осуществлялось долготное равновесие двух контактных начальных слогов, однако предположить точные топохронологические датировки слишком сложно.

Возвращаясь к нашей гипотезе, можно сказать далее, что долготное балансирование временного параметра просодической схемы слова "прояснило" в штокавских говорах первый слог до порога ударности (тоновое движение), но новый ударный не оторвался от своего контактного соседа посттоника, в результате чего возникла двусложная структура восходящих тонов.

Таким образом, можно предложить новую терминологию, базирующуюся на классическом представлении о фонологизации. А именно — мы имеем дело не с переносом ударения, а с увеличением просодических характеристик на новом участке слова, в результате чего другой слог, с увеличенными характеристиками до нужного порога перцепции, после фонологизации становится ударным.

О причинах перестройки просодических схем слова говорить можно они связаны с общим изменением функциональных установок языковой системы, и в частности просодии, тогда как назвать объективную причину "переносов" ударения, не выходя за плоскость непосредственной эмпирики, часто бывает затруднительно.

VI

Приняв просодическую схему слова как феномен, автономный по отношению к ударению, существенно остановиться еще на одном важном обстоятельстве. В нашем метасознании ударение обычно связывается со слогом. В просодической же схеме значимы участки слова: начало — середина — конец, напрямую со слогом не соотносимые. Иначе говоря, существует еще один вид членения звукового потока, параллельный со слоговым и им не определяющийся. Многоканальность звукового сообщения служит для этого достаточно фундаментальной опорой. Ближе всего членение на уровне просодической схемы соответствует тому членению, при котором в слове различается инициаль, средняя часть и финаль. В данной статье говорилось лишь о просодии слова, но указанные части различаются достаточно регулярно сегментным наполнением. Наиболее подробно значимость инициали для слова показана в последней монографии Л.Г. Зубковой [43, с. 197]. Вообще Л.Г. Зубковой впервые отчетливо сформулирована переплетенность в слове сегментных и суперсегментных характеристик, обусловленность первых последними.

Многолетние наблюдения эксперименталистов приводят к гипотезе о существовании некоторой промежуточной единицы между слогом и словом. Так, еще в 1876 г. тартуский ученый Л. Мазинг [44], занимаясь анализом сербскохорватских акцентов, заметил, что рисунок мелодики (тона) при восходящем акценте — / — соотносится с рисунком при нисходящем акценте \cap так, что второй слог восходящего акцента сходен по тону с ударным слогом нисходящего акцента. Если снова вспомнить тот факт, что / появился в результате "переноса" прежнего акцента \cap на один слог к началу (а в наших терминах — в результате увеличения показателей предупредительного до порога ударности), то станет ясно, как об этом и писал Л. Мазинг, что речь идет о битональной фигуре, одной по сути, но по-разному расположенной по отношению к "ударному" слогу. Именно такие битональные рисунки в зоне ударного слога были нами обнаружены для болгарского языка, от которого таким образом сербскохорватский отличается фонологизированностью этих битональных фигур. К сожалению, не была еще произведена работа по анализу лексемной закрепленности этих фигур в болгарском, что дало бы возможность понять, какова корневая дистрибуция этих фигур и достаточно ли она регулярна.

Американская исследовательница Дж. Брекенбридж-Пьерхамберт в диссертации об английской интонации [45] в качестве смыслоносителей интонации фразы обнаружила именно такие как бы спаянные битональные фигуры (LH, HL, L*H, H*L), непрямо соотносящиеся со слогами и формирующие индивидуальный рисунок высказывания на фоне основной мелодической линии (baseline).

Идея дифонного синтеза звучащей речи принята сейчас как базовая в Институте перцептивных исследований в Эйндховене (Нидерланды) (см. [46]).

Двойной компонент выявляется и для интенсивности слога. Так, в славянских языках интенсивность второго слога слова близка к первому и часто резко отличается от третьего, где наступает перепад вниз. Впервые на это применительно к чешскому языку указал в 1924 г. Ф. Травничек [48]. О двусложной структуре чешского языка писал и А.М. Селищев, представляя ее как трехсложную с двумя краткими слогами и одним долгим [49]. Можно привести и конкретные экспериментальные данные. Так, например, в структуре — $\acute{}$ — ударный был выделен, но подсчет отношения ударного слога к предударному давал приблизительно 1:0,9, а подсчет отношения ударного к заударному давал 1:0,3—0,25, т.е. ударный и предударный в этой структуре различались мало. Ср. в белорусском языке: слово *вълчыках* — интенсивность $9/8/3=1$, т.е. опять объединяются два первых слога.

Что же касается длительности, можно обратиться еще к временам античности, когда было известно о значимости как минимум двух последних слогов, "конечного ансамбля". Таким образом, каждый акустический параметр слова (тон, интенсивность, длительность) вычлняет в слове некоторые участки вокруг ударения, приблизительно по протяженности соответствующие двум слогам.

*

Итак, на обсуждение предлагались следующие положения.

1) Просодическая схема слова — расположение максимумов и минимумов просодических показателей — представлена в слове как автономный феномен по отношению к ударению.

2) Просодические показатели схемы слова носят автоматизированный, неосознаваемый характер; ударение же есть осознаваемый в интроспекции метакомпонент.

3) Однако сильные точки схемы (максимумы) акцентогенны: увеличение их показателей до определенного перцептивного порога делает этот участок осознанно воспринимаемым как ударение.

4) Когда усиленный участок слова осознается как ударение, имеет место фонологизация ударения.

5) Ударение есть то, что и воспринимается как ударение, поэтому чисто фонетические показатели (поиск и нахождение максимумов) для определения ударения недостаточны.

6) Таким образом, возможно существование языков, где не имеет (не имела) места фонологизация ударения как осознанного феномена; тем самым ударения в них нет.

7) Во многих языках сильной динамической точкой просодической схемы слова является его начало, поэтому бесспорные положения о развитости фонетики и о содержательной значимости словесной инициали еще не свидетельствуют, строго говоря, что в начале слова было ударение в нашем современном понимании.

8) Фонологизация ударения может быть длительным процессом, и содержательные функции ударения могут на протяжении исторического процесса меняться.

9) Реконструкция ударения для некоторого раннего исторического периода должна быть верифицирована уверенностью (доказанностью) в том, что в реконструируемый период ударение было действительно фонологизировано, т.е. существовало как таковое.

10) Просодическая схема слова не универсальна, возможны типологически различные ее воплощения; возможны и контактные заимствования модели.

11) Просодическая схема слова не дискретизируется на слоги адекватным образом; высказывается предположение о существовании в звуковом потоке бикомпонентных единиц, промежуточных между словом и слогом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Николаева Т.М. Диахрония или эволюция? // ВЯ. 1991. № 2.
2. Трубецкой Н.С. Основы фонологии. М., 1960.
3. Jakobson R. Die Betonung und ihre Rolle in der Wort-und-Syntagmaphonologie // Jakobson R. Selected writings. T. 1. 's-Gravenhage, 1962.
4. Сэпир Э. Язык. М.: М., 1934.
5. Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
6. Cutler A. Stress and accent in language production and understanding // Intonation. Accent and rhythm. B.; N.Y., 1984. P. 77.
7. Keijsper C.E. Studying neostokavian Serbocroatian prosody // Dutch studies in South Slavic and Balkan linguistics. 1987. V. 10. P. 115.
8. Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938. С. 133—164.
9. Фартунатов Ф.Ф. Избр. тр. Т. I. М., 1956. С. 444.
10. Герценберг Л.Г. Реконструкция индоевропейских словесных интонаций // Исследования в области сравнительной акцентологии индоевропейских языков. Л., 1979.
11. Герценберг Л.Г. Вопросы реконструкции индоевропейской просодики. Л., 1981.
12. Елизаренкова Т.Я. Грамматика ведийского языка. М., 1982. С. 104.
13. Vendryes J. Recherches sur l'histoire et les effets l'intensité initiale en Latin. P., 1902.
14. Николаева Т.М. Фонетическая природа греческого и латинского ударения // Палеобалканистика и античность. М., 1989.
15. Ravila P. Der Akzent im Erzamordwinischen // FuF. 1973. Bd XL. Hf. 1—3.
16. Кацнельсон С.Д. Сравнительная акцентология германских языков. М.; Л., 1966.
17. Дыбо В.А. Славянская акцентология. М., 1981. С. 10.
18. Зализняк А.А. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985. С. 6.
19. Николаев Т.М. Фразовая интонация славянских языков. М., 1977.
20. Nikolayeva T. Slavic word stress and its acoustic realization. Preprint. M., 1983.
21. Nikolaeva T. Two intensity phenomena in the word prosody // Actes du XII Congrès international des sciences phonétiques. Aix-en-Provence, 1991.
22. Bertinetto P. Structure prosodiche dell'italiano. Firenze, 1981.
23. Beckman M.E. Stress and non-stress accent. Dordrecht; Riverton, 1986.
24. Тронский И.М. Очерки из истории латинского языка. М.; Л., 1953.
25. Тронский И.М. Древнереческое ударение. М.; Л., 1962.
26. Трубецкой Н.С. Как следует создавать фонетическую систему искусственного международного вспомогательного языка // Трубецкой Н.С. Избр. тр. по филологии. М.; 1987.
27. Meriens P. Local prominence of acoustic and psychoacoustic functions and perceived stress in French // Actes du XII Congrès international des sciences phonétiques. Aix-en-Provence, 1991.
28. Shattuck-Hufnagel S. Acoustic correlates of stress shift // Actes du XII Congrès international des sciences phonétiques. Aix-en-Provence, 1991.
29. Mc Coy P. Word stress in Georgian // Actes du XII Congrès international des sciences phonétiques. Aix-en-Provence, 1991.
30. Тер-Аванесова А.В. Об одной славянской акцентной инновации // Славянское и балканское языкознание. Просодия. М., 1989.
31. Якобсон Р.О. Принципы исторической фонологии // Якобсон Р. Избр. работы. М., 1985.
32. Трубецкой Н.С. Фонология и лингвистическая география // Трубецкой Н.С. Избр. тр. по филологии. М., 1987.
33. Николаева Т.М. Семантика акцентного выделения. М., 1982.
34. Torsen-Grønham N. Terminality and completion in Danish, Swedish and German // Actes du XII Congrès international des sciences phonétiques. Aix-en-Provence, 1991.
35. Cutler A. Prosody in situations of communication: saliency and segmentation // Actes du XII Congrès international des sciences phonétiques. Aix-en-Provence, 1991.
36. Lehiste I. Suprasegmentals. Cambridge (Mass.); London, 1970.
37. Орусбаев А. Киргизская акцентология. Опыт экспериментально-фонетического исследования ударения в слове и фразе: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1971.
38. Павлов Д.А., Есенова Т.С. Фонетическая характеристика и фонологический статус гласных калмыцкого и монгольского языков // Фонетика языков Сибири и сопредельных регионов. Новосибирск, 1986.
39. Альмухаметова З.М. Из наблюдений над поволжской интонацией // Вопросы грамматического строя русского языка. Казань, 1970.

40. Тилков Д. Някои наблюдения върху промените на интензитета при ударените и неударените гласни // Тилков Д. Изследвания върху българския език. София, 1983.
41. Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih, i makedonskih govora obučaćenih Opšte-slovenskim lingvističkim atlasom. Sarajevo, 1981.
42. Николаева Т.М. Попытка фонетической интерпретации нештокавского акцентного сдвига // Studia Slavica. М., 1991.
43. Зубкова Л.Г. Фонологическая типология слова. М., 1990.
44. Masing L. Die Hauptformen des serbisch-chorwatischen Accents // Mémoires de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg. 1876. VII. ser. T. XXIII. № 5.
45. Breckenbridge-Pierrehumert J. The phonology and phonetics of English intonation: Ph. D. Cambridge (Mass.), 1980.
46. Colter R., van Leeuwen H.C., Willems L.F. Speech synthesis today and tomorrow // Philips journal of research. 1992. V. 47. № 1.
47. Drullman R., Colter R. On the combined use of accented and unaccented diphones in speech synthesis // Journ. of Acoustic society of America. 1991. V. 90. Pt 1.
48. Travniček F. Příspěvky k nauce o českém přízvuku. Brno, 1924.
49. Селищев А.М. Славянское языкознание. Т. I. М., 1941.

© 1993 г. КАНТЕР Л.А.

К ПРОБЛЕМЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ИНТОНЕМНОГО ФОНДА ЯЗЫКА

Одной из кардинальных проблем интонологии является поиск способов описания просодической (интонационной) системы языка в терминах эмических категорий (просодем/интонем) на базе типологизации имеющихся в нем основных просодических структур¹. Несмотря на большие усилия, приложенные в этом направлении, а также применение в ряде случаев достаточно сложного математического аппарата, указанную проблему можно считать решенной лишь в первом приближении. Как представляется, система интонем как структурных единиц для большинства языков нуждается в уточнении, а возможно, и коренном пересмотре.

Составление более или менее исчерпывающего перечня фразовых и текстовых интонем, а также их классификация требуют соответствующего уровня методологического обеспечения теоретических и экспериментальных исследований просодии. Вообще говоря, для современного этапа развития языкознания характерно усиление интереса к методологическим вопросам, что в известной мере объясняется неудовлетворенностью лингвистов существующей исследовательской практикой и стремлением поднять ее на качественно более высокий уровень. Одним из конкретных выражений методологических исканий в области интонологии является поиск наиболее адекватных методов экспериментального изучения просодических параметров речевого сигнала и интерпретации полученных результатов. В русле такого рода поиска оказался системный подход, на основании которого была предпринята попытка разработки системологической концепции анализа речевой интонации [3, 4]². С позиций указанной концепции интонацию можно определить как совокупность просодических характеристик речи (частоты основного тона, интенсивности, длительности), связанных между собой определенными формами взаимодействия и взаимозависимости и функционирующих в различных видах коммуникативно-контекстуального окружения (среды) как целостное структурное образование³.

Исследование того или иного объекта, в том числе интонации, на принципах системности обязательно предполагает наличие а) набора наблюдаемых объек-

¹ О современной проблематике и основных направлениях интонологических исследований см., например [1, 2].

В самом общем виде отличие несистемного подхода от системного сводится к тому, что в первом случае изучение специфики сложного объекта ограничивается качественным описанием составляющих его элементов (компонентов, частей), тогда как во втором случае основной упор делается на выявление характера связей и отношений между ними. Существенную роль в определении системообразующих связей играет часть универсума, непосредственно окружающая исследуемый объект, в пределах которой он функционирует. При этом систему можно рассматривать как множество (комплекс) взаимодействующих элементов, связи и отношения между которыми характеризуются вполне определенным заранее фиксированным признаком (свойством).

В связи с приведенным выше определением встает простой вопрос о соотношении интонация и просодии, подходы к решению которого варьируют от полного отождествления указанных понятий до их достаточно четкого противопоставления. Так, например, Л.В. Златоустова проводит мысль о том, что интонация и просодия имеют сходную параметрическую природу, но различное функциональное назначение: первая служит для выражения основных смысловых отношений, в том числе передачи коммуникативных типов высказывания, а вторая — для оформления речи с помощью сверхсегментных средств, т.е. прежде всего интеграции и делимитации единиц речевого континуума [5].

тов, б) набора признаков каждого объекта, в) набора признаков набора признаков, г) набора признаков наборов признаков объектов; при этом признак следует понимать не просто как свойство данного объекта, а прежде всего как характеристику, обобщаемую для всей системы, т.е. признак представляет собой множество объектов с заданным на нем разбиением на определенное число классов [6]. Системность речевой интонации находит свое выражение прежде всего в том, что появляется возможность ее адекватного (хотя и неизбежно приближенного) описания за счет некоей совокупности ряда переменных. В практическом плане это предполагает переход от традиционного принципа варьирования значениями отдельных экспериментальных переменных к комплексному изучению последних, и речь в подобных случаях идет о так называемых многомерных, или многофакторных, экспериментах. Попытка изучить характер просодической организации отдельно взятых фраз, сверхфразовых единств, фоноабзацев и текстов на основе изолированных, чисто формальных показателей (таких, как количество ударных и безударных слогов, значения тональных уровней и диапазонов, уровень звукового давления, длительность и т.д.) может привести к столь же формальным результатам. Дело в том, что даже самое детальное и тщательное описание отдельных характеристик не дает в сумме целостного представления о рассматриваемом интонационном объекте. Здесь требуется комплексный, многофакторный, а не просто поэлементный анализ. В этом и состоит суть системной ориентации интонологических исследований.

В области изучения просодии обычно принято выделять два самостоятельных, хотя в известной мере взаимодополняющих, направления: одно из них основано на измерении параметров речевого сигнала, другое — на построении моделей [7]. По-видимому, для получения адекватных модельных представлений о характере функционирования речевой интонации как системно организованного объекта необходим синтез указанных двух направлений, т.е. построение интонационных моделей должно базироваться на соответствующей измерительной информации, собранной в ходе фонетического эксперимента. Степень сложности обработки этой информации может быть различной: от элементарных математических подсчетов до вычислительных экспериментов, проводимых на ЭВМ и позволяющих учесть значительное число существенных факторов и связей, а также оценить их эффекты.

Проблема измерений всегда возникает при изучении квантифицируемых аспектов объективной реальности⁴. Стремление к квантификации каких-либо отношений между элементами системы обязательно предполагает создание соответствующего механизма измерения, в основу которого положены те или иные модельные представления. При рассмотрении количественной стороны такого типа системы, как речевая интонация, в качестве исходной предпосылки следует руководствоваться тезисом о том, что каждый объект (элемент), являющийся частью системы, характеризуется определенным набором (конечным числом) измеримых величин (свойств, параметров), причем взаимодействие между этими объектами и взаимосвязь между величинами в каждом из них могут найти выражение в некоторой строго определенной математической форме. Необходимо при этом подчеркнуть, что использование математических методов в интонологии сопряжено с известными трудностями. Хотя интонация в принципе относительно легко поддается квантификации, тем не менее здесь слишком велика вариативность измеряемых параметров. Вследствие этого бывает край-

⁴ Можно без преувеличения сказать, что сфера приложения измерений сейчас потенциально расширилась почти до безграничности. Наблюдающийся в настоящий момент "бурный натиск методов, основывающихся на измерениях", ни в коей мере не является случайным или неожиданным, так как «без высококачественного, количественно выраженного информативного материала невозможно либо затруднительно применение математических и кибернетических методов анализа данных, управление большими системами, моделирование сложных процессов, концептуализация знаний, необходимая при создании баз данных и систем "искусственного интеллекта"» [8].

не нелегко найти общие количественные выражения в однотипных интонационных реализациях, структурная общность которых бесспорна. Для того, чтобы выявить в этих реализациях некоторые инвариантные черты, необходимо применить именно системный, а не чисто количественный подход. Последний позволяет уточнить, развить системный подход, но количественный подход сам по себе не решает проблему.

Таким образом, при расширении и углублении экспериментальных исследований в области интонологии происходит значительное накопление эмпирических данных, и прежде всего результатов различного рода измерений, что выдвигает на первый план задачу применения методов математической статистики для обработки этих данных. Пути решения указанной задачи, по-видимому, следует искать в рамках интонометрии, представляющей собой область статистического исследования просодических характеристик речи на базе репрезентирующей их измерительной информации с целью построения соответствующих интонационных моделей [3, с. 39; 4, с. 6—7]. В широком понимании интонометрия охватывает практически все количественные методы изучения просодических характеристик речи, как уже фактически существующие, так и потенциально возможные, причем наиболее перспективными представляются методы интегрированной обработки просодической информации, поскольку именно в этом случае обеспечивается реализация принципа системности. Дальнейшее развитие интонометрии, очевидно, должно идти по линии сближения и тесного взаимодействия с другими так называемыми измеряющими, или "метрическими", дисциплинами, такими, как наукометрия, автометрия, квалиметрия, биометрия, антропометрия, психометрика, социометрия, искусствовметрия, стилеметрия и другими (см., например [9]). Конечно, речь здесь идет не о простом, механическом копировании методов, принципов и процедур анализа этих дисциплин, а о творческом освоении их методологического потенциала, принимая во внимание характер исследовательских задач, стоящих перед интонологией.

Вариант интонометрического анализа, детально разработанный в [4], тесно связан с новым, быстро развивающимся направлением в области анализа больших объемов эмпирических данных — функциональным шкалированием, основное назначение которого сводится к установлению связи между структурой сложной системы и индивидуальными описаниями ее элементов. В качестве методологического ориентира в данном случае выступает "подход, основанный на переходе от исходных показателей (признаков, параметров, значения которых измеряются на объектах (элементах), составляющих исследуемую систему, к небольшому числу некоторых обобщенных показателей, функционально связанных с исходными и обладающих теми или иными оптимальными свойствами", т.е. суть данного подхода заключается в агрегировании (сжатии) эмпирических данных (показателей), описывающих набор исследуемых объектов и обеспечивающих снижение размерности их описания [10]. Последнее достигается путем объединения рассматриваемых признаков, замены их совокупности каким-то одним признаком, искусственно созданным на их основе. Стремление к сокращению размерности пространства признаков привело к формированию особого направления в области математической статистики, называемого многомерным анализом, в область которого исследователь попадает всякий раз, когда ему приходится иметь дело с изучением взаимосвязи по крайней мере двух признаков [11, 12].

Одной из разновидностей методов многомерной статистики является кластерный анализ, позволяющий осуществить непосредственную группировку рассматриваемых объектов в пространстве исходных (измеряемых) параметров (см., например [11, с. 212—230; 13]). Точнее говоря, исследуемые объекты объединяются в более или менее компактные и "относительно изолированные" кластеры (классы, группы) на основе их "естественной близости", причем общий подход и интерпретация результатов здесь в значительной мере зависят от того конкретного содержания, которое вкладывает исследователь в указанные поня-

тия [13, с. IX]. Для кластеризации имеющейся выборки необходимо: 1) выделить набор признаков, на основании которого описываются объекты и достигается то или иное разбиение на кластеры; 2) выбрать метрику, с помощью которой эти признаки объединяются в один количественный показатель сходства (или различия) группируемых объектов. Как показывает практика, особой популярностью пользуется евклидова метрика, так как она наиболее близка к человеческому интуитивному представлению о расстоянии. Кроме того, в геометрии Евклида достаточно определено проявляется системный характер геометрического пространства (см., например [14]).

Итак, основной методологической чертой кластерного анализа является объединение и сжатие исходного набора признаков согласно принятой метрике. При этом кластер представляет собой скопление, или группу, точек в метрическом пространстве, связанных каким-либо сходным признаком и воспроизводящих (моделирующих) отношения, реально существующие между объектами (элементами) исследуемой системы. Графическое изображение кластера обычно сводится к двум разновидностям: в виде диаграммы-дерева (дендрограммы) или непосредственно в виде скопления точек (см., например: [3, с. 45—46]), что обеспечивает достаточно высокий уровень визуализации данных⁵.

Объективная потребность в применении кластерного анализа существует во многих областях фонетических исследований. Методы кластеризации могут с успехом использоваться практически всюду, где приходится иметь дело с классификацией экспериментальных данных (см. подробнее [15]). Проблема классификации теснейшим образом связана с типологическим подходом к изучаемым объектам, явлениям и процессам, причем типология обычно выступает в качестве методологической основы для классификации. Точнее говоря, под классификацией обычно понимается процесс разбиения некоторого множества (класса) объектов, или совокупности элементов, на подмножества (подклассы) объектов, или группы элементов, сходных между собой по определенным признакам, т.е. проблема классификации по существу сводится к поиску в определенном смысле оптимальных (а при отсутствии формального критерия просто интуитивно оправданных) разбиений рассматриваемого множества объектов. В случае, если каждый объект (элемент) соотносится только с одним из выделенных подмножеств (подклассов, групп), то речь идет о так называемой четкой классификации; в случае же, если такого строгого соответствия не наблюдается и задается лишь функция, или мера, принадлежности рассматриваемого объекта различным подмножествам, то такая классификация является расплывчатой, или нечеткой [16]. Последняя в гораздо большей мере соответствует реальности, чем четкая, так как большинство объектов, явлений и процессов окружающей действительности, включая язык человеческого общения, а также восприятие и мышление человека, характеризуются известной размытостью и расплывчатостью⁶.

Сказанное выше определило появление нового научного направления, известного под названием теории нечеткости⁷. Ключевым понятием, которым оперирует эта теория, является размытое (нечеткое) множество. Примером такого рода множества могут служить различные рукописные варианты изображения цифр "3" и "5" или, скажем, букв "e" и "c". Таким образом, речь здесь идет не о том, обладает ли объект тем или иным признаком, а лишь о том, в какой степени он этим признаком обладает. Поскольку "большинство реальных классов раз-

⁵ Научная визуализация — это процесс отображения абстрактной по своей сути информации в виде конкретно-наглядных образов.

⁶ О нечетких классификациях см. подробнее [17].

⁷ Концепция нечетких множеств, впервые выдвинутая американским ученым Л.А. Заде в 1965г. [18], довольно быстро завоевала популярность исследователей во всем мире, о чем свидетельствует значительное число публикаций по данной теме — более 3000. Список основных работ по теории нечетких множеств можно найти, например, в [19].

мыты по своей природе в том смысле, что переход от принадлежности к непринадлежности для этих классов скорее постепенен, чем скачкообразен" [20], возникает необходимость внедрения элементов теории нечетких множеств в области кластерного анализа, что позволяет преодолеть трудности, возникающие при использовании традиционных подходов.

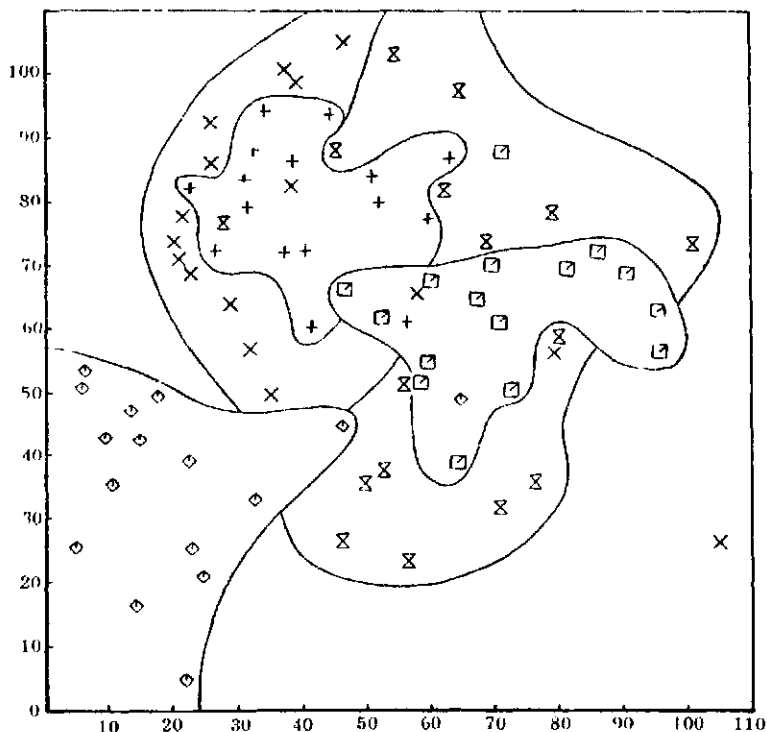
Как показывает анализ имеющейся научной литературы, опыт применения метода кластеризации в лингвистике и смежных с ней областях пока достаточно ограничен. В этой связи можно отметить, например, использование данного метода (как правило, сопровождающееся построением дендрограмм) при исследовании семантической структуры образной репрезентации [21], при классификации текстов естественного языка [22], при обработке данных аудитивно-перспективных экспериментов [23], а также для решения задач прикладной фонетики, в частности, классификации дикторов по их пригодности для работы с неадаптивной системой распознавания речи [24].

В работе [4] впервые применительно к изучению просодических характеристик речи⁸ был использован алгоритм кластерного анализа, основанный на представлении набора точек многомерного пространства точками двумерного пространства при наименьшем искажении структуры исходного множества точек [25]. Разумеется, отобразить многомерный объект в объект меньшей размерности без искажения расстояний между характеризующими его точками невозможно, поэтому первостепенное значение здесь приобретает минимизация ошибки аппроксимации. Иначе говоря, при малой ошибке аппроксимации расположение точек в двумерном пространстве (на плоскости) дает визуальное представление о локализации интонационных реализаций в пространстве измеряемых параметров, что в свою очередь позволяет судить о кластерности (кучности) реализаций рассматриваемых видов интонации по расположению соответствующего им скопления точек на плоскости. Таким образом, указанный алгоритм обеспечивает точечное отображение векторов (в нашем случае интонационных реализаций) из n -мерного пространства на плоскость без изменения локальной структуры исходных данных, т.е. без потери разделимости объектов, относящихся к разным классам, и речь здесь по существу идет о процедуре двумерного шкалирования.

На приводимом ниже в качестве примера рисунке показано расположение на плоскости реализаций пяти видов интонации русского языка: законченного повествования, ответного повествования, общего вопроса, восклицания и незаконченного повествования. Каждой интонационной реализации, по которой измерялось 14 исходных акустических параметров (10 параметров частоты основного тона и по 2 параметра интенсивности и длительности), соответствует точка в двумерном пространстве. Двусложная тестовая фраза "ОН ЗНАЛ" была произнесена в соответствующих диалогических контекстах шестнадцатью дикторами-русскими (мужчинами) с указанными видами интонации, что позволило получить 80 реализаций, подвергнутых впоследствии интонографическому, а затем вычислительному эксперименту⁹. Для большей наглядности кластеры точек, соотносимые с рассматриваемыми видами интонации, обведены сплошными линиями. Полученные результаты кластеризации позволяют установить, что один из классов (общий вопрос) характеризуется большей изолированностью, в то время как остальные достаточно тесно примыкают друг к другу. Кроме того, кластер незаконченного повествования представлен двумя составными частями. Из рисунка также следует, что степень однородности кластеров может быть различной: наиболее "чистыми" в данном случае являются кластеры общего

⁸ Программа исследования включала в себя поиск кластерных эталонов просодии английского и русского языков, их типологическое сопоставление с учетом модификации в условиях интерференции и на фоне действия такой социолингвистической переменной, как пол говорящего.

⁹ Обработка экспериментальных данных проводилась на ЭВМ IKLIPS MV/8000.



Результаты кластеризации интонационных структур, основанные на двумерном отображении данных (русский язык)

Условные обозначения

- + - завершённое повествование
- X - ответное повествование
- ◇ - opening вопрос
- - восклицание
- ⊗ - независимое повествование

вопроса и ответного повествования, в остальных же случаях наблюдается большее или меньшее число "чужих" реализаций.

Таким образом, наличие кластерной структуры на рисунке свидетельствует о возможности различения и, следовательно, противопоставления пяти видов интонации русского языка. Ошибка аппроксимации минимизирована и составила здесь 0,039. Серия предварительных вычислительных экспериментов позволила эмпирическим путем определить максимально допустимую ошибку аппроксимации, значение которой не должно превышать 0,05—0,06. В противном случае происходит достаточно сильное искажение отображаемой информации, что проявляется либо в полном отсутствии кластерной структуры (точки располагаются на плоскости диффузно-хаотически), либо картину кластеризации нельзя считать достоверной (образуются так называемые "ложные" кластеры). Следовательно, минимизированное значение указанной величины может рассматриваться как критерий достоверности результатов кластеризации.

В связи с анализом полученных в ходе вычислительного эксперимента результатов встает вопрос о выработке критериев кластеризуемости. В рамках общего принципа визуальной оценки кластеров могут быть использованы такие критерии, как степень относительной изолированности, компактности (плотности) и "засоренности" кластера, степень размытости и изрезанности его границ, а также наличие/отсутствие более или менее явно выраженного ядра кластера и его периферии. Однако применение этих критериев в области изучения просодии

осложняется тем обстоятельством, что в интонологии модельные представления особенно размыты и вообще плохо поддаются формализации. Отсутствие однозначности при применении указанных критериев порождает некоторую неопределенность, мотивирующую необходимость поиска таких подходов к оценке результатов кластеризации, которые основывались бы на нежестких правилах интерпретации, адекватных самой природе звучащей речи.

Следует подчеркнуть, что наблюдающиеся в большинстве случаев изрезанность, размытость и неопределенность границ кластеров предопределены уже самой нечеткой природой идентифицируемых речевых сигналов (интонационных реализаций), особенно когда характеризующие их значения близки к пороговым. Данное обстоятельство обуславливает появление феномена просодической диффузии¹⁰ и детерминирует нечеткий характер классификации интонационных объектов.

Итак, методом кластеризации может быть верифицирована любая условно принятая или традиционно существующая классификация, а также апробировано основание для новой классификации качественно иного типа, т.е. для реклассификации. Точнее говоря, последняя представляет собой процесс, обратный классификации, в результате которого создаются предпосылки для принципиально иной группировки рассматриваемых интонационных объектов, при классификации которых ранее использовался иррелевантный, недостаточно существенный или вообще какой-то принципиально иной критерий различения.

В связи с понятием реклассификации, по-видимому, целесообразно ввести также и понятие рекластеризации, которое отражает изменение характера и/или качества кластеризации в зависимости от а) числа рассматриваемых объектов (т.е. выборки), б) числа гипотетических категорий (классов), в которые предположительно входят группируемые объекты (число этих классов может быть априорно известно либо является искомой величиной и целью кластеризации), в) числа и характера учитываемых параметров, г) условий нормировки, д) выбранного критерия различения, е) ошибки аппроксимации и других факторов. При этом может наблюдаться частичное или полное изменение очертания границ полученных кластеров, а также изменение их локализации на плоскости и расположения относительно друг друга. Кроме того, может произойти перегруппировка большего или меньшего числа рассматриваемых реализаций, в процессе которой один кластер распадается на две составные части или наоборот — из двух частей образуется один общий кластер, увеличивается или уменьшается (вплоть до полного исчезновения) число некластеризованных реализаций и реализаций, попавших в "чужие" кластеры. Иначе говоря, в указанных случаях меняется визуальная репрезентация результатов кластеризации без изменения ее содержательной стороны, т.е. речь здесь идет о лучшем или худшем выделении кластеров, но сам факт их выделения и число остаются неизменными. Такой вариант рекластеризации не ведет к реклассификации рассматриваемых объектов. Однако возможен и другой вариант, при котором наблюдаются существенные изменения в содержательной стороне результатов кластеризации, касающиеся в первую очередь принципиально иного деления на кластеры, на основе чего отвергается исходная система классификации и формируются предпосылки для создания новой.

Как следует из сказанного выше, в ходе рекластеризации полученные кластеры подвергаются преобразованию, которое находит свое выражение в процессах их деформации и декомпозиции. При деформации кластера происходит изменение взаимного расположения составляющих его точек, обычно сопровожда-

¹⁰ О данном феномене можно говорить при наличии того или иного числа "чужих" реализаций в пределах выделяемых кластеров

ющиеся увеличением или уменьшением расстояния между ними, что приводит к изменению общей конфигурации кластера. Декомпозиция же заключается в такой перегруппировке точек, при которой происходит полный или частичный распад кластера.

Таким образом, в зависимости от степени дискретности или диффузности изучаемых объектов и их атрибутов (признаков, свойств, параметров) результаты кластеризации в качественном отношении могут варьировать от полного отсутствия возможности сгруппировать рассматриваемые объекты до получения достаточно компактных и изолированных, т.е. более или менее четких, кластеров. Между этими двумя экстремальными вариантами могут наблюдаться промежуточные случаи: нечеткие кластеры, праclusters и области преимущественной локализации. Нечеткий кластер объединяет не менее половины объектов априорно выделяемой группы, его границы, как правило, делимитируются с трудом и характеризуются значительной изрезанностью и размытостью. Праcluster (или "зародыш" кластера) представляет собой компактное скопление, образованное менее чем половиной объектов рассматриваемой группы. И, наконец, область преимущественной локализации позволяет лишь обозначить в самом общем виде часть пространства, в пределах которого группируется подавляющее большинство объектов определенного типа, диффундирующих с объектами других типов. Разумеется, диффузия может наблюдаться и в других случаях, однако наиболее заметно она проявляется именно при выделении области преимущественной локализации. Попадание объекта в "чужой" кластер объясняется прежде всего нечеткой природой самого объекта, а также выбранным критерием различения, ошибкой аппроксимации, способом нормировки исходных параметров, в некоторых случаях артефактом, обусловленным сложностью получения естественного звучания дикторов в лабораторных условиях, и т.д. Если какой-либо кластер представлен двумя (или более) составными частями, в пределах которых группируются объекты определенного типа, то можно говорить о наличии двух (или более) подкластеров. Кроме того, в случае значительного увеличения межточечных расстояний и проникновения в кластер большего или меньшего числа "чужих" точек происходит образование так называемого "рыхлого" кластера.

Эксплицированные выше понятия могут быть использованы в качестве метаязыка описания при интерпретации результатов поиска кластерных эталонов просодии того или иного языка и служить методологическим ориентиром в дальнейших исследованиях подобного рода как в области супrasegmentной, так и сегментной фонетики¹¹.

Как известно, любой объект — это органическое единство количественной и качественной определенности. Такого рода единство составляет их меру, указывающую предел, за которым изменение количества влечет за собой изменение качества объекта и наоборот, что позволяет рассматривать меру как своеобразную зону, в пределах которой данное качество может видоизменяться при сохранении своих существенных характеристик [27]. С учетом вышесказанного под кластерным эталоном, являющимся одним из основных операционных понятий при данном подходе, следует понимать совокупность конкретных реализаций в рамках определенного интонационного архетипа. Принимая во внимание, что отношения между элементами этого эталона базируются на принципе не эквивалентности, а толерантности, для более содержательной оценки результатов кластеризации, по-видимому, целесообразно

¹¹ Так, например, данная методология и сопровождающий ее метаязык были использованы в диссертационном исследовании, посвященном качественно-количественным характеристикам сегментных модификаций английского языка, выполненном под руководством автора настоящей статьи (см. [26]).

также введение понятия толерантной области¹². Последняя представляет собой часть пространства, заключенную в границах кластера, т.е. фактически является областью допустимой вариативности для реализаций, относящихся к определенному виду интонации.

Таким образом, наличие кластерной структуры в пространстве выборки служит основанием для делимитации границ толерантных областей и свидетельствует о принципиальной возможности выделения соотносимых с ними видов интонации в данном языке. При этом указанная структура, как уже отмечалось, в идеале должна характеризоваться компактностью, однако на практике, особенно в случае "рыхлого" кластера, речь идет лишь о квазикompактности, обусловленной значительной вариативностью однотипных речевых сигналов. Если же точки, репрезентирующие какой-то гипотетически выделяемый вид интонации, диффузно-хаотически рассеяны на плоскости и толерантная область отсутствует, делается вывод о неправомочности или ошибочности выделения этого вида интонации в рассматриваемом языке. Толерантные области могут быть как индивидуальными, т.е. образованными реализациями преимущественно одного вида интонации, так и общими, т.е. включающими в себя реализации двух (или более) априорно выделяемых, близких по семантике видов интонации. Причем некоторые интонационные типы могут быть представлены двумя толерантными областями, что, по всей видимости, говорит о существовании двух вариантов материального воплощения изучаемого вида интонации.

В интонологии в качестве аналога толерантной области выступает интонационная зона. Приведенный выше рисунок дает наглядное представление о количестве, локализации, очертаниях границ и корреляции друг с другом интонационных зон, выделенных на основе их модельного представления в виде толерантных областей.

Итак, актуализация речевых действий средствами просодии либо образует устойчиво выделяемые интонационные зоны, либо не образует отдельных, самостоятельных зон. В первом случае следует говорить о зональности, а во втором — об азональности рассматриваемых видов интонации. Кроме того, при наличии интонационной зональности нередко наблюдается частичное переkreщивание, взаимопопoнижение элементов разных зон. Это явление можно назвать интразональностью, обусловленной в первую очередь тем, что просодия относится к числу нежестко структурированных систем. При наличии ярко выраженной интразональности выделяются так называемые диффузные зоны, а при ее отсутствии — дискретные. К сказанному выше следует добавить, что в случае, если наблюдается значительное число интонационных реализаций, не попавших ни в одну из толерантных областей, то их группировке соответствует некая зона неопределенности, или зона "хаоса", в пределах которой идентификация речевого сигнала затруднительна или практически невозможна. Хаотичность может также наблюдаться на определенной стадии вычислительного эксперимента. По мере улучшения качественного уровня обработки данных "хаос" постепенно исчезает, уступая место более или менее упорядоченной структуре.

Предлагаемую триаду, включающую в себя кластерный эталон, толерантную область и интонационную зону, можно использовать в качестве необходимой предпосылки для построения адекватной онтологической интерпретации такого

¹² С помощью отношения толерантности обычно эксплицируется человеческое интуитивное представление о сходстве (неполной одинаковости) или неразличимости рассматриваемых объектов, т.е. наличие у этих объектов общих признаков позволяет рассматривать их как толерантные, так, можно говорить о толерантности двух функций, если они принимают одинаковые значения хотя бы в одной точке (см. подробнее [28, 29]) Пространство естественного языка в основном устроено по принципу толерантности, и простейшим примером отношений толерантности здесь может служить синонимия

базового понятия интонологии, лежащего в основе ее теоретического фундамента, каким является интонома (просодема). При этом под интономой понимается структурно организованная просодическая единица смысловоразличения, существующая в данном языковом коллективе как отработанная практикой речевого общения модель звучания в отвлечении от ее конкретных реализаций, с одной стороны, и манифестирующаяся в виде типовых материальных воплощений — с другой. Интонационную зону выражения определенного смыслового и/или эмоционального содержания, инвариантную относительно индивидуальных особенностей говорящих и других факторов вариативности, можно рассматривать интоному. Таким образом, зональность свидетельствует о просодематическом статусе соответствующего вида интонации, а азональность — об отсутствии такового. Возможные случаи, когда интонационная зона соотносится с толерантной областью, являющейся общей для двух (или более) близких по коммуникативному смыслу (прагматическому значению) видов интонации, указывают на то, что последние не обладают собственным просодематическим статусом, а функционируют в речи как контекстуально обусловленные варианты одной интономы.

В связи с построением концептуальной схемы для выделения интоном языка встает вопрос о характере соотношения между аналогами интонационных зон, объективно существующими в пространстве акустических измерений, и их коррелятами в субъективном пространстве восприятия¹³. Иначе говоря, данный вопрос сводится к тому, насколько результаты кластеризации отражают психологическую реальность. Разумеется, установление взаимно-однозначного соответствия между пространством акустических и перцептивных измерений невозможно, тем не менее в исследовательской практике одно из них может выступать в качестве модели по отношению к другому при разработке методов и алгоритмов идентификации речевого сигнала. Причем обычно процессы, происходящие в звуковоспринимающей системе человека (слуховом анализаторе) по мере прохождения через нее речевого сигнала, используются в качестве отправной точки для создания эффективных устройств машинного распознавания звучащей речи. Однако в последнее время все чаще наблюдается и движение в обратном направлении, когда имеет место так называемая "компьютерная метафора", т.е. "познавательные процессы, выполняемые человеком, трактуется по аналогии с процессами переработки информации в сложных вычислительных устройствах" ([31]; см. также [32]).

Как представляется, изложенные выше соображения могут быть приняты в качестве теоретического обоснования предлагаемой зонной концепции речевой интонации, основное назначение которой заключается прежде всего в составлении подробного инвентаря интоном языка и их вариантов¹⁴.

Учитывая, что центральной методологической процедурой при описанном выше подходе к обработке просодической информации является вычислительный эксперимент, общее направление такого рода исследований можно назвать "компьютерной просодией"¹⁵. Суть этого направления определяет алгоритмический поиск решения задачи в пространстве ее возможных решений, при этом положительный результат достигается за счет органического сочетания формальных

¹³ Понятие зонной природы эталонов перцептивной базы языка вводится Э.Н. Джапаридзе и определяется как "свойство этих эталонов, которое позволяет... описать их в виде определенной зоны и указать на ее границы" [30].

¹⁴ О других возможных подходах к исследованию интонации с точки зрения зональности см., например [33].

¹⁵ Термин предложен Л.В. Златоустовой.

правил алгоритмического исчисления и "машинного" опыта с профессиональным опытом и интуицией самого исследователя¹⁶.

Завершая рассмотрение вопроса о верификации просодемотического статуса имеющихся в языке видов интонации, следует отметить, что данный вопрос в известной мере выходит за рамки собственно интонологии, так как каждый из этих видов, как правило, достаточно определенно соотносится с тем или иным коммуникативно-прагматическим типом высказывания, что диктует необходимость учета характера взаимоотношений между фонетикой и прагматикой (см. [35]). Вообще говоря, в последние годы в области интонологии все большее применение находят идеи, понятия, принципы и концептуальные схемы, заимствованные из психо- и социолингвистики, лингвистической прагматики и т.д. При этом прагмалингвистический подход в исследовании интонационных единиц языка позволяет не только глубже изучить коммуникативную функцию интонации, но также и восполнить существующий пробел в предметной области самой прагматики. Дело в том, что в современных работах этого направления, и в частности по теории речевых актов, отмечается, что фонетический аспект языка, а точнее просодия, практически выпадает из поля зрения прагматики. В связи с этим представляется перспективным отнесение комплекса проблем, находящихся на стыке фонетики и прагматики, к особой области исследования звучащей речи — прагмафонетике (см. [36]). В пределах этой области возможно было бы осуществить в определенной мере синтез указанных двух предметных субстанций, а ее задачей явилось бы изучение функционирования элементов звукового строя языка в процессе речевого общения с учетом их роли в актуализации прагмалингвистических категорий и понятий (таких, как тип речевого акта, его иллокутивная цель и сила, перформативность и др.)¹⁷.

Понятие прагматического (коммуникативно-прагматического) типа высказывания, фигурирующее в работах отечественных лингвистов, и понятие типа речевого акта, введенное зарубежными специалистами в области лингвистической прагматики, по существу выступают как синонимичные, поскольку речь здесь фактически идет об одной и той же категории. Точнее говоря, речевой акт как "единица нормативного социоречевого поведения, рассматриваемая в рамках прагматической ситуации" [41], представляет собой элементарное (минимальное) звено языковой коммуникации, являющееся продуктом актуализации предложения в конкретной ситуации общения и направленное на достижение определенной иллокутивной цели, причем одним из таких средств актуализации является просодия. Следует подчеркнуть, что имеющиеся в литературе сведения об интонационной реализации речевых актов носят весьма ограниченный и фрагментарный характер. Поэтому специальные экспериментально-фонетические исследования просодических характеристик речи с точки зрения различных уровней анализа речевого акта представляют собой актуальную задачу как для интонологии, так и для лингвистической прагматики. Составлению исчерпывающей таксономии речевых актов и их детальной спецификации, т.е. делению на подклассы и подвиды, с возможной их последующей реклассификацией может способствовать введение критерия просодической маркированности типов речевых актов и их иллокутивной силы.

¹⁶ Одной из сфер приложения полученных в рамках указанного направления результатов и выводов является разработка технических устройств, предназначенных для постановки или коррекции произносительных навыков. Принципиальная схема обучающего устройства типа интонационного тренажера, которая может быть реализована на базе персонального компьютера, приводится в [34].

¹⁷ Мысль о необходимости выделения прагмафонетики практически одновременно была высказана в [36] и [37]. Однако в отличие от приведенной выше трактовки, в [37] сфера интересов прагмафонетики ограничивается изучением структуры и системы фонетических средств речевого воздействия. К работам прагмафонетического плана могут быть отнесены, например [38—40].

Итак, для решения классификационных задач в области прагмафонетики может успешно использоваться описанный в настоящей статье вариант методологии интонометрического анализа, а предлагаемая зонная концепция речевой интонации может послужить основой для изучения внутренней структуры того или иного класса речевых актов. Так, например, как следует из приводимого рисунка, зоны трех видов повествования — законченного, незавершенного и ответного — свидетельствуют о наличии интонационной выраженности у трех разновидностей речевых действий в рамках одного типа.

В заключение необходимо подчеркнуть, что современный этап развития интонологии, сопровождающийся глубокими преобразованиями в ее предметной конструкции, является отражением общей переориентации, происходящей в фонетической науке. Это касается изменений как в выборе объектов и методов исследования, так и в способах интерпретации полученных в ходе эксперимента результатов. Фонетическая наука все в большей мере приобретает междисциплинарный статус, не ограничиваясь рамками собственно лингвистики и традиционного понимания как одного из уровней языковой системы, занимаясь по существу изучением звуковой формы языка как во всех его функциональных проявлениях [42].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Торсуева И.Г. Современная проблематика интонационных исследований // ВЯ. 1984. № 1.
2. Антипова А.М. Направления исследований по интонации в современной лингвистике // ВЯ. 1986. № 1.
3. Кантер Л.А. Системный анализ речевой интонации. М., 1988.
4. Кантер Л.А. Просодийские характеристики речи как объект системного анализа: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1990.
5. Златоустова Л.В. Интонация и просодия в организации текста // Звучащий текст. М., 1983. С. 11—12, 20—21.
6. Виноградов В.А., Гинзбург Е.Л. Система, ее актуализация и описание // Системные исследования: Ежегодник. 1971. М., 1972. С. 97.
7. Prosody: Models and measurements. Berlin; Heidelberg; New York; Tokyo, 1983.
8. Бирюков Б.В., Михеев В.И. Измерение как объект логико-методологического и философского анализа (Послесловие) // К. Берка. Измерения: Понятия, теория, проблемы. М., 1987. С. 277.
9. Мартыненко Г.Я. Основы стилометрии. Л., 1988.
10. Авен П.О., Мучник И.Б., Ослом А.А. Функциональное шкалирование. М., 1988. С. 5.
11. Chatfield Ch., Collins A. Introduction to multivariate analysis. L.; N.Y., 1980.
12. Многомерный статистический анализ: Математическое обеспечение. М., 1979.
13. Anderberg M.R. Cluster analysis for applications. New York; San Francisco; London, 1973.
14. Канторович Л.В., Паиско В.Е. Системный подход в методологии математики // Системные исследования: Ежегодник, 1983. М., 1983. С. 30.
15. Сокол Р.Р. Кластер-анализ и классификация: предпосылки и основные направления // Классификация и кластер. М., 1980.
16. Орлов А.И. Математика нечеткости // Наука и жизнь. 1982. № 7. С. 64.
17. Овчинников С.В., Рьера Т. О нечетких классификациях // Нечеткие множества и теория возможностей: последние достижения. М., 1986.
18. Zadeh L.A. Fuzzy sets // Information and Control. 1965. V. 8, № 3.
19. Нечеткие множества и теория возможностей: последние достижения. М., 1986. С. 391—404.
20. Заде Л.А. Размытые множества и их применение в распознавании образов и кластер-анализе // Классификация и кластер. М., 1980. С. 208.
21. Петренко В.Ф. Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм репрезентации в обыденном сознании. М., 1983.
22. Тулдава Ю.А. Опыт классификация текстов с помощью кластер-анализа // Актуальные проблемы количественной лингвистики и автоматического анализа текста. Тарту, 1981.
23. Odé C. Rising pitch accents in Russian intonation: an experiment // Dutch Contribution to the X-th Intern. Cong. of Slavists (Sofia, Bulgaria). Amsterdam, 1988.
24. Мазур В.Н. Распознавание речи произвольного диктора по кластерным эталонам // Proc. of the XI-th Intern. cong. of phonetic sciences. V. 2. Tallinn, 1987.
25. Samton J.W., Jr. A nonlinear mapping for data structure analysis // IEEE transactions on computers. 1969. V. C-18. № 5.
26. Лукьяненко В.Н. Статистический поиск дифференциальных признаков фонем (на материале английских монофтонгов, коррелированных по принципу долготы): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1991.

27. *Философский энциклопедический словарь*. М., 1983. С. 253, 264, 360.
28. *Пиотровский Р.Г.* Инженерная лингвистика и теория языка. Л., 1979. С. 36—41.
29. *Шрейдер Ю.А.* Равенство, сходство, порядок. М., 1971. С. 78—113.
30. *Джапаридзе З.Н.* Перцептивная фонетика: Тбилиси, 1985. С. 48.
31. *Лингвистическая прагматика и общение с ЭВМ*. М., 1989. С. 76.
32. *МакКормак Э.* Когнитивная теория метафоры // *Теория метафоры*. М., 1990. С. 366—380.
33. *Buttel Sovilla J.* Intonation et syntaxe: Contribution neurolinguistique à l'étude du rôle des facteurs intonatifs dans l'établissement des liens sémantico-syntaxiques de constituants de phrases. Lausanne, 1988.
34. *Kanter L.A., Savin A.V., Guskova K.G.* Towards designing an intonation training device based on speech signals clustering // *Proc. of the XII Intern. cong. of phonetic sciences*. V. 2. Aix-en-Provence, 1991.
35. *Seung T.K.* Semiotics and thematics in hermeneutics. N.Y., 1982. P. 54.
36. *Кантер Л.А., Гуськова К.Г.* Нормативный аспект просодической реализации речевых актов как проблема прагмафонетики // *Нормы человеческого общения: Тез. докл. научн. конф. Говкий*, 1990.
37. *Потапова Р.К.* Фонетические средства оптимизации речевого воздействия // *Оптимизация речевого воздействия*. М., 1990. С. 200.
38. *Lindsey G.* Intonation and pragmatics // *Journ. of the Intern. Phonetic Association*. 1981. V. 11. № 1.
39. *Geluykens R.* Intonation and speech act type // *Journ. of pragmatics*. 1987. V. 11. № 4.
40. *Кодзасов С.В.* Перформативность и интонация // *Логический анализ языка: Проблемы интенциональных и логических контекстов*. М., 1989.
41. *Арутюнова Н.Д.* Речевой акт // *Лингвистический энциклопедический словарь*. М., 1990. С. 412.
42. *Николаева Т.М., Розанова Н.Н.* О деятельности постоянной комиссии по фонологии и фонетике при ОЛЯ АН СССР // *ВЯ*. 1989. № 3. С. 151.

© 1993 г. БОМХАРД А.Р.

**РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АТЕМАТИЧЕСКИХ ГЛАГОЛОВ
В ПРАИНДООЕВРОПЕЙСКОМ**

1. Введение.

Данная работа состоит из двух частей. В первой части используется сравнительный метод с целью реконструкции окончаний атематических глаголов в позднем праиндоевропейском; во второй применяется метод внутренней реконструкции, дающий возможность проследить доисторическое развитие этих окончаний в праязыке и высказать предположение об их возможном происхождении.

Хотя в некоторых из дочерних и.-е. языков имеются окончания двойственного числа, они не будут рассмотрены в настоящем кратком исследовании, поскольку, вероятнее всего, история этих окончаний начинается в период после распада и.-е. праязыка [1, с. 46]. Аналогично, не будет рассматриваться и аугмент, употребляемый в сочетании со вторичными окончаниями в греческом, армянском и индоиранских языках [2, с. 242; 3, с. 277—278]. Уоткинс [11, с. 40] абсолютно прав, считая это явление результатом позднейшего диалектного развития.

2. Первичные окончания.

Так называемые "первичные" личные показатели глагола легко выводятся из так называемых "вторичных" путем прибавления к ним дейктического показателя *-i [4, с. 4; 5, с. 314]. Невозможно оспаривать древность первичных окончаний, так как они отражены во всех древних дочерних языках, включая хеттский:

	Хет.	Скр.	Греч.	Праин.-е.
1 л. ед. ч.	e-eš-mi	ásmi	ειμι	*Hés-m-i
2 л. ед. ч.	e-eš-ši	ási	ει'	*Hés-s-i
3 л. ед. ч.	e-eš-zi	ásti	ἔστι/ἔστί	*Hés-t-i
1 л. мн. ч.	e-šu-wa-ni	smás(i)	ἔσμεν	*(H)s-mé-(n/s)
2 л. мн. ч.		sthá	ἔστέ	*(He)s-té
3 л. мн. ч.	a-ša-an-zi	sánti	εἰσι—*εντι	*(H)s-é/ón-t-i

Поскольку вторичность первичных окончаний не вызывает сомнений, дальнейшее изложение будет посвящено в основном вторичным личным показателям глагола.

3. Вторичные окончания.

Так называемые "вторичные" окончания представляют собой древнейшие формы личных показателей атематических глаголов. Можно полагать, что первоначально эти окончания были полифункциональны [4, с. 4]. Так называемый "инъюнктив" в санскрите — это след такого полифункционального употребления [5, с. 299].

В дочерних языках вторичные окончания представлены в следующем виде:

	Хет.	Скр.	Греч	Праи.-е.
1 л. ед. ч.	<i>e-šu-un</i>	<i>āsam</i>	ḥa	*Hés-m
2 л. ед. ч.	<i>e-eš-ta</i>	<i>ās</i>	ḥσθα	*Hés-s
3 л. ед. ч.	<i>e-eš-ta</i>	<i>ās</i>	ḥν, дор. ḥσ	*Hés-t
1 л. мн. ч.	<i>e-šu-u-en</i>	<i>āsma</i>	ḥμεν, дор. ḥμεσ	*(H)s-mé
2 л. мн. ч.	<i>e-eš-te-en</i>	<i>āsta</i>	ḥστσ	*(He)s-té
3 л. мн. ч.	<i>e-še-ir</i>	<i>āsan</i>	ḥσαν, дор. ḥσ гом ḥσν	*(H)s-én-t (*[H]s-ér)

Легко видеть, что различия между дочерними языками в том, что касается форм вторичных окончаний, значительно существеннее различий в формах первичных показателей. Это связано с тем фактом, что в каждом из дочерних языков имела место инновация. Следовательно, необходимо предпринять детальный анализ каждой из форм, что позволит устранить все неясности прежде, чем мы перейдем к рассмотрению доисторического развития обсуждаемых личных показателей глагола.

4. Окончание 1 л. ед. числа.

Окончание 1 л. ед. ч. атематических глаголов восстанавливается в виде *-m:

В хеттском представлено окончание *-un*. Для того чтобы объяснить эту форму, предпринимались многочисленные попытки, но наиболее убедительным кажется объяснение, предложенное Бенвенистом [6, с. 16—18]. Бенвенист реконструирует протохет. **u-m* и связывает это *-u-* с окончанием, представленным, например, в скр. 1 л. ед. ч. прош. вр. *jajīdu*. В результате наращения *-m* в протохеттском это закономерно дало хет. *-u-n* [7, с. 109; 8, с. 45].

В санскрите представлено окончание *-am*, являющееся результатом обобщения превокального показателя *-m [9, с. 595—596].

Греч. ḥa является закономерным результатом развития формы **és-m* (←*He-Hes-m).

Остальные дочерние языки содержат как прямые, так и косвенные свидетельства того, что окончание 1 л. ед. ч. в праязыке имело вид *-m. Прямое свидетельство, например, др.-лат. *siem* [← опатива **s-yé-m* (ср. скр. *s-yā-m* и гом. греч. εἶνυ-ε-σ-ιη-ν)]. Косвенные доказательства обнаруживаются в первичных окончаниях многих других дочерних языков, например: литов. *esmi*, гот. *im*, церк.-слав. *jesmь* и т.п.

5. Окончание 2 л. ед. числа.

Окончание 2 л. ед. ч., по всей вероятности, реконструируется в виде *-s:

Стертевант [8, с. 141] полагает, что хеттское окончание *-ta* восходит к форме 3 л. ед. ч. Мы остановимся на этом подробнее ниже (§ 12).

Скр. *ās* — из **és-s* (←*He-Hes-s).

Греческое окончание *-(σ)θα* заместило регулярный показатель, заимствовано из перфекта, например, *οἶσ-θα* [10, с. 245]. В греческом представлены также формы на *-ς*, например, *εἶης* [← опатив **s-yé-s* (ср. скр. *s-yā-s* и др.-лат. *siēs*)]. В эолийском представлена первичная форма *έσσι*.

Другие свидетельства в пользу того, что окончанием 2 л. ед. ч. было *-s, обнаруживаются в таких, например, формах, как упоминавшееся выше др.-лат. *siēs*; др.-прусс. *-s*, например, в *weddeis* "свинец"; гот. *-s*, например, в *nitais* "... (который тебе) нужно взять".

6. Окончание 3 л. ед. числа.

Окончание 3 л. ед. ч. атематических глаголов восстанавливается, как представляется, в виде *-t:

Фонемный состав в хет. *e-eš-ta* можно интерпретировать как /est/ [8, с. 141; 11, с. 169—170].

В скр. *ās* и греч. (дор.) *ἤς* конечное *-t* было утрачено [10, с. 245] Аттич. *ἦν* — это по происхождению окончание 3 л. мн. ч.

Вторичное окончание сохранилось, например, в др.-лат. *sied* [— **s-yē-t* (ср. скр. *s-yā-t* и гом. греч. *ἔτη*)].

7. Окончание 1 л. мн. числ.

Данное окончание атематических глаголов восстанавливается, по-видимому, как *-*me*:

В хеттском закономерно первичное окончание *-weni* и вторичное *-wen* (с соответствующими аблаутными вариантами). Согласно Стертеванту [8, с. 140], хеттское окончание соотносится с исходным **we-*. Именно это окончание было позднее использовано для формы 1 л. дв. ч. в неанатолийских дочерних языках. Варианты *-meni* и *-men*, соотносимые с соответствующими вариантами в санскрите и греческом, представлены в хеттском только в положении после *-u-*. Ниже (§ 13) мы рассмотрим вопрос о взаимоотношениях этих двух наборов окончаний подробнее.

Скр. *āsta* < **ēs-me* (— **He-Hs-me*) и не нуждается в комментариях.

В греческом представлены окончания *-μεν* и *-μες*. Первое соотносится с хеттским вторичным окончанием *-men*, а второе — с первичным окончанием *-mas* в санскрите. Согласно Баку [10, с. 245—246], *-μεν* по происхождению — вторичное, а *-μες* — первичное окончание. В греческих диалектах один из показателей сохранился, а другой утратился.

Остальные дочерние языки сильно варьируют в отношении первичного и вторичного окончаний 1 л. мн. ч., однако все факты указывают на исходное **-me* (см. подробнее [2, с. 229—230]).

8. Окончание 2 л. мн. числа.

Этот личный показатель атематических глаголов реконструируется в виде **-te*: Несмотря на то, что в хеттском представлено *-ten*, окончание *-te* в греческом и санскрите указывает на отсутствие назализации. Об этом же свидетельствуют и данные других дочерних языков: литов. первичное *ēs-te*, вторичное *būvo-te*; церк.-слав. первичное *jēs-te* и т.п.

9. Окончание 3 л. мн. числа.

Данное окончание атематических глаголов восстанавливается как **-en-t*:

Все дочерние языки свидетельствуют о том, что первичным окончанием атематических глаголов было **-en-t-i* (аблаутный вариант **-on-t-i*): скр. *sānti*; дор. *ἐντί* (< **ἐντι*); умбр. *sent*; гот. *sind* и т.п. Лат. *sunt* и церк.-слав. *sqъ* < **s-on-t-i*. Вторичное окончание сохранилось в скр. *āsan* (— **ē-s-en-t*, исходная форма **He-Hs-en-t*) и в гом. греч. *ἦεν*. В обеих формах конечное *-t* утратилось, как и в формах 3 л. ед. ч. Др.-лат. *sient* — из формы оптатива **s-iy-en-t* (ср. гом. греч. *ἔλεν*).

В хеттском представлены первичные окончания *-anzi* и *-enzi*. Наиболее частый вариант — *-anzi*, хотя *-enzi* встречается в ряде глаголов типа *i-e-en-zi* наряду с *i-ya-an-zi* "они делают". Эти окончания находятся в соответствии с первичными личными показателями, имеющимися в других дочерних языках — с учетом изменения исходного *-ti* → *-zi* в хеттском [но в других анатолийских языках этого перехода нет: пал. *-anti*, например, в *a-ta-a-an-ti* "они едят"; лув. *-anti*, например, в *wa-aš-ša-an-ti* "они одеваются"; лик. *-(n)ti*, например, в *iāti* "они кладут"]. Вторичное окончание в хеттском представлено в виде *-er*, что очевидным образом не соотносится ни с одной из приведенных выше форм. Стертевант [8, с. 141 и 144] считает это окончание заимствованным из *hi*-спря-

жения. Сопоставимые формы представлены в санскрите: *syūr*, авестийском: *hyār²*, в окончании 3 л. мн. ч. перфекта в латинском: *-ēre* и *-ērunt* [10, с. 296—297]. Подробнее этот вопрос будет рассмотрен ниже (§ 11).

10. Резюме.

Подводя итог изложенному выше, отметим, что вторичные личные показатели атематических глаголов восстанавливаются в позднем праиндоевропейском в следующем виде:

	Ед. ч.	Мн. ч.
1	*Hés-m	*(He)s-mé
2	*Hés-s	*(He)s-té
3	*Hés-t	*(H)s-én-t (H)s-ér

11. Дополнительные замечания об окончании 3 л. мн. числа.

Выше уже отмечалась аномальность вторичного окончания 3 л. мн. ч. Древнейшие окончания 1 и 2 л. мн. ч. имеют на конце ударные гласные. Даже в тех случаях, когда эти окончания включают в свой состав *-n*, как, например, в хеттском и греческом, они плохо сочетаются с личным показателем 3 л. мн. ч. Этот факт может свидетельствовать о различном происхождении окончаний 3 л. мн. ч., с одной стороны, и 1 и 2 л. мн. ч. — с другой.

Рассмотрим вопрос о том, было ли наращение **-t* в этом случае первичным. Отнюдь не бесосновательным выглядит предположение о появлении **-t* по аналогии с окончанием 3 л. ед. ч. Если изъять это **-t*, то природа личного показателя 3 л. мн. ч. становится очевидной: мы получаем данное окончание в виде **-en*. Сопоставление этого окончания с хеттским вторичным окончанием 3 л. мн. ч. *-er* наводит на мысль об именных основах с неправильным склонением. Следовательно, можно предположить, что окончание 3 л. мн. ч. по своему происхождению является именным. На это же указывает Бэрроу [5, с. 318], а также Семереньи [3, с. 304]: "Окончания 3 л. мн. ч., *-nt* или *-r* соответственно, являются, видимо, по происхождению именными (20): *-nt-*, возможно, соотносится с показателем причастия *-nt-*; а *-r-* скорее всего — хотя и не вполне очевидным образом — с формантом медиопассива *-r...*".

Несомненно, что исходная модель восстанавливается как **-en/*-er*. С течением времени вариант **-er* оказывается почти полностью вытесненным вариантом **-en(i)*. Во всех дочерних неанатолийских языках обычным является именно окончание **-en*, в то время как **-er* сохраняется лишь в некоторых из этих языков и лишь в редких реликтовых формах.

Можно предположить, что для того чтобы внести некоторую регулярность в парадигму, окончания 1, 2 л. мн. ч. подверглись наращению **-n* по аналогии с формами 3 л. мн. ч. Этим можно объяснить **-n*, представленное, например, в хет. *-wen(i)*, *-men(i)* и *-ten(i)*; скр. *-ihana* и *-tana*; греч. *μεν*. Данное наращение, по-видимому, всегда было факультативным. Но вся система была необратимо разрушена, когда окончание 3 л. мн. ч. подверглось наращению **-t*.

12. Дополнительные замечания об окончаниях 2 и 3 л. ед. числа.

В хеттском окончании *-t* представлено как в форме 2, так и в форме 3 л. ед.ч. Как уже было отмечено выше (§ 5), Стертевант полагал, что окончание 2 л. ед. ч. с *-t* происходит из окончания 3 л. ед. ч. Однако не исключено, что в действительности именно это окончание 2 л. ед. ч. является исходным; в таком случае хеттская форма представляет собой архаизм. Можно представить себе более ранний период развития, когда окончанием 2 л. ед. ч. было **-t*, а окончанием 3 л. ед. ч. — **-s*. Это бы означало, что окончание 3 л. ед. ч., представленное в дочерних неанатолийских языках, является по происхождению окончанием

2 л. ед. ч., в то время как окончание 2 л. ед. ч. является по происхождению окончанием 3 л. ед. ч. Уоткинс [12, с. 105] склоняется практически к тому же выводу и приводит [12, с. 90—106] обширный материал, подтверждающий тот факт, что исходным окончанием 3 л. ед. ч. было *-s.

Уоткинс [1, с. 119—120] считает, что форма императива без окончания — это след того состояния, когда чистая основа могла выступать в функции императива 2 л. ед. ч. Он полагает также [1, с. 49—51], что в исходной системе окончание индикатива 3 л. ед. ч. было нулевым, т.е. форма индикатива 3 л. ед. ч. была немаркированной в отношении лица. Если это действительно так (а Уоткинс приводит убедительные свидетельства в пользу данной точки зрения), то форма 3 л. ед. ч. индикатива и форма императива с чистой основой были идентичны. Уоткинс [1, с. 51—52] указывает на тесную взаимосвязь между этими формами и отмечает, что, возможно, форма 2 л. ед. ч. императива с чистой основой восходит к форме индикатива 3 л. ед. ч.: "... как было показано Е. Куриловичем, в том, что касается лица, отношения между индикативом (репрезентативный план) и императивом (апеллятивный) устроены так, что если основной (немаркированной по лицу) формой в 1-м случае является форма 3 л. ед. ч., то во 2-м случае такая форма — 2 л. ед. ч. В связи с этим указанные формы тесно друг с другом взаимосвязаны, и обе они как немаркированные по лицу с функциональной точки зрения могут не иметь и формальных личных показателей. Принимая во внимание отмеченную выше тенденцию императива сохранять без изменения формы, подвергшиеся преобразованиям в индикативе (лат. *legite* vs. *legitus*), можно считать, что следствием функционального тождества форм 3 л. ед. ч. индикатива = 2 л. ед. ч. императива является тот факт, что во 2 л. ед. ч. императива могла сохраниться более ранняя форма индикатива 3 л. ед. ч."

Из изложенного выше следует, что в один из моментов доисторического развития и.-е. языка форма 3 л. ед. ч. индикатива характеризовалась двумя типами показателей: (1) нулевым (т.е. данная форма была представлена чистой основой) и (2) окончанием *-s. [Одно из возможных объяснений этого факта будет предложено ниже (§ 14).] Постепенно форма индикатива 3 л. ед. ч. с чистой основой стала выступать в функции императива 2 л. ед. ч.

Наконец, Уоткинс [1, с. 32—34] отмечает, что для формы 2 л. мн. ч. индикатива реконструируется полная ступень основы. Поскольку такой аблаутной ступени здесь быть не должно, то можно предположить, что данный факт свидетельствует о преобразовании формы 2 л. ед. ч. индикатива под влиянием формы 2 л. ед. ч.

13. Дополнительные замечания о формах 1 л. ед., дв. и мн. числа.

В исторически засвидетельствованных дочерних языках формы 1 л. ед., мн. и дв. числа характеризуются двумя типами окончаний. Первый тип — это первичные и вторичные окончания 1 л. ед. ч. и 1 л. мн. ч. на **m*, обнаруживаемые во всех дочерних языках. Второй тип — **w/u*-окончания, представленные в 1 л. дв. ч. неанатолийских дочерних языков, в некоторых формах перфекта в санскрите, в латинском, в окончании 1 л. ед. ч. индикатива *-wi* в лувийском, в хеттских окончаниях 1 л. мн. ч. *-wen(i)/-wani* и во вторичном окончании 1 л. ед. ч. *-u-n* (см. выше, § 4).

Хотя исходное распределение этих окончаний не вполне ясно, по-видимому, все же имела место тенденция к употреблению **w/u*-окончаний в формах неединственного числа. Возможно, в исходной системе **-m* было показателем ед. ч., а **-w* — неединственного. С уверенностью можно утверждать только то, что указанные окончания часто смешивались, употребляясь как в формах единственного, так и неединственного числа.

14. Заключительные замечания.

На основании произведенного анализа мы можем реконструировать исходную систему окончаний атематических глаголов в следующем виде:

	Ед. ч.	Мн. ч.
1	*Hés-m	* <i>(H)s-wé</i> * <i>[H]s-mé</i>
2	*Hés-t	* <i>(H)s-té</i>
3	*Hés-s, *Hés-∅	* <i>(H)s-én/ér</i>

Таким образом, происхождение личных показателей атематических глаголов становится более чем очевидным: они не могут быть чем-либо иным, как агглютинированными личными местоимениями [за исключением, конечно, окончания 3 л. мн. ч., именно по происхождению (см. выше, § 11)]: **me* "я, меня", **te* "ты"; **se* "он, оно"; **we* "мы, нам". Основываясь на предположении о том, что модель окончания 3 л. мн. ч. была первоначально той же, что и в формах 1 и 2 л. мн. ч., можно думать, что в исходной системе окончание 3 л. мн. ч. имело вид **(H)s-sé*. Кроме того, возможно, существовала и еще одна форма 1 л. ед. ч. с окончанием **w/u*: **Hés-w*, что объясняло бы анатолийские формы.

Можно полагать, что контраст между (А) формами ед. числа с окончаниями нулевой ступени и акцентированной основой полной ступени и (В) формами мн. числа с акцентированными окончаниями полной ступени и основой нулевой ступени является архаичным контрастом [13, с. 717]. Акцент должен был характеризоваться сильным ударением, что вело либо к редукции гласных в агглютинированных местоименных аффиксах, если оно падало на основу в ед. числе, либо к редукции гласных в основе, если оно падало на агглютинированные местоименные аффиксы во мн. числе:

	Ед. ч.	Мн. ч.
1	*Hés+me → *Hés-m *Hés+we → *Hés-w	*Hes+wé → * <i>(H)s-wé</i> *Hes+mé → * <i>(H)s-mé</i>
2	*Hés+te → *Hés-t	*Hes+té → * <i>(H)s-té</i>
3	*Hés+se → *Hés-s	*Hes+sé → * <i>(H)s-sé</i>

Требует объяснений исходная форма 3 л. ед. ч. без окончания. Можно было бы допустить, что в ранний период в праиндоевропейском имели место два типа спряжения: (А) детерминативное (объектное) с окончанием *-s в форме 3 л. ед. ч., по которому спрягались переходные глаголы, и (В) недетерминативное (субъектное) с окончанием *-∅ в той же форме, по которому спрягались непереходные глаголы. Если бы это было так (а следует заметить, что доказать данное положение не представляется возможным), то общая модель была бы очень близка той, что предложена Хайду для прауральского. Кроме того, если личные показатели атематических глаголов являются по своему происхождению агглютинированными личными местоимениями, как это было показано выше, то близость к прауральской системе становится еще более очевидной. В этой связи полезно привести обширную цитату из Хайду [14, с. 43—44]:

"Данный факт нельзя, конечно, считать решающим аргументом, но все же стоит отметить, что личные показатели глаголов в уральских языках — это в основном агглютинированные формы личных местоимений (т.е. приблизительно то же самое, что притяжательные суффиксы).

Весомым аргументом в дискуссии является тот факт, что уральским языкам свойственна одна характерная деталь: глаголы в этих языках имеют две формы 3 л. ед. ч.: одну — без личного показателя (точнее "корень + нулевой личный показатель"), а другую — с материально выраженным окончанием.

В частности, в угорских, самоедских и мордовских языках субъектное (недетерминативное) спряжение противопоставлено объектному (детерминативному)...

Подобная же двойственность обнаруживается и в других финно-угорских языках, где детерминативное и недетерминативное спряжения отсутствуют. Для этих языков противопоставление форм 3 л. ед. ч. с личным показателем и без него не столь характерно. И все же, если проанализировать материал таких языков, то становится очевидным, что формы 3 л. ед. ч. с личными показателями свойственны переходным глаголам, а формы без показателей — непереходным. Принимая во внимание тот факт, что подобная двойственность свойственна всем языкам данной семьи и что в этих языках наблюдается функциональный параллелизм, мы можем с уверенностью утверждать, что глаголы имели две формы 3 л. ед. ч. еще в прауральский период. В то время форма с личным показателем употреблялась в сочетании с определенным объектом. Местоимение 3 л., использованное в качестве личного показателя в подобных формах, первоначально имело значение аккузатива.

Итак, различие детерминативного и недетерминативного спряжений в 3 л. существовало еще в прауральском. Позднее, во время раздельного существования языковых групп, данное противопоставление было распространено и на формы 1 и 2 л. Соответственно, детерминативные (объектные) и недетерминативные (субъектные) личные показатели были дифференцированы и в указанных формах.

Личные показатели глаголов могут быть реконструированы для прауральского в следующем виде:

Ед. ч.		
1 л.	2 л.	3 л.
-m	-i	<div style="text-align: center;"> недетерм. \emptyset детерм. -se </div>

Что же касается функции личного показателя глагола 3 л., восходящего к местоимению, то здесь мы имеем дело с резко выраженным генетическим отличием. Личные показатели 1 и 2 (точнее — предшествовавшие им формы личных местоимений) указывали на субъект действия. В парадигме глагола не было необходимости специально обозначать 3 л., поскольку данная форма надежно идентифицировалась вследствие отсутствия личного показателя, противопоставленного наличию этих показателей в 1 и 2 л. И в тех случаях, когда в форме 3 л. был представлен показатель *-se, он не указывал — в отличие от показателей 1 и 2 л. — на субъект действия, а косвенным образом свидетельствовал об определенном объекте действия". Ранее [14, с. 39—40] Хайду обсуждал роль местоимений в формировании некоторых суффиксов:

«Местоимения, видимо, сыграли решающую роль в формировании некоторых суффиксов. Так, например, очень характерная группа — притяжательные личные суффиксы — может быть сведена к личным местоимениям. В венгерском, а также в родственных ему языках обладатель чего-либо может быть обозначен при помощи притяжательных суффиксов, присоединяемых к слову, обозначающему объект обладания:

<i>hajo</i>	"лодка, корабль":	<i>hajó-m</i>	"моя лодка"
		<i>hajó-d</i>	"твоя лодка"
		<i>hajó-ja</i>	"его лодка" и т.п.

В приведенных примерах морфемы -m для формы 1 л. ед. ч., -d для 2 л. ед. ч. и -ja для 3 л. ед. ч. — не что иное, как ставшие суффиксами прауральские личные местоимения *me "я", *te "ты" и *se "он". В венгерском гласный прономинального форманта был утрачен, *i во 2 л. подверглось озвончению, *s

в 3 л. утратилось, а гласный совпал с конечным гласным корня *-á/-é*, позднее утратив долготу (*-a/-e*), в то же время в некоторых типах корней появился глайд *-j-*, обобщенный как начальная морфофонема формы 3 л. ед. ч.

По тому же принципу строится система притяжательных суффиксов и в других уральских языках. Под идентичностью принципов мы понимаем тот факт, что притяжательные суффиксы всех уральских языков восходят к соответствующим личным местоимениям и, следовательно, могут быть выведены из общих исходных форм, а также тот факт, что данная система суффиксов предназначена для выражения не только лица обладателя, но и числа субъекта обладания (единственного, множественного, а в некоторых языках и двойственного), и, наконец, то обстоятельство, что эти же суффиксы могут выражать и число объекта обладания (число субъекта обычно выражается добавлением показателя числа к притяжательному суффиксу, а число объекта — вставкой умножающего (удваивающего) маркера перед суффиксом).

Из изложенного выше мы можем заключить, что система притяжательных суффиксов существовала еще в прауральском, где сначала личные местоимения выступали в виде энклитик, а позднее превратились в суффиксы, представленные формами ед. и мн. (а возможно, и дв.) числа личных местоимений или их модифицированными формами. В соответствии с этим система притяжательных суффиксов уральского периода может быть реконструирована в следующем виде:

	Ед.		Мн. (и.-е. дв.)
1	<i>-me</i>	<i>-me</i> +	показатель мн. (дв.) ч.
2	<i>-te</i>	<i>-te</i> +	" "
3	<i>-se</i>	<i>-se</i> +	" "

В настоящей работе мы не будем останавливаться на предположениях, вытекающих из неправдоподобно близкого сходства праиндоевропейской и прауральской систем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Watkins C.* Indogermanische Grammatik. III. 1: Geschichte der indogermanischen Verbalflexion. Heidelberg, 1969.
2. *Meillet A.* Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes. University of Alabama, 1964 (reprint).
3. *Szemerényi O.* Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt, 1970.
4. *Kerns J.A., Schwarz B.* A sketch of the Indo-European finite verb. Leiden, 1972.
5. *Burrow Th.* The Sanskrit language. 3-rd ed. L., 1973.
6. *Benveniste E.* Hittite et indoeuropéen. P., 1962.
7. *Bomhard A R.* Toward Proto-Nostratic: A new approach to the comparison of Proto-Indo-European and Proto-Afroasiatic. Amsterdam, 1984.
8. *Sturtevant E.H.* A comparative grammar of the Hittite Language. 2-nd ed. V. 1. New Haven, 1951.
9. *Brugmann K.* Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Bd II. 3.2 Strassburg, 1916.
10. *Buck K D.* Comparative grammar of Greek and Latin. 6-th impression. Chicago, 1955.
11. *Kronasser H.* Vergleichende Laut- und Formenlehre des Hethitischen. Heidelberg, 1956.
12. *Watkins C.* Indo-European origins of the Celtic verb. I: The sigmatic aorist. Dublin, 1962.
13. *Kerns J.A., Schwarz B.* Chronology of athematics and thematics in Proto-Indo-European // Language. 1968. 44.
14. *Hajdú P.* The origin of Hungarian // The Hungarian language / Ed. by Lorand B., Samu I. The Hague, 1972.

Перевели с английского Князев С.В., Тер-Аванесова А.В.

© 1993 г. ПЕРЕЛЬМУТЕР И.А.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МЕДИЯ

В залоговой системе латинского языка активным формам противостоят формы медиопассивные. Медиопассивным формам латинских двузалоговых глаголов (т.е. глаголов, имеющих и активные и медиопассивные формы), как правило, не свойственно транзитивное употребление. Редкие исключения в этой сфере рассматриваются как пережиточные явления [1, с. 289]. В то же время депонентные глаголы латинского языка (т.е. глаголы, обладающие только медиопассивными формами) употребляются транзитивно очень широко: *amplector* "обнимать", *comitor* "сопровождать", *consolor* "утешать", *hortor* "побуждать, ободрять", *medeor* "лечить", *mettor* "измерять", *partior* "делить", *populor* "опустошать", *veneror* "почитать" и т.д. Очень большое число депонентных глаголов латинского языка управляет винительным падежом прямого дополнения. Наличие пережиточных явлений в виде отдельных случаев транзитивного употребления медиопассивных форм двузалоговых глаголов, а также сопоставление с соответствующим материалом других древних и.-е. языков не оставляет места для сомнений в том, что в доистории латинского языка транзитивное употребление медиопассивных форм двузалоговых глаголов было представлено очень широко.

В древнегреческом языке, так же как и в хеттском [2, 3], в древнеиндийском [4, с. 200; 5, с. 47—49; 6, с. 274—275; 7, с. 274—277], в авестийском [8, с. 63, 74], в тохарских языках [9], медиальные формы очень многих двузалоговых глаголов сочетаются с вин. падежом прямого дополнения. Однако и в истории греческого языка проявляется отчетливо выраженная тенденция к постепенному сужению сферы транзитивного употребления медиальных форм двузалоговых глаголов — тенденция, приведшая в конечном счете к тому, что в современном новогреческом языке представлена в этой области картина, в принципе сходная с той, которую мы наблюдаем в латинском языке. Медиопассивные формы двузалоговых глаголов современного новогреческого языка за единичными исключениями не управляют вин. пад. прямого дополнения, тогда как транзитивное употребление депонентных глаголов представлено в этом языке очень широко: *θυμίζω* "помнить, вспоминать", *ἀρνούμαι* "отклонять, отвергать", *καταράσσομαι* "проклинать", *χρηάζομαι* "нуждаться", *δέχομαι* "принимать", *φοβούμαι* "бояться" и т.д. [10].

Перед нами стоит задача выявить причины данной тенденции в сфере функционально-семантической эволюции залоговой системы латинского и греческого языков, вскрыть внутренний механизм процесса, который привел к тому, что медиальные формы двузалоговых глаголов утратили способность к транзитивному употреблению, но который не затронул функциональной сферы депонентных глаголов, в полной мере сохранивших способность управлять вин. пад. прямого дополнения.

Для решения этой задачи необходимо обратиться к функциональной эволюции и.-е. медиа в целом, к проблеме первоначального значения медиальных форм. Широко распространено представление о необычайной сложности и даже неразрешимости этой проблемы [11, с. 243; 12, с. 269; 13, с. 32; 14, с. 3]. Компаративисты говорят об исключительном своеобразии функциональной сферы

меднальных форм [15, с. 194; 16, с. 105]. В дальнейшем изложении будет показано, что в нашем распоряжении имеется достаточно данных, позволяющих установить первоначальную функцию и.-е. медиа, а мнение об исключительном своеобразии функциональной сферы меднальных форм представляет собой, по меньшей мере, сильное преувеличение. В последние годы явно наметился возврат к представлению, господствовавшему в прошлом и в начале нынешнего столетия, а именно — к представлению о рефлексивной функции медиа как его первоначальной функции [17—21]. В самом деле, несмотря на утверждения об исключительном своеобразии функционально-семантической сферы и.-е. медиа, нельзя не констатировать, что функциональная сфера и.-е. медиа в принципе ничем не отличается от соответствующей сферы рефлексивных глагольных форм (местоименных глаголов). Все без единого исключения типы употребления меднальных форм находят точные соответствия в типах употребления рефлексивных форм новых и.-е. языков. Ограничусь здесь указанием на основные черты сходства в функциональном плане между и.-е. медием и рефлексивом: 1) прямо-возвратная функция; 2) косвенно-возвратная функция (косвенно-возвратная функция, сопряженная с транзитивным употреблением глагольных форм, характерна, в частности, для рефлексивных форм глагола в литовском языке); 3) взаимно-возвратная функция в двух ее разновидностях — прямо-взаимной и косвенно-взаимной; 4) функция косвенно-залоговой формы в такой оппозиции залоговых форм, где активная форма обозначает действие, приводящее к возникновению определенного состояния в объекте действия, а косвенно-залоговая форма обозначает соответствующее состояние или его наступление; ср. русск. *сердить/сердиться, пробуждать/пробуждаться, ломать/ломаться, согревать/согреваться*. Значение косвенно-залоговых форм в данной оппозиции названо мною инертивным [22]; 5) функция образования форм с пассивным значением; 6) функция образования форм со значением действия, которое может быть каузируемым: ср. русск. *отправлять/отправляться, поселять/поселяться, питать/питаться, пасти/пастись*. На некоторые другие черты сходства в функциональном плане между и.-е. медием и рефлексивом будет указано в дальнейшем изложении.

Доводы в пользу представления о рефлексивных функциях как первоначальных функциях и.-е. медиа приведены в упомянутых выше работах [17—21]. Если воззрение об изначальности рефлексивных функций и.-е. медиа можно рассматривать как хорошо обоснованное, то открытым остается вопрос об историческом взаимоотношении между прямо-возвратной и косвенно-возвратной функциями и.-е. медиа. Чисто умозрительно можно представить себе три возможности: обе указанные функции могли возникнуть одновременно; при одновременном их возникновении в качестве первичной могла выступать как прямо-возвратная функция, так и косвенно-возвратная. Мы не располагаем, однако, данными, которые позволяли бы судить о том, какая из этих трех возможностей была реализована в донстории и.-е. языков.

Началом процесса сужения сферы транзитивного употребления меднальных форм двузалоговых глаголов послужило постепенное угасание косвенно-возвратной функции медиа. Меднальные формы большого числа глаголов выступают у Гомера с косвенно-возвратным значением, управляя при этом вин. пад. прямого дополнения. У очень многих из этих глаголов меднальные формы утрачивают позднее косвенно-возвратное значение и связанное с этим значением транзитивное употребление.

Приведу в качестве иллюстрации несколько примеров. Меднальные формы глагола *δέω* "связывать, привязывать" часто выступают у Гомера с косвенно-возвратным значением и транзитивным употреблением. См., например., Od. 2.4 Πόσι δ' ἔβλε λιλαιοῖσιν ἔδησατο καλὰ πέδιλα "и под прекрасными ногами он (Телемах) *подвязал себе* (ἔδησατο — меднальный аорист) красивые сандалии". Уже у прозаиков классического периода этот глагол никогда не выступает

с косвенно-возвратным значением и в транзитивном употреблении. Медиальные формы глагола ἔκλω "тянуть, вытаскивать, извлекать" очень часто имеют у Гомера косвенно-возвратное значение и управляют при этом вин. пад. прямого дополнения. См., например, II. 1.194 ἔλκετο δ' ἔκ κολεοῖο μέγα ξίφος "Он (Ахилл) начал вытаскивать у себя (ἔλκετο — медиальный имперфект) из ножен большой меч". У прозаиков V—IV вв. до н.э. медиальные формы с косвенно-возвратным значением от этого глагола уже не засвидетельствованы. От глагола ἐμπλήθη "наполнять" у Гомера представлены медиальные формы с косвенно-возвратным значением. См., например, Od. 9.296 αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωψ μεγάλην ἐμπλήσατο νηδὺν "Но когда Циклоп наполнил себе (ἐμπλήσατο — медиальный аорист) огромное чрево...". В прозе классического периода медиальные формы этого глагола с косвенно-возвратным значением уже не встречаются. В значении косвенного рефлексива выступают у Гомера и у Геродота медиальные формы глагола πλήσσω "бить, ударять". См., например, II. 16.125 μῆρὸς πληξάμενος Патроклῆα προσέειπεν "Он (Ахилл), ударивши себе (πληξάμενος — причастие медиального аориста) бедра, обратился с речью к Патроклу"; Hdt. 3.14 ἐπλήξατο τὴν κεφαλὴν "Он ударил себе (ἐπλήξατο — медиальный аорист) голову". У аттических прозаиков медиальные формы со значением косвенного рефлексива от этого глагола уже не представлены. Число примеров, иллюстрирующих на материале древнегреческого языка утрату медиальными формами двузалоговых глаголов косвенно-возвратного значения, может быть многократно увеличено. Попытаюсь ответить на естественно возникающий вопрос о причинах такой эволюции в функционально-семантической сфере медиальных форм. Прежде всего необходимо отметить, что уже у Гомера мы наблюдаем определенные признаки особого положения функции косвенного рефлексива в функционально-семантической сфере медиал, признаки противопоставленности косвенного рефлексива прочим функциям медиальных форм. Эта противопоставленность проявляется в наблюдаемой у Гомера тенденции к разграничению способов формального выражения косвенно-возвратной функции медиал, сопряженной с транзитивным употреблением косвенно-залоговых форм, с одной стороны, и тех функций медиальных форм, которые связаны с интранзитивным употреблением (прежде всего инертивной и пассивной функций) — с другой.

Многие глаголы у Гомера обладают в системе аориста различными морфологическими типами косвенно-залоговых форм; во всех тех случаях, когда между различными морфологическими типами косвенно-залоговых форм аориста одного и того же глагола обнаруживаются функциональные различия, эти различия неизменно заключаются в одном — в противопоставлении формального способа выражения косвенно-возвратного значения, с одной стороны, и инертивного, а также пассивного значения, с другой.

Приведу некоторые примеры. У глагола βάλλω "бросать, поражать" в языке Гомера медиальные формы тематического аориста (βαλόμην, βάλετο, ἐβάλοντο и т.д.) противостоят медиальным формам атематического аориста (ἐβλητο, βλήτο и т.д.), при этом формы первого типа выступают в косвенно-возвратной функции, сочетаются с прямым дополнением (II. 2.45; II. 3.334; Od. 5.231; Od. 10.544 и т.д.), тогда как атематические формы медиального аориста всегда интранзитивны, служат только для выражения инертивного и пассивного значений (II. 4.518; II. 11.410; II. 12.306 и т.д.).

Медиальные формы сигматического аориста глагола λύω "развязывать, распускать, освобождать" (ἐλύσαο, ἐλύσατο и т.д.) неизменно выступают у Гомера в косвенно-возвратном значении (II. 14.214; II. 21.42; II. 24.685 и т.д.), а для медиальных форм атематического аориста этого глагола (λύμην, λύτο, λύντο и т.д.) характерно только выражение инертивного и пассивного значений, сопряженных с интранзитивным употреблением (II. 21.80; II. 24.1; Od. 4.703 и т.д.). Противопоставление различных морфологических типов медиального аориста,

служащее для разграничения формального способа выражения косвенно-возвратного значения, с одной стороны, и тех значений медиальных форм, которые сопряжены с интранзитивностью, — с другой, наблюдается также у некоторых других глаголов в языке Гомера.

Приведенные факты показывают, что уже на ранних этапах истории древнегреческого языка функция косвенного рефлексива противостояла прочим функциям медиа (инертивной, пассивной, функции обозначения каузируемого действия).

Все изложенное выше позволяет вывести некоторые заключения относительно причин угасания косвенно-возвратной функции медиальных форм. Косвенно-возвратное значение занимало в определенном отношении изолированное положение в функционально-семантической сфере медиа. Вторичные, производные функции медиа, появившиеся позднее в процессе исторического развития (инертивная функция, т.е. функция обозначения каузируемого состояния: "ломать/ломаться", "зажигать/зажигаться", "огорчать/огорчаться", а также пассивная функция и функция обозначения каузируемого действия: "отправлять/отправляться", "поселять/поселяться"), возникли на основе прямо-возвратной функции медиа и объединены с ней как в семантическом, так и в синтаксическом планах: замкнутостью действия в сфере субъекта, непреходностью. На основе косвенно-возвратной функции медиа никаких вторичных, производных функций медиа не возникло. Таким образом, косвенно-возвратное значение оказалось противопоставленным всем прочим функциям медиа. Косвенно-возвратное значение связано с обозначением действия, распространяющегося на объект и, следовательно, выходящего за пределы субъекта; в плане синтаксическом это значение характеризуется переходностью, управлением дополнения в форме вин. падежа. Противостояние косвенно-возвратного значения прочим значениям медиа вполне очевидно. Изолированное положение косвенного рефлексива в системе функций медиальных форм должно было усугубляться по мере все более широкого распространения косвенно-залоговых форм с инертивным и пассивным значениями: инертивному денотату грамматического субъекта при пассиве и инертиве противостоял денотат грамматического субъекта при косвенном рефлексиве, очень часто совершавший действие для себя, к своей выгоде, проявлявший во многих случаях особую заинтересованность в совершении действия, осуществлявший действие с повышенной энергией, усиленной активностью (*medium dynamicum*, *medium intensivum*). Посредством одних и тех же медиальных форм выражались, таким образом, значения, не только резко различающиеся между собой, но даже прямо противоположные по отношению друг к другу. В этих условиях исчезновение косвенного рефлексива способствовало устранению явного противоречия в функциональной сфере медиальных форм. Во всяком случае, уже в эллинистическом койне медиальные формы выражают косвенно-возвратное значение по преимуществу посредством сочетания с возвратным местоимением в соответствующем падеже. В таком сочетании медиальные формы оказываются избыточными. В более позднем языке для выражения косвенно-возвратного значения используются уже конструкции, состоящие из активной формы глагола и возвратного местоимения [23, с. 235].

Постепенное угасание косвенно-возвратной функции привело, естественно, к явному сужению сферы транзитивного употребления медиальных форм двузалоговых глаголов, но не отразилось, да и не могло отразиться на функционировании и синтаксической сочетаемости глаголов депонентных.

Дело в том, что явное большинство депонентных глаголов имеет такие значения, которые не могут быть сопоставлены со значениями медиальных членов регулярных функционально-семантических оппозиций залоговых форм, — такие значения, которые не могут рассматриваться как косвенно-залоговые. Очень многие депонентные глаголы употребляются транзитивно, тем не менее косвен-

но-возвратного значения они не обнаруживают; см., например, αἰτιάσθαι "обвинять", ἰσχύειν "исцелять", βιάζομαι "принуждать", μέμφομαι "порицать" и т.д. По этой причине угасание косвенно-возвратного значения на них никак и не отразилось.

Угасание косвенно-возвратного значения существенно сузило сферу транзитивного употребления медиальных форм двузалоговых глаголов, но не устранило его совсем. Медиальные формы многих двузалоговых глаголов сочетались с виш. пад. прямого дополнения, не выражая при этом косвенно-возвратного значения. Такое употребление медиальных форм характерно, в частности, для многих глаголов, обе залоговые формы которых, как активная, так и медиальная, выступали в одинаковом значении. Одним из источников формирования равнозначности залоговых форм были такие случаи, при которых медиальные формы глаголов утрачивали косвенно-возвратную функцию, но сохраняли транзитивное употребление, совпадая по своему значению с активными формами соответствующих глаголов. Вполне вероятно, что были и иные источники формирования залоговых дублетов. Во всяком случае, совпадение по значению залоговых форм глаголов, в том числе и форм, употреблявшихся транзитивно, представлено в древнегреческом языке очень широко. Характерно оно и для других древних и.-е. языков. В хеттском имеется большое число глаголов, медиальные формы которых равнозначны активным формам, при этом залоговые дублеты наблюдаются по преимуществу у таких глаголов, актив и медий которых выступают в транзитивном употреблении [2, с. 54—56]. Сходную картину можно обнаружить в древнеиндийском языке; уже в древнейшем эпосе активные и медиальные формы многих глаголов выступают в одинаковом значении, а выбор одной из залоговых форм определяется ритмическим строем стиха [5, с. 48].

В истории древнегреческого языка мы наблюдаем отчетливо выраженную тенденцию к устранению залоговых дублетов, к сохранению лишь одной из равнозначных залоговых форм. Устранение залоговых дублетов происходило двояким путем: у некоторых глаголов медиальные формы утрачивали транзитивное употребление, становились формами интранзитива и пассива; у других глаголов выходила из употребления активная форма, и глагол становился депонентным. Приведу некоторые примеры. От глагола ἀποθῆναι "отталкивать, отгонять" активные и медиальные формы выступают в одинаковом значении у Гомера, Фукидида и Платона, но в памятниках раннехристианской литературы сохранились только медиальные формы этого глагола, глагол превратился в депонентный. Глагол ἀποπέμπω "отсыпать, отправлять" имеет равнозначные залоговые формы у Геродота, Фукидида, Ксенофонта и Платона, но у писателя II в. до н.э. Полибия встречаются только активные формы этого глагола. Залоговые дублеты глаголов ἵστημι "ставить", καλέω "называть, звать, призывать", καίω "жечь, зажигать", ὁράω "видеть",τρέπω "обращать в бегство", φέρω "нести" были устранены благодаря тому, что медиальные формы этих глаголов превратились позднее в формы интранзитива и пассива. У таких глаголов, как ἐκλέγω "выбирать" и στέλλω "тянуть, извлекать", устранение дублетности осуществилось иным путем: активные формы этих глаголов вышли из употребления, глаголы ἐκλέγω и στέλλω сохранили только медиальные формы, тем самым превратившись в депонентные. Количество примеров, иллюстрирующих процесс устранения залоговых дублетов, могло бы быть многократно увеличено.

Устранение залоговой дублетности, естественно, значительно сузило сферу транзитивного употребления медиальных форм двузалоговых глаголов, но этот процесс не отразился на глаголах депонентных, которым залоговая дублетность не была свойственна, так как эти глаголы имеют только медиальные формы. Более того, поскольку один из путей устранения залоговой дублетности заключался в том, что глагол утрачивал активные формы и превращался

в депонентный, то тем самым количество депонентных глаголов увеличивалось, в том числе и за счет транзитивных депонентных глаголов (см. приведенные выше в качестве примера глаголы, ставшие депонентными в поздних памятниках: ἀλωθέομαι "отталкивать", ἐκλέυομαι "выбирать", σπλόομαι "извлекать").

Итак, в результате процессов угасания косвенно-возвратного значения медиальных форм и устранения залоговых дублетов сфера транзитивного употребления медиальных форм двузалоговых глаголов значительно сократилась, тем не менее эти процессы не привели все же к полному исчезновению транзитивного употребления медиа двузалоговых глаголов. Дело в том, что оба процесса, о которых выше шла речь, не могли отразиться на медиальных формах двузалоговых глаголов в тех многочисленных случаях, где медиальные формы оказывались обособленными по своему лексическому значению от соответствующих активных форм (см., например, ἀλοκρίνω "отделять" — ἀλοκρίνομαι "отвечать"), поскольку в этих случаях медиальные формы не имели косвенно-возвратного значения и не выступали в качестве дублетов по отношению к активным формам глагола. Лексико-семантическое обособление медиальных форм от соответствующих активных форм представляет собой еще одну черту явного сходства между функционированием медиа и функционированием рефлексива (см., например, русск. *возить/возиться, носить/носиться, прощать/прощаться*). Лексико-семантическая дифференциация активных и медиальных форм глагола наблюдается и в других древних и.е. языках, в том числе — в древнеиндийском [24, с. 392].

Обратимся теперь к материалу древнегреческого языка. Медиальные формы с косвенно-возвратным значением от глагола βῆω "вести" представлены у Гомера очень широко. У аттических прозаиков медиальные формы от этого глагола лишь в единичных случаях имеют косвенно-возвратное значение, большей частью они выступают в особом лексическом значении, отличном от лексического значения активных форм этого глагола — "брать в жены, жениться" (Лисий, Фукидид). После Гомера медиальные формы глагола αἰρέω "брать, схватывать" лишь в редких случаях имеют косвенно-возвратное значение, большей частью они имеют особые лексические значения, отличные от лексических значений активных форм этого глагола — "выбирать, избирать на должность, предпочитать". У Гомера и реже у Геродота представлены медиальные формы глагола αἶρω (эпич. и ионийск. ἀεῖρω) "поднимать, возвышать", выступающие с косвенно-возвратным значением, но у аттических прозаиков медиальные формы этого глагола почти исключительно имеют особое лексическое значение, отличное от лексических значений активных форм этого глагола — "предпринимать (войну, какое-либо дело)" (Фукидид, Платон). См. также ἀνέχεσθαι act. "поднимать, поддерживать" / med. "выдерживать, терпеть"; ἀλοκρίνω act. "отделять" / med. "отвечать", γράφω act. "писать" / med. "обвинять", λύω act. "развязывать, распускать" / med. "выкупать (из плена)"; διατίθημι act. "раскладывать, располагать" / med. "оставлять по завещанию"; φράζω act. "указывать, показывать, сообщать" / med. "обдумывать, замышлять, замечать, видеть". На протяжении более или менее длительного периода медиальные формы перечисленных глаголов (а также многих других глаголов, у которых произошло лексическое обособление залоговых форм), уже утратив косвенно-возвратную функцию, сохраняли все же транзитивное употребление.

Лексико-семантическая дифференциация залоговых форм не была, однако, устойчивой в истории языка. Смысловая оппозиция активных и медиальных форм у каждого глагола имеет в данной ситуации индивидуальный характер, не опирается на поддержку аналогии и, как почти все нерегулярное, единичное, а потому и аномальное, рано или поздно из языка исчезает.

Устранение лексико-семантической дифференциации залоговых форм осуществляется также двумя путями, в принципе сходным образом, с устранением залоговых дублетов. У некоторых глаголов этой группы медиальные формы

утрачивают особые лексические значения, отличные от лексических значений активных форм соответствующих глаголов, а поскольку транзитивное употребление было сопряжено только с этими лексическими значениями, то медиальные формы данных глаголов утрачивают и транзитивное употребление, превращаясь в формы с пассивным значением. По такому пути пошли многие глаголы, медиальные формы которых обособились по своему лексическому значению от активных форм: $\beta\upsilon\omega$ med. "брать в жены, жениться", $\alpha\lambda\upsilon\omega$ med. "предпринимать", $\upsilon\pi\acute{\alpha}\beta\omega$ med. "обвинять", $\lambda\upsilon\omega$ med. "выкупать из плена", $\phi\rho\acute{\alpha}\zeta\omega$ med. "обдумывать, понимать, замечать". Раньше или позднее [у одних глаголов уже в аттической прозе, у других — в более позднюю эпоху (у Полибия или в памятниках раннехристианской литературы)] медиальные формы данных глаголов утратили особые лексические значения, отличные от лексических значений активных форм, а вместе с этими значениями также и транзитивное употребление и превратились в формы с пассивным значением.

У некоторых глаголов устранение лексико-семантической дифференциации залоговых форм происходило иначе: активные формы этих глаголов вышли из употребления, в языке сохранились только медиальные формы, в результате чего эти глаголы превратились в депонентные. В языке памятников раннехристианской литературы двузалоговые в прошлом глаголы $\acute{\alpha}\nu\epsilon\chi\omega$, $\acute{\alpha}\lambda\omicron\kappa\rho\acute{\iota}\nu\omega$, $\delta\iota\alpha\tau\acute{\iota}\theta\eta\mu\iota$ превратились в глаголы депонентные: $\acute{\alpha}\nu\epsilon\chi\omicron\mu\alpha\iota$ "выдерживать, терпеть", $\acute{\alpha}\lambda\omicron\kappa\rho\acute{\iota}\nu\omicron\mu\alpha\iota$ "отвечать", $\delta\iota\alpha\tau\acute{\iota}\theta\epsilon\mu\alpha\iota$ "оставлять по завещанию". В результате устранения лексико-семантической дифференциации залоговых форм медиальные формы двузалоговых глаголов данной группы также утратили транзитивное употребление. Вполне естественно, что этот процесс не мог затронуть депонентных глаголов, поскольку эти глаголы имеют только медиальные формы и ни о какой оппозиции залоговых форм одного глагола здесь не может быть речи. Более того, в результате устранения лексико-семантической дифференциации залоговых форм состав депонентных глаголов пополнился новыми глаголами, в том числе и такими, которые выступают в транзитивном употреблении.

Таким образом, процессы угасания косвенно-возвратной функции медиа, устранения залоговых дублетов и устранения лексико-семантической дифференциации залоговых форм привели к тому, что медиальные формы двузалоговых глаголов почти полностью утратили способность к транзитивному употреблению, но эти процессы не отразились на функциональной сфере депонентных глаголов, а в результате устранения залоговых дублетов и устранения лексического обособления залоговых форм состав депонентных глаголов даже расширился, в том числе и за счет транзитивных глаголов. В итоге описанной эволюции и установилось положение, при котором медиальным формам двузалоговых глаголов не свойственна переходность, тогда как транзитивное употребление депонентных глаголов представлено широко.

Процесс утраты транзитивного употребления медиальными формами двузалоговых глаголов можно проследить во всех деталях только на материале древнегреческого языка, но имеющиеся в нашем распоряжении материалы других древних и.-е. языков позволяют предположить, что этот процесс осуществлялся в них сходными путями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Hofmann J.B., Szantyr A. Lateinische Syntax und Stilistik. München, 1965.
2. Neu E. Das hethitische Mediopassiv und seine indogermanischen Grundlagen. Wiesbaden, 1968.
3. Hart R. Anatolian evidence and the origins of the indo-european mediopassive // BSOAS. 1988. V. 51. Pt 1.
4. Whitney W.D. Sanskrit Grammar. L., 1955 (1889).
5. Speyer J.S. Vedische und Sanskrit-Syntax. Strassburg, 1896.

6. Барроу Т. Санскрит. М., 1976.
7. Елизаренкова Т.Я. Грамматика ведийского языка. М., 1982.
8. Kellens J. Le verbe avestique. Wiesbaden, 1984.
9. Schmidt K.T. Die Gebrauchswesen des Mediums im Tocharischen. Göttingen, 1969.
10. Mirambel A. Remarques sur les voix du verbe grec moderne et l'expression du passif // BSLP. 1949. Т. 45. Fasc. 1.
11. Шантрэн П. Историческая морфология греческого языка. М., 1953.
12. Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
13. Гухман М.М. Развитие залоговых противопоставлений в германских языках. М., 1964.
14. Vendryes J. Une catégorie verbale: le mode de participation du sujet // BSLP. 1948. Т. 44. Fasc. 1.
15. Meillet A. Linguistique historique et linguistique générale. P., 1926.
16. Amman H. Nachgelassene Schiften zur vergleichenden und allgemeinen Sprachwissenschaft. Innsbruck, 1961.
17. Georgiev V.I. Die Entstehung der indoeuropäischen Verbalkategorien // Балканско езикознание. 1975. Т. 18. № 3.
18. Перельмутер И.А. Индоевропейские истоки древнегреческого медиа и категория переходности в структуре предложения // Структура и объем предложения и словосочетания в индоевропейских языках. Л., 1981.
19. Перельмутер И.А. Индоевропейский медиа и рефлексия // ВЯ. 1984. № 1.
20. Shields K.A. Proposal concerning the Origin of the IE Middle Voice // GL. 1984. V. 24. № 1.
21. Rix H. Proto-Indo-European Middle: Content, forms and origin // Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. 1988. Hf. 49.
22. Перельмутер И.А. Семантическое определение залога // ВЯ. 1987. № 6.
23. Schwyzer E., Debrunner A. Griechische Grammatik. Bd 2. München, 1950.
24. Renou L. Grammaire Sanscrite. P., 1961.

© 1993 г. ХОДОРКОВСКАЯ Б.Б.

**К ПРЕДЫСТОРИИ СИСТЕМЫ ВРЕМЕН ИНФЕКТА/ПЕРФЕКТА
В ЛАТИНСКОМ И ОСКСКО-УМБРСКОМ ЯЗЫКАХ
(Становление системы перфекта)**

Характерной особенностью глагола в латинском языке, как и в других итальянских языках, является система времен, состоящая из двух подсистем временных форм, симметрично построенных вокруг двух основ: инфекта (= презенса) и перфекта. Организованная таким образом система ни имеет соответствий в других языках и считается фундаментальной инновацией итальянских языков. Из шести времен латинского глагола только два являются продолжениями общиндоевропейских морфологических категорий: презенс и перфект. Каково происхождение четырех других времен? Как возникли одни образования, содержащие основу презенса (= инфекта), другие — основу перфекта? Каковы были древнейшие семантические оппозиции членов системы и каков был процесс ее формирования?

По сложившейся научной традиции предыстория системы времен в латинском языке реконструируется на основе той модели и.-е. глагола, которая была построена на материале греческого и индоиранских языков и в которой первичной считается категория вида, категория же времени более поздней. А. Мейе, опираясь на теорию глагольных видов и на учение Варрона о двух подразделениях латинского глагола (*verba infecta*, *verba perfecta*), объяснял происхождение латинской системы времен следующим образом. Он считал, что характерное для латинского глагола противопоставление основ инфекта и перфекта восходит к видовой оппозиции, которая в и.-е. глаголе передавалась основами презенса, аориста и перфекта. Инновация в латинском глаголе состояла в том, что на базе двух видовых основ (после слияния аориста и перфекта) развернулись две симметричные системы форм времени — настоящее — прошедшее — будущее: *dīcō — dīcēbam — dīcat* и *dīxī — dīxeram — dīxerō* [1].

Несколько иначе представляет себе становление и этапы развития системы латинского глагола М. Лойман [2, с. 510]. По его мнению, становлению системы перфекта предшествовало формирование полной системы презенса, включающей ряды форм времени и наклонения. По этой модели сформировалась параллельно система форм времени и наклонения от основы перфекта, еще сохранявшего на том этапе значение достигнутого состояния, например, *lōvī* "я знаю". Последующее семантическое изменение перфекта, получившего значение прошедшего времени, повлекло за собой изменение грамматических значений других форм, относящихся к системе перфекта, — от значений абсолютного времени к относительно-временным значениям.

При этой модели реконструкции, построенной чисто умозрительно, не учитываются некоторые языковые факты, имеющие первостепенное значение для восстановления процесса формирования системы времен.

1. Учению об исходном видовом противопоставлении основ инфекта и перфекта противоречит то, что будущее I и будущее II не являются членами видовой оппозиции ни на одном этапе истории латинского языка. Исследования последнего десятилетия также показывают, что видовая оппозиция имперфекта и перфекта имеет место лишь в плане исторического рассказа, что в ран-

ней латыни эта видовая оппозиция еще не имела той степени устойчивости, как в классической латыни, и что видовое значение имперфекта вторично [3]. Х. Пинкстер доказывает, что вообще нет необходимости вводить в описание системы времен латинского глагола категорию вида [4].

2. Принятая модель реконструкции не учитывает целого пласта глагольных форм, стоящих вне системы инфекта/перфекта, это -- сигматические формы типа *faxit*. Наличие этих форм только в текстах ранней латыни и почти полное исчезновение их к периоду классической латыни заставляет видеть в них фрагмент архаичной системы, предшествующей системе форм инфекта/перфекта. Поскольку сигматические формы по своим функциям сходны с будущим II, то не учитывать их при реконструкции процесса формирования системы времен было бы ошибочно.

3. Принимая во внимание, что принципы организации времен в латинском и оскско-умбрском одни и те же, необходимо учитывать данные обоих языков.

В настоящей работе делается попытка выявить методом внутренней реконструкции процесс становления и развития системы инфекта/перфекта в латинском и оскско-умбрском языках. В центре внимания — формирование подсистемы времен перфекта. Для исследования взяты тексты древнейших законов Рима — начиная с законов XII таблиц, относящихся к середине V в. до н.э., и кончая законами первой половины I в. до н.э., — язык которых отличался особой консервативностью и строгим отбором языковых средств.

Для языка законов XII таблиц характерно, что формы плюсквамперфекта индикатива в тексте отсутствуют, формы будущего II встречаются очень редко, но часты сигматические формы глагола. Область их функционирования весьма ограничена: это придаточные предложения условные, относительные, синонимичные условным предложениям и условно-сопоставительные с союзом *ut — ita* "как — так". Например, VIII 21 *Patronus si clienti fraudem faxit, sacer esto* "Если патрон обманул клиента, пусть он будет проклят (= обречен на смерть)"; VII 7 *Viam muniunt. Ni sam delapidassint, qua volet iumenta agito* "Пусть укрепляют дорогу. Если ее не замостят, пусть гонит скот, где захочет"; VIII 1a *Qui malum carmen incantassit...* "Кто будет петь поносящую песню...", VIII 8a *Qui fruges excantassit...* "Кто колдовским пением сгубит урожай."

Особенностью языка законов XII таблиц является то, что имеющееся в отдельных таблицах различие между *lex generalis*, формулирующим общее правовое установление, и *leges speciales*, в которых рассматриваются частные случаи, сопровождается языковым различием: употреблением сигматических форм глагола в тексте общего закона и форм перфекта или презенса в частных законах. Ср. табл. V, где излагается наследственное право: V 3 *Uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto* "Как завещал в отношении денег или опеки над своим имуществом, так по праву должно быть"; V 4 *Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto* "Если умирает, не сделав завещания (тот), у кого нет своего наследника, пусть ближайший родственник владеет имуществом". То же в табл. VIII: VIII 12 *Si nox furtum faxsit, si im occisit, iure caesus esto* "Если ночью совершил кражу, если его убил (владелец), пусть считается убитым по закону"; VIII 13 *Luci... si se telo defendit... endoque plorato* "Если днем (владелец) защищается оружием, пусть зовет (свидетелей)"; VIII 4 и 3: *Si iniuriam faxsit, XXV poenae sunt* "Если совершил правонарушение (= нанес легкое телесное повреждение), должен быть штраф в 25 (сестерциев)"; *Manu fustive si os fregit libero, CCC, si servo, CL poenam subito* "Если переломил кость рукой или дубинкой свободному, должен быть штраф в 300, если рабу в 150 (ассов)". Тот же порядок следования форм глагола наблюдается в текстах законов, где в пределах одного сложного предложения имеются два придаточных условных: сигматическая форма в первом условном предложении, перфект или презенс во втором. Например, VIII 2 *Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto* "Если покалечил (кого-то), если с ним не дого-

варивается, пусть будет талион"; XII 2 *Si servus furtum faxsit noxiamve nocuit...* "Если раб совершил кражу или нанес ушиб...". Обратный порядок глагольных форм в текстах законов исключен.

Эта особенность функционирования сигматических форм глагола — в первом условном предложении, где говорится об абсолютном, ничем не ограниченном и ни от чего не зависящем условии, позволяет считать, что функция сигматических форм состояла в обозначении действия предшествующего другому действию вне локализации его во времени. Выражение чистого предшествования есть древнейшая семантическая характеристика сигматических форм. Модальные значения, присущие им при употреблении в неюридических текстах, и значение будущего времени, свойственное почти только формам 1 л. ед. ч. [5, с. 148], есть основание считать вторичными.

Сохранившиеся в отдельных сигматических формах флексии: 2 л. ед. ч. *-ses*, 3 л. ед. ч. *-set*, 3 л. мн. ч. *-sent* (например, Plt. Am. 69 si... *ambissent*,... *ambisset*), в которых можно видеть следы полумедиальной флексии и-е, сигматического аориста — согласно гипотезе Ф. Бадер **-s-e* (2—3 Sg.), **-s-nt* (3 Pl.) [6] — (ср. также глоссу Феста 24,10 *astasent* "statuerunt", где форма на *-sent* имеет претеритальное значение [7]) и особый корневой вокализм сигматических форм и следы двух алломорфов суф. **-s/*-es-* (например, *adiuerit*, *sierit*) [8] позволяют предполагать, что древнейший слой латинских сигматических форм восходит к и-е. сигматическому аористу. Следы древнейшей дефектной парадигмы и-е. сигматического аориста [6, с. 35] с формантом *-ū-* в 1 л. ед. ч. и *-s-* в 2 (—3) л. ед. ч. сохранились в латинской парадигме типа *nō-v-ī*, *nō-s-ī*. Зафиксированная в текстах флексия сигматических форм: *-sō* (и *-sim*), *-sīs*, *-sīt*, *-sint* есть результат изменения более древней полумедиальной флексии *-ses*, *-set*, *-sent*, которое шло двумя путями: с одной стороны, имела место редукция *e > i* в конечном слоге перед *-s* и *-t*, т.е. *-ses > -sīs*, *-set > sīt*, с другой стороны, проходило обновление флексии сигматических форм, получивших новую оппозитивную функцию за счет оппозитивного суф. *-ī-*: *-sīs*, *-sīt*. Смещение тех и других окончаний характерно для ранней латыни [9; 2, с. 609].

Принимая во внимание, что в ходе исторического развития архаичные сигматические формы сменили формы буд. II, относящиеся к системе перфекта, следует полагать, что на более раннем этапе имела место категориальная система "перфект — сигматический аорист", где перфект имел значение состояния типа *memini* "я помню", а сигматический аорист значение предшествования. Оба члена этой системы характеризовались атемпоральным значением и тем отличались от членов системы презенса, для которых выражение временных противопоставлений было основным.

В оскско-умбрском языке глагольные формы на *-s-* и *-es-* имеют значение будущего времени и принадлежат системе инфекта, т.е. являются вторичными образованиями по сравнению латинскими сигматическими формами, образованными от глагольного корня. Однако в оскско-умбрском есть несколько сигматических словоформ, имеющих черты сходства с латинскими, это — др.-умбр. *-ise* "isset", др.-умбр. *menes* "veneris", оск. *fusi* "erit, fuerit".

Др.-умбр. *-ise* (TI Ib 8), как доказал Э. Феттер [10, с. 180; 11], представляет собой образование непосредственно от корня **ei-* "идти", как и соответствующая ему лат. форма *(amb-)isset*, и стоит вне форм системы инфекта, имеющих основу *ei-* [ср. императив умбр. *etu* "ito", пелигн. *eite* "ite", буд. I умбр. *e(e)st* "ibit"]. Словоформа *-ise* примечательна также тем, что находясь в энклитической позиции в группе *vacetumise*, она сохранила ту же флексию *-s-e(t)*, как и лат. *(amb-)isset*, тогда как в оскско-умбрских формах 2 и 3 л. ед. ч. будущего времени *-e-* перед *-s*, *-t* синкопируется. Одинаковы также синтаксические условия функционирования латинской и умбрской форм в придаточном условном предложении.

Наибольшее число разноречивых объяснений имеет др.-умбр. *menes* (TI Ib 15)

[12, с. 80]. Сравнение древнеумбрского текста (ТI Ib 15) с параллельным текстом на новоумбрском языке (ТI VIb 52), в котором др.-умбр. *menes* соответствует форма буд. II *benust* "venegit", показывает, что *menes* является формой буд. I глагола *ben-* "приходить". Но от форм этого глагола (ср. буд. II умбр. *benus*, *benust*, оск. *cebnusti*) словоформа *menes* отличается начальным *m-*, что, по утверждению Феттера [10, с. 182], невозможно объяснить фонетической эволюцией из **benes*. Но и от обычных форм буд. I словоформа *menes* отличается особенностью морфологической структуры. По мнению Р. фон Планта [13, т. I, с. 305; т. II, с. 325], основа настоящего времени этого глагола, как и презентные основы соответствующих глаголов — лат. *veniō*, др.-греч. βαίνω — относится к типу основ на **-je/o-*. Глаголы же этого типа имеют формы буд. I, как правило, на *-ies-*, например, умбр. *fuiest*, ср. презенс конъюнктива *fuiā*. Эти приметы особого положения умбр. *menes* как среди форм глагола *ben-* "приходить", так и среди форм оскско-умбрского буд. I дают основание видеть в *menes* архаизм в древнеумбрском языке.

Представляется возможным следующее объяснение. Сохранившиеся в латинском языке следы архаичных сигматических основ, включающих корень типа *-eR* с нулевым вокализмом и суф. **-es-* (ср. *adiūerit* < **ad-ju-es-*, и.-е. корень **jeu-* "оберегать"; *sierit* < **si-es-*, и.-е. корень **sei-* "ослаблять, отпускать"), позволяют видеть в умбр. *menes* подобную основу **bn-es-* (оск.-умбр. корень **ben-* "идти, приходить", и.-е. корень **g^hem-*, ср. форму сигматического аориста в Ригведе 1,23,23 *agasmahi*). Происшедшая в умбрском языке ассимиляция согласных **bn-* > *mn-* [13, т. I, с. 433] и вокализация сонанта **ŋ* > *en* привели к появлению формы *menes*. Предположение об архаичной морфологической структуре, сохранившейся в умбр. *menes*, поддерживается особенностью ее функционирования в таких синтаксических условиях, где употребляются, как правило, формы буд. II, обозначая действие, предшествующее другому действию. Таким образом, морфологические особенности и значение предшествования дают основание видеть в форме *menes* образование, относящееся к более глубокому слою языка.

Оск.-умбр. *fust* — единственная сигматическая форма, имеющая значение буд. I "erit" и буд. II "fuerit". Так в тексте Бантийского закона (Ve 2,28—29) в придаточном условном предложении: *pr(aetur) censtur bansae [ni pis fufid nei suae q(uaestur) fust nep censtur fuid nei suae pr(aetur) fust* "Претором, цензором Бантии пусть ни один не будет, если он не был квестором, и цензором пусть не будет, если он не был претором". Соединение двух различных значений в одной форме *fust* настолько необычно для оскско-умбрского языка, в котором каждое из них является категориальным значением буд. I или буд. II, что предпринимались попытки реконструировать формальное различие между *fust* "erit" и *fust* "fuerit" [13, т. I, с. 136; 14, с. 137]. Согласно же более распространенному мнению [15, с. 60; 16, с. 167; 17, с. 150], *fust* "erit" представляет собой обычную форму будущего времени, которая входит в систему инфекта (ср. имперфект индикатива оск. *fufans*, имперфект конъюнктива оск. *fufid*, императив умбр. *futu*). Однако при такой интерпретации остается необъясненной двойственность значения формы *fust* "erit" и "fuerit". Представляется возможным следующее объяснение. Первоначально автономное сигматическое образование от корня **fū-* "быть" (и.-е. корень **bhū-*, ср. сигматический аорист греч. ε-φύσα) оск.-умбр. *fust* относится к тому же типу структур, что и др.-умбр. *-ise(t)* и лат. *(amb)-isset*, т.е. **fū-s-(e)t*, и подобно этим формам имело первичное значение предшествования. Последующий ход семантического изменения к значению предшествования в плане будущего времени и затем к значению будущего времени аналогичен направлению семантического развития латинских сигматических форм типа *faxō*.

Таким образом, характерные особенности трех сигматических форм — др.-умбр. *-ise(t)*, др.-умбр. *menes* и оск. *fust*: 1) образование не от основы инфекта,

но от глагольного корня, 2) значение предшествования — отличают их от форм буд. I в оскско-умбрском языке, но связывают с архаичными латинскими сигматическими формами глагола. Примечательны также совпадения флексий: окончание 3 л. ед. ч. *-set* [засвидетельствованы умбр. *-ise(t)*¹ и лат. *(amb-)isset*], окончание 3 л. мн. ч. *-sent*, которое в латинском языке сохранилось в единичных формах (ср. Plt. Am. *si... ambissent*), в оскско-умбрском языке является обычным у форм буд. I [ср. оск. *censaze(n)t* "censebunt"]. Флексию *-sent* обнаруживает единственная латинская сигматическая форма с претеритальным значением, сохранившаяся как глосса Феста 24,10 *astasent* "statuerunt", и также единичная умбрская форма *opse(n)t* "fecerunt" (Ve 234) (и.-е. корень **op-* "работать", ср. лат. *opus* "произведение" [20, с. 780; 21, т. II, с. 217]). Все эти общие латинским и оскско-умбрским сигматическим формам признаки, обнаруживаемые в изолированных архаичных словоформах, позволяют предполагать, что флексия сигматического будущего в оскско-умбрском языке, как и в латинском, восходит к полумеднальной флексии и.-е. сигматического аориста: 3 л. ед. ч. **-s-e* и 3 л. мн. ч. **-s-nt*, согласно реконструкции Ф. Бадер [6].

Различный статус форм на *-s-/-es-* в латинском и оскско-умбрском языках: в латыни находящихся на периферии глагольной системы, в оскско-умбрском вошедших в систему форм инфекта — свидетельствует о разном темпе развития глагольной системы в том и другом языке: сравнительно медленном в латыни и стремительном в оскско-умбрском.

Сохранились ли в оскско-умбрском языке следы дефектной парадигмы сигматического аориста типа лат. *pōv-ī, pōs-īī*?

Сигматическое буд. I и II представлены в оскско-умбрском языке формами 2 и 3 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. Формы 1 л. ед. ч. известны только для презенса с окончанием умбр. *-u/*-ō-* (например, умбр. *stahu* "sto") и *-m* (оск. *súm*) и для перфекта с окончанием *-m* (оск. *amanafum* "mandavi"). Но есть одна словоформа, имеющая очень разные толкования.

В VI и VII таблицах Игувинских таблиц в тексте молитвы неоднократно повторяется словоформа *subocau(u)*. Она занимает строго определенное место в тексте: либо в начале в формуле *subocau(u) suboco* (например, VIa 22: *teio subocau suboco dei grabouí*), либо в заключительной части молитвы и тогда только *subocau(u)* (например, VIa 34: *dí grabouie tio subocau*). Сочетание *subocau(u) suboco* по-разному интерпретируется в зависимости от того, считаются ли эти слова двумя формами одного и того же глагола или одно из них признается именем, другое глаголом. Большинство исследователей считает *subocau(u)* формой 1 л. ед. ч. презенса на **-ājō* [16, с. 153; 12, с. 103; 22, с. 186; 23]. Феттер видел в *subocau* форму аблатива существительного типа умбр. *pihacu* [10, с. 239]. Р. фон Планта [13, т. II, с. 362] склонен был видеть в *subocau(u)* форму 1 л. ед. ч. перфекта, хотя отмечал, что исконный и.-е. перфект имеет окончание *-a* в активе и *-ai* в пассиве. Думается, что при решении этого вопроса нельзя не учитывать особенности написания словоформы *subocau(u)*. В VI и VII таблицах, написанных с использованием латинского алфавита, имеется два вида написания: *subocauu* и *subocau*. Такая же вариантность (*uu* и *u*) отмечается в написании умбр. *saluorū* и *saluoum* в тех же VI и VII таблицах. Очевидно, что для передачи умбр. согласного /w/ в латинском письме II в. до н.э. в котором не было специального знака для /w/, использовалась удвоенная буква *uu* наряду с простым *u*. Следовательно, *subocauu*, *subocau* отображает фонетическое слово [subokāw]².

¹ В формах 2—3 л. ед. ч. краткое *ē* в конечном слоге перед *-s*, *-t*, как правило, синкопируется [13, т. I, с. 213; 15, с. 23; 18, с. 132]. Бенедиктссон [19] считает формы буд. I атематическими.

² Р. фон Планта [13, т. II, с. 363] не был уверен в возможности объяснения *subocauu* как /subokāw/, отмечая, что в умбрском дифтонг *au* монофтонгизировался, например, *uesticos* (< **uesticāust*). Однако позиции дифтонга в этих словах не идентичны: в **uesticāust* произошло сокращение *ā* по закону Остгоффа и краткий дифтонг монофтонгизировался: *au* > *o*; в *subocauu* долгий дифтонг /-āu/ сохранился в исходе слова, как и в других и.-е. языках [24].

Следует сказать, что удвоенное *ui* не отображает умбр. долгого /*ō*/. В латинском письме для передачи умбр. /*ō*/ используются знаки *u* и *o*, но удвоенное *ui* в этих случаях исключено; ср., например, императив на **-iō(d)* — умбр. *fertu, deitu*, аблатив на **-ō(d)* умбр. *pihaclu, pihaelo*, форма I л. ед. ч. презенса на **-ō* умбр. *stahu*. Поэтому трудно согласиться с толкованием словоформы *subocau(u)* как формы I л. ед. ч. презенса на **āiō* или как формы аблатива на **-ō(d)*. Но видеть в ней форму I л. ед. ч. перфекта тоже маловероятно, так как оскско-умбрский перфект имеет окончания аориста (ср. оск. *manafum* "mandavi") [17, с. 148].

Думается, что в *subocau(u)* можно видеть глагольную форму I л. ед. ч. на **-ā-ū*, входившую некогда в состав дефектной парадигмы сигматического аориста, которую можно сопоставить с латинской формой I л. ед. ч. *nō-v-ī* в парадигме *nōvī, nōstī...* и тохарской *prekw-a* в парадигме *tox*. В *prekwa, pre-kasta, preksa*. Обозначая действие, предшествующее другому действию, форма *subocau(u)* противопоставляется форме презенса *suboco*. Начальную фразу молитвы VI а 22: *teio subocau suboco dei graboui* можно понимать: "Тебя я призывал, призываю, Юпитер Грабови" и заключительную фразу VIа 34: *dī grabouie tio subocau* "Тебя я призвал". Умбрский глагол *sub-(u)ocā-* "призывать, умолять", как и латинский глагол *uocāre, iniocāre*, принадлежал языку религии, характерно наличие преф. *sub-*, подчеркивающего обращение к богу, ср. лат. *supplex* "умоляющий", *supplicia* "quaedam sacrificia" "некие обряды" [25, с. 1006]. Сохранилась словоформа *subocau(u)* в двухчленной формуле *subocau(u) suboco* в тексте молитвы.

Сохранившиеся в оскско-умбрском языке отдельные сигматические формы глагола, независимые от основы инфекта, и возможность толкования умбр. *subocau(u)* как формы I л. ед. ч. дефектной парадигмы сигматического аориста позволяют реконструировать для оскско-умбрского, как и для латинского языка, протосистему "перфект — сигматический аорист".

В текстах более поздних римских законов III—I вв. до н.э. сигматические формы глагола почти исчезают, их место в придаточных условных и относительных придаточных предложениях занимают формы буд. II. В одном из ранних законов — Аквилев закон 286 года до н.э., текст которого сохранился в Дигестах [26, с. 46], — в двух следующих одно за другим придаточных предложениях параллельно стоят *faxit* и формы буд. II, что позволяет выявить различия синтаксических условий: *...si quis alteri damnum faxit, quod usserit, fregerit, ruperit iniuria, quanti ea res erit (fuerit/fuit) in diebus XXX proximis, tantum aes ero dare damnas esto* "Если кто-то причинил ущерб другому, (то) что он противозаконно сжег, сломал, испортил, какова будет (была) цена этой вещи в ближайшие 30 дней, такую сумму он обязан отдать владельцу". Как и в законах XII таблиц, сигматическая форма *faxit* употреблена в первой части текста в придаточном условном предложении, в котором говорится о правонарушении в самой общей форме, т.е. формулируется абсолютное условие юридического действия. В следующей части закона в формах буд. II перечисляются конкретные противоправные действия. Их локализация на оси времени зависит от того, к какому времени отнесена последующая ситуация, о которой говорится в законе, т.е. "какова цена сожженной, сломанной или испорченной вещи". Но в этой части текста имеется разночтение: *erit/fuerit/fuit* "будет/была". Если принять чтение *erit* или *fuerit*, то формы *usserit, fregerit, ruperit* обозначают более ранние действия, относящиеся к плану будущего времени, при чтении же *fuit* эти формы получают значение предпрошедшего времени. Вопрос о значении форм буд. II в раннем юридическом языке становится, таким образом, парадоксальным: какое временное значение было свойственно этим формам — значение будущего или прошедшего времени? Поэтому было бы правильнее пока ограничиться определением этих форм по их форманту: формы на *-erit*.

Формы на *-erit* часто в тексте синтаксически связаны с формами буд. I, при этом чаще всего сначала стоит форма на *-erit*, затем форма буд. I, и этот синтаксический порядок отражает естественную последовательность двух ситуаций в плане будущего времени. Например, *lex repetundarum* 122 г. до н.э. (CIL I² 583,2): *quei dici(ator) cons(ul) pr(aetor)... fuerit, queive filius eorum quoius erit* "кто (в это время) будет диктатором, консулом, претором... или кто будет сыном кого-то из них". *Lex Ursonensis* (CIL I² 594,III,4): *isque ad Ilvir(um) adierit postulabitque* "придет к двумвирам и заявит". *Lex Bantina* (CIL I² 592,3): *sei tribunus pl(ebet)... quaeve ex h(ace) l(ege) facere oportuerit oportebitve, non fecerit* "если народный трибун... не сделает того, что по этому закону требовалось сделать или будет требоваться". В первых двух текстах формы на *-erit* в соотношении с формами буд. I обозначают действие, предшествующее другому действию, и оба отнесены к плану будущего времени. Но значение будущего времени не является обязательной характеристикой форм на *-erit*: в последнем тексте *oportuerit* в соотношении с *oportebit* обозначает действие предшествующее, но его отнесенность к будущему времени не очевидна. *Lex repetundarum* (CIL I² 583,XII): *Pr(aetor)... facito, uti CDL viros legat, quei in hoc ceivitate equom publicum habebit habuerit* "Претор обязан выбрать 450 человек, кто в этом городе будет иметь, имел коня...". Последовательность форм *habebit habuerit* обозначает две ситуации: одну, локализованную в будущем времени, и другую более раннюю, которая может быть отнесена к любому плану времени, т.е. к настоящему или прошедшему.

Формы на *-erit* функционируют и в таком синтаксическом контексте, где в рамках одного сложноподчиненного предложения сообщается не об одной более ранней ситуации, но о нескольких, отделенных разным расстоянием во времени от основной ситуации, о которой говорится в главной части предложения. Так, например, в трактате Катона "О земледелии" (146,3): *si emptor legulis et factoribus, qui illic opus fecerint, non solverit, cui dari oportebit, si dominus volet, solvat* "Если покупатель не заплатит сборщикам и маслобойщикам, которые выполнили работу, то, если хозяин захочет, пусть уплатит тому, кому нужно будет дать". Вот еще один пример из того же трактата Катона, где в сходных синтаксических условиях функционируют формы буд. II пассивного залога. 144,3: *legulos, quot opus erunt, praebeto...; si non praebuerit, quanti conductum erit aut locatum erit, deducetur*. "Сборщиков (оливок), сколько потребуется,... пусть предоставит (хозяин); если не предоставит, то сумма, за которую их наняли или подрядили, будет вычтена".

Таким образом, функция форм буд. II активного и пассивного залога — обозначение более ранних ситуаций по сравнению с некоей ситуацией, отнесенной к будущему времени, независимо от того, лежат ли они в плане будущего, настоящего или прошедшего времени. Вот пример употребления формы на *-erit*, обозначающей ситуацию в плане прошедшего времени: в 10-й гл. закона *lex repetundarum* определяются правила назначения защитников по судебному делу (CIL I² 583,X): *sei... volet sibi patronos in eam rem darei, pr(aetor)... patronos civeis Romanos ingenuos ei dato, dum nei quem eorum det... quoiave in fide is erit maioresve in maiorum fide fuerint* "Если (истец) захочет, чтобы ему были предоставлены защитники по этому делу, претор должен дать ему в качестве защитников свободных римских граждан, но пусть не дает никого из них... кто будет (чаходиться) в каком-либо правоотношении, основанном на взаимном доверии (с ответчиком), или предки его были в правоотношении, основанном на взаимном доверии, с предками (ответчика)". В условиях данного семантического контекста, где речь идет не только о правовом положении лица, которое будет защитником в судебном деле, но также о его предках, форма буд. II *fuerint* в соотношении с *erit* обозначает ситуацию в прошедшем времени.

В текстах древнеримских законов изредка встречается такой вид употребления форм на *-erit*, когда в условиях сложного предложения с несколькими

придаточными глагольная форма на *-erit* оказывается синтаксически связанной с перфектом индикатива и, обозначая более раннюю ситуацию, имеет значение предпрошедшего времени. Так в тексте аграрного закона III г. до н.э. (CIL I² 585,18): *sei quis eorum, quorum ager s(upra) s(criptus) est, ex possessione vi eiectus est, quod eius is quei eiectus est possederit...* "Если кто-нибудь из тех, о земле которых написано выше, силой был выброшен из владения, какой (частью) этой (земли) владел тот, кто был выброшен...". В двух тесно связанных между собой придаточных предложениях в которых определяется более ранняя и последующая ситуация: "владение землей" и "насильственное изгнание владельца" — глаголы-сказуемые представлены формой на *-erit (possederit)* и формой перфекта индикатива (*eiectus est*). В таком семантическом и синтаксическом контексте глагольная форма на *-erit* имеет относительно-временное значение предпрошедшего времени. Вот еще один отрывок из того же аграрного закона из гл. 65: *Ilvir sei is ager locus, qui ei emptus fuerit, publice venieit, tantundem modum agri locet... ei... reddito* "Если земельный участок, который был куплен для него (истца), был продан в интересах государства, пусть дуумвиры такую же меру земли ему вернут". В законе рассматривается случай, когда в интересах государства продана земля, которая ранее была куплена для частного лица. В тексте эти две ситуации передаются формой перфекта *venieit* "продана" и формой буд. II *emptus fuerit* "был куплен", обозначающей событие более отдаленного прошлого. Опираясь на этот текст аграрного закона, можно интерпретировать следующий пример из закона Юлия о муниципиях 46 г. до н.э. Закон устанавливал правила выборов городских магистратов, запрещая, в частности, выбирать того (CIL I² 593,13): *queive depugnandi causa auctoratus est erit fuit fuerit*, "кто нанят для сражения, будет, был (нанят)...". Глагол "быть" в составе сложных глагольных форм указывает на отнесенность действия к определенному времени: *est* — настоящее время, *erit* — будущее, *fuit* — прошедшее. Форма *fuerit* в этом ряду форм может иметь также только временное значение, и поскольку значение более отдаленного будущего по смыслу этого текста невозможно, то единственно возможная интерпретация значения *fuerit* — более отдаленное прошедшее время: "был нанят прежде".

Таким образом, функции форм на *-erit* в текстах древнеримских законов различны: чаще всего они обозначают ситуацию, предшествующую другой ситуации в плане будущего времени, но в определенных семантических и синтаксических контекстах в соотношении с перфектом индикатива выражают предшествование в плане прошедшего времени, т.е. формам на *-erit* свойственны функции двух морфологических категорий латинского глагола: буд. II и плюсквамперфекта.

Необходимо отметить, что в текстах древних законов форм плюсквамперфекта индикатива нет. На этот факт указал Г. Зигерт, объяснив его тем, что языку древнейших законов Рима было свойственно выражение только абсолютного времени [27]. Как показало наше исследование, функции плюсквамперфекта имели в языке законов формы на *-erit* наряду с функциями буд. II. Как можно объяснить это явление исторически? Есть основания думать, что плюсквамперфект индикатива как морфологическая категория был сравнительно поздней инновацией в латинском глаголе. На это указывает не только отсутствие форм его в текстах древнеримских законов, архаизирующий стиль которых способствовал сохранению отдельных черт более раннего периода латинского языка. Не менее важен факт отсутствия сигматических форм глагола, соотносящихся с формами плюсквамперфекта, как это имеет место у форм буд. II, — факт, свидетельствующий, что плюсквамперфект как морфологическая категория не имеет истории, в отличие от категории буд. II. Наконец, сравнение латинского языка с оскско-умбрским показывает, что латинской трехчленной системе перфекта соответствует в оскско-умбрском двухчленная система, в которой никаких следов плюсквамперфекта нет. Все эти данные

позволяют предполагать, что на раннем этапе дописьменной истории латинский глагол имел двухчленную систему перфекта. Противочлен перфекта в системе представлял собой в плане выражения деривационную структуру, в которой комбинировались основа перфекта и флексия. Характерно, что набор флексии, представленный в парадигме этого образования — *-erō, -eris, -erit, -erint* — сходен с флексией архаичных сигматических форм глагола: *-sō, -sis, -sit, -sint*, и поскольку синтаксические функции тех и других форм также сходны, то суф. *-er-* и *-s-* можно рассматривать как отражения двух алломорфов суффикса сигматического аориста: **-es-/*-s-*. Присущая сигматическому аористу алломорфия суф. **-s-* и **-es-*, при которой распределение алломорфов было связано со структурой глагольного корня [8], на новом историческом этапе оказалась устраненной: аорист на **-s-* был вовлечен в процесс семантической и морфологической перестройки перфекта, — сформировалась пансигматическая парадигма перфекта типа *dixi*, — второй же алломорф **-es-* стал аффиксом нового образования. Первичным значением форм на **-es-*, соответствующим исходной форме, в которой основа перфекта указывала на точку отсчета в прошедшем времени и суф. **-es-* на предшествование, следует считать значение предпрошедшего времени, которое в языке древних законов еще обнаруживается в условиях особого синтаксического и семантического контекста.

Причиной структурной трансформации, которая изменила формальную «функциональную» связь категорий — членов протосистемы «перфект — сигматический аорист», было значительное расширение семантической сферы перфекта, получившего не только значение законченного в прошлом действия, но также значение актуального прошедшего [4]. В новой категориальной системе, сменившей протосистему, функционально нагруженному перфекту противостояла новая формация на **-es-* с относительно-временным значением предпрошедшего времени.

Происшедшее на следующем этапе обновление формы противочлена перфекта за счет присоединения к **-es-* дополнительного претеритального суф. *-ā-*, усиливающего значение предпрошедшего времени, привело к появлению нового члена в системе — плюсквамперфекта индикатива на **-esā-*. Старые же формы на **-es-*, сохраняя свое относительно-временное значение, получили значение предбудущего времени. Двойное употребление форм на *-erit* в текстах древних законов становится, таким образом, понятным: поскольку в архаизирующем языке законов не допускались «новые» формы плюсквамперфекта, то формы на *-erit* употреблялись не только в уже свойственном им значении предбудущего времени, но в условиях особого синтаксического или семантического контекста реализовалось старое их значение предпрошедшего времени.

В оскско-умбрском языке двухчленная система перфекта состоит из перфекта и буд. II на *-us-*. Из различных объяснений происхождения буд. II на *-us-* более убедительным представляется то, которое выделяет в суф. *-us-* два элемента: *-s-* как суффикс сигматического будущего и *-u-* как показатель основы перфекта [13, т. II, с. 374; 28, 29]. То, что в оскско-умбрском некогда был перфект, сходный с латинским перфектом на *-iī-*, позволяют считать, по мнению Дж. Джона [28], такие соотношения форм, как умбр. *portatu* — *portust*, лат. *orāre* — оск. *urust*, параллельные латинским соотношениям: *sonāre* — *sonuī*, *tonāre* — *tonuī*. С последующим распространением в оскско-умбрском языке более позднего типа перфекта на *-it/-nī-* старый тип перфекта на *-u-* у глаголов I спряжения вышел из употребления, и следы его сохранились лишь в оск. *urust*, умбр. *portust*. Сегмент *-us-*, больше не членимый на две морфемы, стал регулярным формантом буд. II. Это объяснение имеет то преимущество, что оск.-умбр. буд. II рассматривается как деривационное образование, структурно сходное с лат. буд. II. Но оно не отвечает на вопрос, чем вызвано предпочтительное сочетание показателя будущего времени *-s-* с основой перфекта на *-u-*, при том что в оскско-умбрском имеются и другие древние типы перфектной основы.

Кроме того, сходство структуры оскско-умбрского и латинского буд. II остается не доказанным, если не выяснена этимология суффикса буд. II в латинском языке. Джон указывает, что формант латинского буд. II *-eri-* может рассматриваться либо как **-is-e-*, где *-e-* восходит к краткому тематическому гласному конъюнктива, — объяснение, принятое большинством исследователей, — либо как **-i-se-*, где показатель будущего времени *-se-*, возможно, представлен в формах типа *faxit* [28, с. 156].

В связи с этим встает вопрос об элементе *-is-/-er-*, участвующем в построении ряда форм системы перфекта в латинском языке, но отсутствующем в оскско-умбрском языке. Не ставя перед собой задачу рассмотрения вопроса об элементе *-is-/-er-* в данной работе во всей его полноте, ограничусь следующим замечанием. Сходство оскско-умбрских и латинских сигматических образований глагола обнаруживается в совпадении суф. **-s-/*-es-* и восстанавливаемой флексии 3 л. ед. ч. **-s-et* и 3 л. мн. ч. **-s-nt*, а также в одинаковом соотношении более ранних сигматических образований, образованных от корня, и более поздних, образованных от основы перфекта. В оскско-умбрском языке древнейшие формы на *-s-/-es-*, представленные умбр. *-ise*, умбр. *menes*, оск. *fust* "fuerit, erit", и более поздние формы буд. II на *-us-* объединяются единством элемента *-s-* и единством флексии: 3 л. ед. ч. *-s-t* (**-s-e-t*) и 3 л. мн. ч. *-s-ent*. В латинском языке архаичные формы на **-s-/*-es-* типа *faxit* и типа *adiuerit* и более поздние формы буд. II также имеют один и тот же ряд окончаний и общий формант **-es-*. Этот факт материального сходства и сходства линии развития в двух языках заставляет предполагать, что элемент *-is-*, имеющийся только в латинском языке, представляет собой нечто позднее и вторичное. Древним в латинском языке является суф. **-es-* > *-er-*, который имеет соответствие в оскско-умбрском *-es-* и восходит к суф. **-s-/-es-* и-е. сигматического аориста. Фонетическая цепочка *-is-* совпала с процессом формирования в латинском языке двух новых парадигм перфекта на *-uī* и на *-sī* на основе более древней дефектной парадигмы типа *nōvī, nōstī*: формы *nōvistī, dīxistī* более поздние, чем *nōstī, dīxī*. В оскско-умбрском языке, где поздней пансигматической парадигмы перфекта и соответственно полной парадигмы перфекта на *-uī* не было, нет и элемента *-is-*.

Расхождение латинского и оскско-умбрского буд. II касается только суффикса: **-es-* в латинском и *-us-* в оскско-умбрском, в котором суф. *-es-*, как и *-s-*, закреплен за формами буд. I (например, умбр. *fer-es-t*, оск. *deīua-s-t*). Принимая, что в оскско-умбрском языке не было в отличие от латинского языка пансигматической парадигмы перфекта и соответственно полной парадигмы перфекта на *-uī*, я отхожу от объяснения происхождения оскско-умбрского суф. *-us-*, предложенного Р. фон Плантой и Джоном. Более вероятно, что в суф. *-us-* комбинируются обе приметы дефектной парадигмы сигматического аориста: элемент **-u-* как показатель 1 л. ед. ч. [ср. умбр. *subocau(u)* "invocavi"] и элемент **-s-* как показатель 2—3 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. Таким образом, латинскому суффиксу буд. II **-es-* отвечает в оскско-умбрском суф. **-us-*, маркированный сочетанием двух формантов **-u-* и **-s-*.

Итак, для раннего этапа дописьменного периода истории оскско-умбрского языка, как и латинского, можно реконструировать двухчленную категориальную систему: перфект, характеризующийся расширенной семантикой и доминирующим претеритальным значением, — производное сигматическое образование от основы перфекта со значением предпрошедшего времени. Общий для латинского и оскско-умбрского языка исторический сдвиг состоял в структурной трансформации, изменившей формальную и функциональную связь категорий: от протосистемы "перфект состояния — сигматический аорист со значением предшествования" к новой категориальной системе "перфект с расширенной семантикой, включающей сему претерита — производное образование от основы перфекта с относительно-временным значением предпрошедшего времени".

Дальнейшее развитие шло по-разному в латыни и оскско-умбрском языке. На это указывает различный статус перфекта в том и другом языке и в плане выражения и в плане содержания. В латинском языке перфект, как ни одна другая морфологическая категория, характеризуется сложной семантической сферой, в оскско-умбрском же перфект имеет значение только претерита. Это быстрое семантическое развитие оскско-умбрского перфекта в направлении к чистому претериту — процесс, завершившийся в латыни только в фазе романских языков, — повлекло за собой нейтрализацию противопоставления имперфект — перфект, слияние их в одну морфологическую категорию "перфект" за счет утраты перфектом древних окончаний и.-е. перфекта и распространения вторичных окончаний имперфекта-аориста: в 3 л. ед. ч. *-d* (*-t) и в 3 л. мн. ч. *-nt* (*-nt + s). Оскско-умбрский перфект, имея значение претерита, в определенном контексте мог выступать в роли плюсквамперфекта. В латинском языке, где перфект сохранил в какой-то степени значение и.-е. перфекта и его окончания, сформировалась отдельная морфологическая категория плюсквамперфекта.

Итак, от реконструируемой протосистемы "перфект состояния — сигматический аорист со значением предшествования" через общую ступень, когда полностью изменился противочлен перфекта в системе, к разным системам: в латинском "перфект — плюсквамперфект — буд. II", в оскско-умбрском "перфект-претерит — буд. II". Поскольку характер семантической оппозиции членов системы презенса, связанной с противопоставлением времени (настоящее — прошедшее — будущее), был принципиально иным, чем в системе перфекта, то вероятно, что для праиталийского языка следует реконструировать две автономные исходные системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Meillet A. Esquisse d'une histoire de la langue latine. P., 1933. P. 28.
2. Leumann M. Lateinische Laut- und Formenlehre. München, 1977.
3. Kravar M. L'aspect verbal en latin à la lumière d'oppositions distinctives // Živa Antika. 1976. 25.
4. Pinkster H. Tempus, aspect and "Aktionsart" in Latin // Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt. 1983. Bd 29.
5. Kühner R., Stegmann C. Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache. 2. Tl. Bd I—II. Hannover, 1988.
6. Bader F. Flexions d'aoristes sigmatiques // Etrennes de septantaine. Travaux de linguistique et de grammaire comparée offerts à Michel Lejeune. P., 1978.
7. Ходорковская Б.Е. К проблеме индоевропейского сигматического аориста // ВЯ. 1983. № 6.
8. Ходорковская Б.Е. К проблеме корневого вокализма индоевропейского сигматического аориста (Вокализм сигматических образований глагола в латинском языке) // ВЯ. 1989. № 6.
9. Neue F., Wagener C. Formenlehre der lateinischen Sprache. Bd 3: Das Verbum. B., 1894. S. 428.
10. Vetter E. Handbuch der italischen Dialekte. Heidelberg, 1953.
11. Untermann J. Forschungsbericht. Die Iguvinischen Tafeln // Kriatylus. 1960. Bd 5, S. 118.
12. Ernout A. Le dialecte ombrien. P., 1961. P. 80.
13. von Planta R. Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte. Bd I—II. Strassburg, 1892.
14. Bottigliani G. Manuale dei dialetti italiani. Bologna, 1954. P. 137.
15. Pisani V. Le lingue dell'Italia antica oltre il latino. Torino, 1964.
16. Buck C.D. A grammar of Oscan and Umbrian. Boston, 1904.
17. Watkins C. Indogermanische Grammatik. Bd III. Heidelberg, 1969.
18. Poultney J.W. The bronze tables of Iguvium. Baltimore, 1959.
19. Benediktsson H. The vowel syncope in Oscan-Umbrian // NTS. 1960. Bd 19.
20. Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.
21. Walde A., Hofmann J. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Bd I—II. Heidelberg, 1938—1954.
22. Devoto I. Tabulae Iguvinae. Roma, 1954.
23. Prodocimi A. L'umbro // Lingue e dialetti dell'Italia antica. Roma, 1978.
24. Meïe A. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М., 1938. С. 140.
25. Ernout A., Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. P., 1939.
26. Bruns C.G. Fontes iuris Romani antiqui. Tübingae, 1907.
27. Siegert H.K. Die Syntax der Tempora und Modi der ältesten lateinischen Inschriften (bis zum Tode Caesars). Würzburg, 1939. S. 11.
28. John J.St. The Oscan-Umbrian future perfect in *-us-* // Orbis. 1973, T. 22. № 1.
29. Beeler M.S. The Future Perfect in Oscan-Umbrian // Italic and Romance. Linguistic studies in honor of Ernst Pulgram. Amsterdam, 1980.

© 1993 г. ТЕЛЕГИН Д.Я.

ИРАНСКИЕ ГИДРОНИМЫ НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ ДНЕПРА И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ

В изучении истории населения далекого прошлого важное значение имеет сочегание данных разных наук, в том числе археологии и лингвистики. Для территории Поднепровья весьма положительные результаты в этом плане дает, в частности, сопоставление материалов о гидронимах и археологических культурах, которые в значительной степени дополняют друг друга. Так как названия рек и археологические памятники всегда жестко связаны с определенной территорией, то полное или почти полное совпадение их карт может свидетельствовать о принадлежности тех и других одному и тому же древнему населению. А все это, таким образом, в силу специфики этих источников открывает широкие перспективы для решения двух вопросов — определения этнической принадлежности археологических культур и их носителей, а также датировки гидронимов, что только лингвистическими методами сделать весьма трудно. Естественно, что такие выводы будут тем достовернее, чем больше будут привлекаться при этом данные общесторического плана — о генезисе культур и этнических групп, их связей и т.п. Надежные результаты в этом плане, кроме того, дает рассмотрение материалов в возможно широком их охвате территориальном и хронологическом, в нашем случае, например, всего бассейна Днепра и отрезка времени — от неолита и до раннеславянской эпохи.

На Поднепровье и в пределах Украины и Белоруссии работами лингвистов выделено более 30 иранских гидронимов — *Удава, Овда, Хорол, Удай, Артополот, Ропша, Сваа* и др. [1—6]. Все они, за исключением нескольких, локализованы к востоку от Днепра, главным образом в лесостепном Левобережье Украины, где в долинах рек Псел, Сула, Сейм и верховьях С. Донца образуют весьма компактные скопления — 24 гидронима. Пять иранских названий рек сохранилось также в так называемом предстепье (р. Самара — Днепр) и семь — на севере Левобережья Днепра в пределах Белоруссии по рекам Десна и Ипуть (рис. 1).

В бассейне Днепра для древних эпох (IV тыс. до н.э. — I тыс. н.э.) специалистами выделено также много археологических культур и др. [7—8]. Среди них культуры эпох: неолита — днепродонецкая, ямочногребенчатой керамики; меди и бронзы — ямная, катакомбная, марьяновско-бондарихинская, тшинцевская, многоваликовой керамики и срубная; раннего железного века — скифская, юхновская, сарматская, а также эпохи ранних славян — зарубинецкая, черняховская, колочинская, пеньковская и др. (рис. 2, 3).

Часть ареалов этих культур географически в большей или меньшей степени совпадает со скоплениями иранских гидронимов. Причем ситуация таких совпадений бывает далеко не одинаковой. В одном случае все иранские гидронимы полностью или почти полностью уместаются на территории культуры, например, днепродонецкой и ямочногребенчатой керамики, занимая, однако, при этом лишь небольшую часть их территории. В большинстве же случаев в границах той или иной культуры отмечается лишь часть этих гидронимов, в то время как остальные находятся за их пределами. Надо полагать, что как в первом, так и во втором случаях говорить о генетической связи иранских гидронимов с археологическими памятниками этих культур не приходится. Сказанное ка-

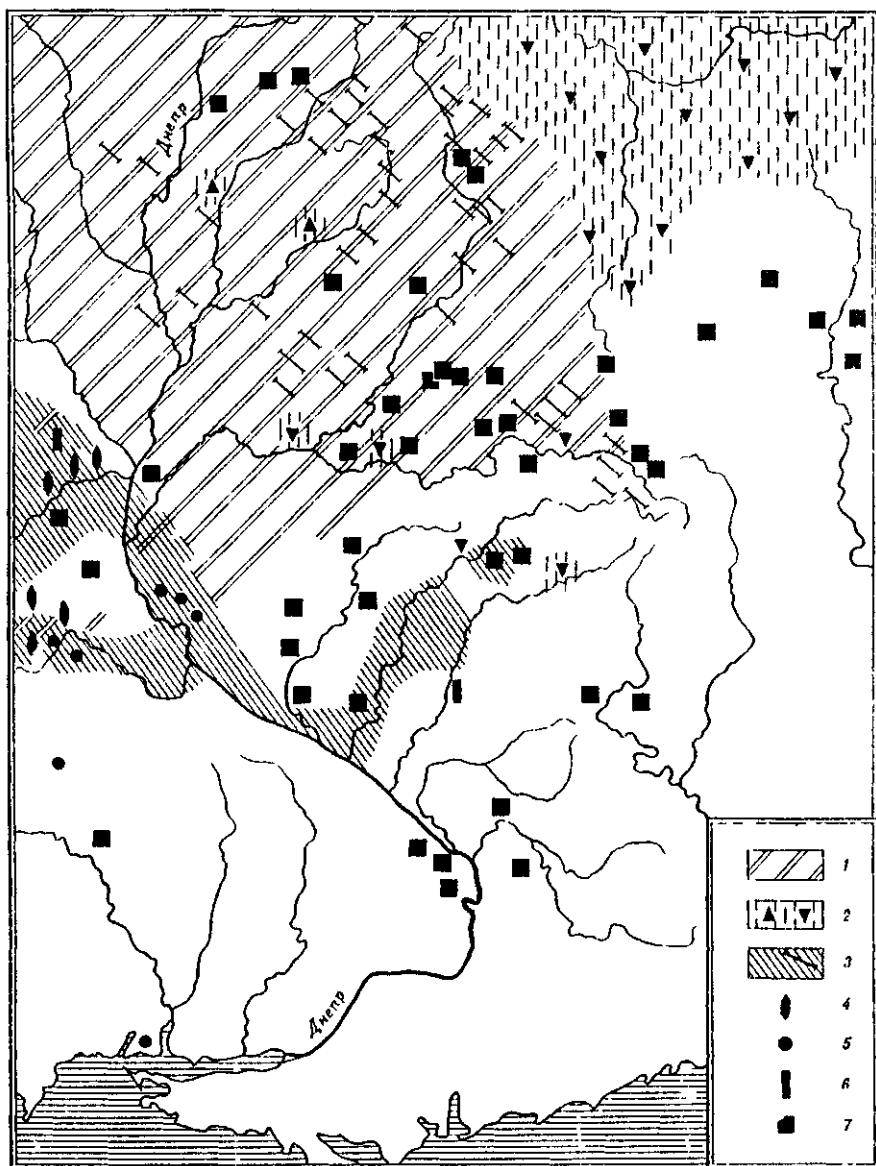


Рис. 1. Древние гидронимы Поднепровья

- 1) Балтийские; 2) Финно-угорские (прибалтийские и волжские); 3) Древнеславянские;
4) Иллирийские; 5) Фракийские; 6) Германские; 7) Иранские

сается прежде всего культур неолита меди-бронзы и раннего средневековья, хотя это еще не значит, что и среди их носителей тоже не было ираноязычного населения (см. ниже).

В плане поставленной здесь задачи выяснения этнической принадлежности групп археологических памятников, а в равной мере определения возраста иранских гидронимов Поднепровья, несомненно, наиболее перспективным является рассмотрение культур скифов и сармат, иранская этническая принадлежность носителей которых считается доказанной. Иранцами были и племена алан салтовской культуры, обитавшие в бассейне С. Донца и Среднего Дона.

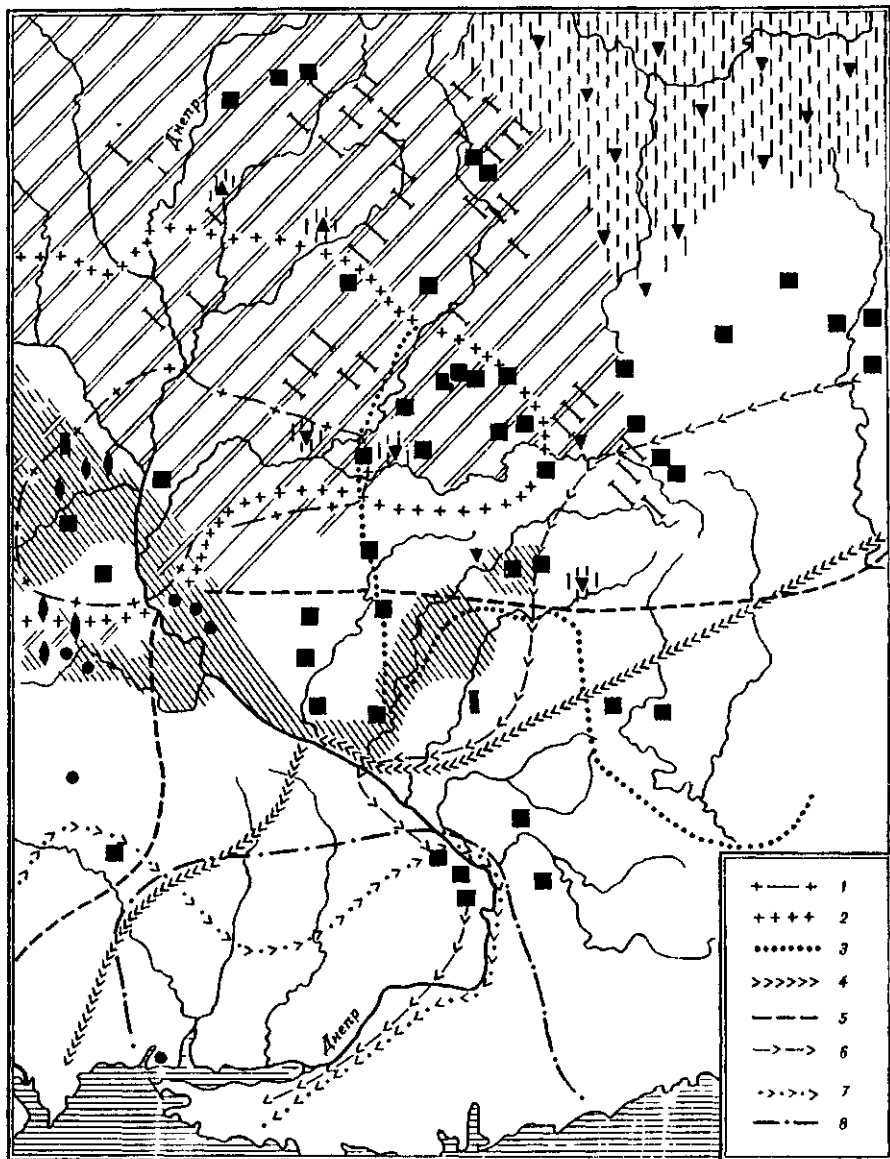


Рис. 2. Гилронимы и археологические культуры эпохи бронзы (II — нач. I тыс. до н.э.)
 1) Тшинецкая; 2) Лебедовская; 3) Марьяновско-бондаридинская; 4) Катакомбная; 5) Многоваликовой керамики; 6) Срубная; 7) Сабатиновская; 8) Нижнеимхайловско-кемиобинская

В.Н. Топоров и О.Н. Трубачев [2, с. 229] различают среди иранских гидронимов Левобережья Днестра и бассейна Дона три хронологических и этнолингвистических пласта: древнейший скифский, средний сарматский и поздний аланский, или древнеосетинский. Скифы и сарматы, как известно, обитали на указанной территории с VII в. до н.э. и до II—III вв. н.э., т.е. около тысячи лет, в течение которых вполне могли возникнуть и прочно закрепиться ираноязычные наименования рек.

Следует, однако, заметить, что географическое совпадение скопления иранских названий рек и скифо-сарматских памятников далеко не полное. Так, на-

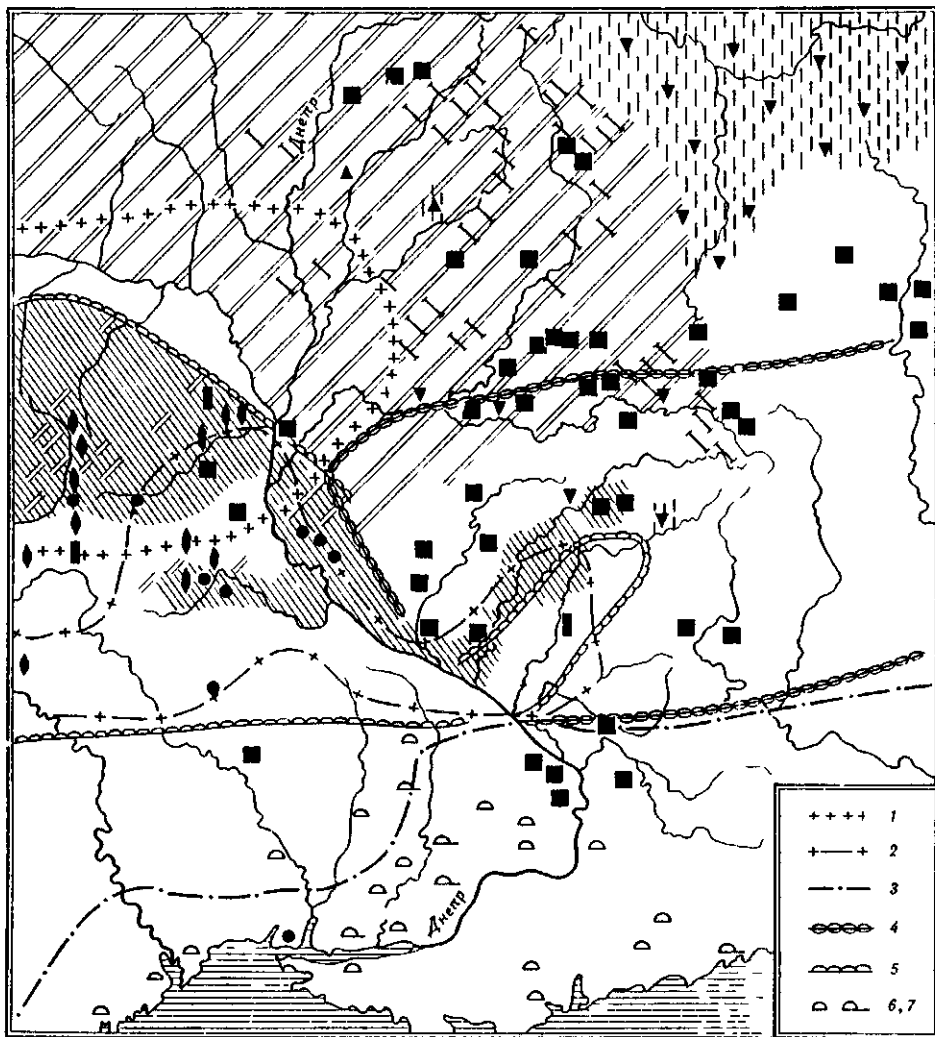


Рис. 3. Гидронимы и археологические культуры позднейшей бронзы — раннего железного века (I тыс. до н.э.)

1) Милоградская; 2) Чернолесская; 3) Белозерская; 4—5) Скифская; правобережно-ворсклинская группа и левобережная; 6—7) Степные курганы киммерийцев и скифов

пример, иранских наименований рек очень мало в степи, где, как известно, был основной район обитания и скифов и сармат. Этих гидронимов почти совсем нет также в лесостепном Правобережье на Подоллии, где памятников скифоидной культуры выделено много. И, наоборот, в белорусском Левобережье Днепра отмечено, как упоминалось выше, семь явно иранских гидронимов, но ни скифы, ни сарматы там в древности не обитали. Все это нуждается в особом рассмотрении иранской гидронимии — во-первых, отдельно для скифского и сарматского времени, а во-вторых, не суммарно о культурах в целом, а по конкретным локальным их регионам.

Скифские племена заселяли Поднепровье и смежные территории в VII—III вв. до н.э. Их памятники — курганы, селища, городища и др. хорошо представлены в степи и лесостепи Украины. Они характеризуются рядом общих черт — особым составом наступательного и оборонительного вооружения, снаряжения

конской сбруи, так называемым скифским звериным стилем в искусстве и др. Вместе с тем по целому ряду признаков в материальной культуре эти памятники на разных территориях Украины далеко не идентичны между собой, что и послужило основанием для выделения здесь ряда локальных их групп. Специалисты, например, говорят об особой группе скифских памятников в степи, которые заметно отличаются от лесостепных. Последние, однако, также не однородны, а образуют целый ряд локальных групп, в том числе четыре на Правобережье и две — на левом берегу Днепра [7, II, с. 62]. При этом важно подчеркнуть, что, по мнению исследователей, степень сходства и различия между памятниками этих групп лесостепи далеко не одинакова. В этом плане говорят только о двух основных культурногенетических группах памятников скифского времени в лесостепи Украины — 1) "Правобережной", в состав которой входят все локальные группы междуречья Днепра и Днестра, а также ворсклинская группа Левобережья и 2) посульско-донецкой группе, охватывающей долины рек Сулы, Псел, среднюю и верхнюю части С. Донца и Сейма [9; 7, II, с. 90]. При дальнейшем рассмотрении вопроса соотношения иранских гидронимов Поднепровья и археологических памятников скифского времени мы будем исходить, таким образом, из наличия среди памятников на Украине этой эпохи трех основных групп — степной, правобережноворсклинской и посульско-донецкой.

Основные признаки, по которым различаются памятники скифского времени этих групп между собой, касаются прежде всего характера поселений и городищ, обряда погребения, а также преобладающих типов керамики, что, как известно, для древних эпох является весьма важным этнографическим признаком. Выделение указанных групп памятников в известной мере перекликается с данными Геродота о членении населения Скифии на отдельные группы племен [10].

В степном Поднепровье, где, по Геродоту, обитали царские и кочевые скифы, их культура изучалась в основном по погребальным памятникам, поселений этого времени известно очень мало, а городищ — единицы. Среди них исследовано одно Каменское городище, которое по своему назначению играло роль центра ремесла и торговли. Некоторые авторы считают, что это городище в IV в. до н.э. было столицей скифского царя Атея.

Основным, а начиная с V в. и единственным обрядом погребения степных скифов было вытянутое на спине труположение, обычно под курганами, в глубоких ямах с подбоем или настоящими катакомбами. Керамика у степных скифов, если исключить импортную античную, очень примитивных форм — это простой горшок, широко открытый или с суженным горлом. Эти сосуды почти лишены орнамента; чернолощенная посуда, столь характерная, например, для памятников правобережной лесостепи и долины Ворсклы, здесь встречается крайне редко и то только до VI в. до н.э.; позже ее здесь уже практически нет.

Гидронимов степных скифов до наших дней сохранилось сравнительно мало. Все они находятся на границе с лесостепью — по Самаре и на Днепре (рис. 1). Видимо, со скифами и сарматами следует связывать и возникновение названий всех крупных водных артерий, впадающих в Черное море с севера, — *Днепра*, *Буга*, *Днестра* [11]. По мнению О.Н. Трубочева [3, с. 250—252] среди названий этих рек только Буг следует считать более-менее "чисто" иранским; гидронимы же *Днепр* и *Днестр*, хотя и сложились на основе иранского компонента, испытали также еще и преобразование с участием дако-фракийского языка. На факт незначительного количества иранских гидронимов в районе обитания степных скифов, а позже сармат обратил внимание еще М. Фасмер [1], который объяснил это тем, что иранские, как и многие иные гидронимы, здесь были просто стерты тюркскими в период Средневековья. С этими выводами теперь согласно большинство лингвистов [3, с. 276].

Памятники правобережно-ворсклинской группы этого времени охватывают, как отмечалось выше, все лесостепное Правобережье и бассейн Ворсклы к востоку от Днепра. В последнее время экспедицией, работавшей под руководством

автора, поселения с культурой правобережного типа обнаружены и в долине р. Орели (Осиновка) [12]. По единодушному мнению исследователей [13—16], эти памятники появились на Левобережье в результате проникновения сюда в предскифское и скифское время правобережного населения. Этот вывод археологов хорошо перекликается с данными Геродота, согласно которому за одно поколение до похода Дария на Скифию, т.е. в VI в. до н.э., невры с правого берега переселились на Левобережье в землю будинов.

Одним из наиболее существенных отличий правобережно-ворсклинских памятников от степных является наличие множества мощных городищ типа Немировского, Пастырского, Матронинского и др. Сосредоточены они главным образом по южной границе лесостепи, но известны также в Киевско-Каневском Подиенровье — Трахтимирское, Хотовское и Ходосовское и др. Нет сомнения в том, что все эти городища составляли собою своеобразную оборонительную линию против степных, а вероятно, и левобережных скифов. В отличие от Каменского, городища лесостепного Правобережья заселены часто слабо, а некоторые из них просто служили убежищем для населения в случае какой-либо опасности.

Особенностью духовной и материальной культуры населения этих городищ и связанных с ними селищ является то, что здесь, наряду с труположением, практиковалась и кремация покойников, — обряд, совершенно чуждый степным скифам. Сравнительно мало здесь и погребений в подбоях и катакомбах. Часто, однако, в ямах под насыпями курганов сооружались деревянные усыпальницы, имитирующие в известной мере жилища. Обычно при похоронах эти сооружения сжигались, что также является важной характеристикой этой группы скифских памятников. Совсем иной здесь, чем в степи, и характер керамики, особенно на более ранних этапах в развитии культуры. Ассортимент глиняной посуды очень богатый. Кроме простых лепных горшков, украшенных расчлененным валиком, здесь широкое распространение имела высококачественная чернолощеная "столовая" посуда изящных форм — узкогорлые корчаги так называемого виллановского типа, кувшины, черпаки с высокой ручкой и др. Корчаги украшались оттянутыми выступами по плечикам, а на поверхности кувшинов и черпаков наносился сложный резной орнамент, декоративный эффект которого усиливался еще втиранием в прочерченные углубления белой пасты.

Под данным Геродота, к западу от Днепра в скифское время расселялись племена с юга на север — каллипиды, алазоны, скифы-пахари и не скифское население невров. К сожалению, более-менее точно, согласно описанию Геродота, можно говорить о локализации лишь каллипидов или эллино-скифов и алазонов, которые обитали где-то вблизи Ольвии, т.е. в степной зоне. Об области расселения скифов-пахарей и невров ученые спорят. По мнению одних авторов [9, 17], скифы-пахари также обитали в степной зоне, а все лесостепное Правобережье заселяли невры, которым, следовательно, принадлежит скифоидная культура типа Немировского, Пастырского, Матронинского и иных городищ. Согласно предположению А.П. Смирнова [18], А.И. Тереножкина, В.А. Ильинской [7, II] и др., однако, все лесостепное Правобережье, включая Подолию и Волынь, заселяли скифы-пахари. Невров они помещают в долине р. Припять.

Исходя из данных гидронимии, в частности, почти полного отсутствия в лесостепном Правобережье ираноязычных названий рек, точку зрения Б.Н. Гракова и А.И. Мелюковой на локализацию племен геродотовой Скифии, видимо, следует считать более обоснованной. Интересно и важно подчеркнуть, что иранские гидронимы отсутствуют и в бассейне Ворсклы и Орели, где, как мы говорили, в это время обитали переселенцы с правого берега Днепра (рис. 3). Предполагать, что иранские гидронимы в лесостепном Правобережье, как и в степи (см. выше), были кем-то стертые, видимо, оснований нет. В противном случае здесь не сохранились бы и иные древние названия рек, например, иллирийские и фракийские, а это оказывается не так [19].

Скифские памятники посульско-донецкой группы (Сула, Псел, среднее и верхнее течение Сейма и С Дона) по многим признакам заметно отличаются от поворсклинских и правобережных. Городищ, правда, здесь тоже много (Басовские, Гомольша и др.), но состав керамики совсем иной, чем на Правобережье. Определенными особенностями отличается здесь и погребальный обряд. Кремация и сожжение деревянных гробниц не практиковались почти совсем. Подкурганые деревянные сооружения проще правобережных (Аксютинцы, Гомольша), они отдаленно напоминают срубные гробницы эпохи поздней бронзы. Среди керамических изделий выделяется ряд специфических форм — округлотелые узкогорлые горшки или корчаги, миски с загнутым внутрь краем и проколами под венчиком, есть острореберные и банковидные формы, бочковидные горшки, сосуды с носиком, с ручкой, украшенной продольными проглаженными линиями. Валиковая орнаментация уступает место наколам под венчиком. Чернолощенная высококачественная ("правобережная") керамика встречается в небольшом количестве, видимо, как инокультурные импорты. Бытует она здесь относительно непродолжительное время. В.А. Ильинская [15], подчеркивая своеобразие скифской культуры бассейна Сулы и Псла, указывает на значительное распространение здесь снаряжения конской сбруи, наверший булав, некоторых видов бронзовых фибул, что в правобережных погребениях встречается намного реже. В области посульско-донецкой группы памятников, по мнению В.А. Ильинской, находились дружинные скифские некрополи. Как мы видели, на Левобережье сосредоточены и иранские гидронимы (рис. 1, 3).

По данным Геродота, к востоку от Днепра Скифию населяли, кроме кочевых и царских скифов, обитавших в степи, также скифы-земледельцы, меланхлены и будины. В земле будинов был город Гелон, где говорили и по-скифски, и по-гречески.

Такова в целом сумма источников — археологических, лингвистических и письменных, которые могут быть привлечены для решения вопроса об этническом составе населения скифского времени на Поднепровье.

Теперь кратко остановимся на рассмотрении исторической обстановки на исследуемой территории в сарматскую эпоху (III в. до н.э. — III—IV вв. н.э.).

Племена сармат в скифский период обитали, по Геродоту, в степной зоне к востоку от Дона. Продвинувшись затем на запад, они в Приазовье, на Нижнем Днепре и Северном Причерноморье сменили скифов, а частично смешались с ними. На Нижнем Днепре в это время возникает целая серия городищ — Золотобалковская, Гавриловское, Горностаевское, Каирское, Любимовское и др. Вероятно, это остатки городов сарматского времени — *Амодоку*, *Саран*, *Метрополь* и др., о которых писал Птолемей.

Сарматы, по данным Геродота, говорили на скифском языке, но "давно испорченном". Считается, что население городищ низового Днепра было смешанным — скифо-сарматским [7, II, с. 238]. На более северных территориях Поднепровья сарматские памятники типа городищ низового Днепра уже неизвестны. Это население проникало сюда, видимо, только в южную часть лесостепи, где исследованы отдельные погребения переселенцев, в том числе на Орели, С Доне, лесостепной части южного Буга и др.

При попытке сопоставления карт иранских гидронимов Поднепровья и памятников сармат отмечается лишь частичная их накладка в районе р. Самары и Нижнего Поднепровья. Не исключена возможность поэтому, что в образовании ираноязычных названий рек здесь приняли участие наряду со своими предшественниками — скифами также и сарматы. Последние, однако, к появлению рассматриваемых гидронимов лесостепного Левобережья отношения, очевидно, уже не имели.

Исходя из вышеизложенного о соотношении археологических, лингвисти-

ческих и письменных данных в скифско-сарматское время на Поднепровье, мы можем прийти к таким выводам.

1. Сравнительно небольшое количество иранских наименований рек в районе обитания степных племен скифов и сармат, которые несомненно были иранцами, объясняется тем обстоятельством, что такие гидронимы в Средневековье здесь были стерты тюркскими названиями [1, 3].

Появление этих гидронимов относится ко времени от VII в. до н.э. и до III—IV вв. н.э. На С. Донце и на более восточных территориях иранская гидронимия могла продолжать складываться и позже, вплоть до последней четверти I тыс. н.э., в связи с обитанием здесь в это время ираноязычных племен аланов.

2. Племена лесостепного Правобережья со скифоидной культурой типа Немировского, Пастырского, Матронинского и др. городищ, где ираноязычные гидронимы отсутствуют, скифами в этническом плане не были. То же следует сказать и о той части правобережного населения, которая переселилась по Ворскле и Орели на левый берег Днепра. Видимо, в лесостепном Правобережье следует помещать Невриду Геродота, ответвлением которой были и носители культуры типа поворсклинских памятников на левом берегу Днепра.

В науке существует мнение, что с племенами Невриды — неврами следует связывать вопрос о генезисе ранних славян. Не вдаваясь здесь в рассмотрение этой большой и сложной проблемы, заметим только, что такая постановка вопроса находит, как нам кажется, некоторое подтверждение в результатах сопоставления лингвистических и археологических данных. Мы имеем в виду, например, почти совпадение памятников неврам с районом распространения раннеславянских гидронимов на Волыни, Среднем Днепре и к востоку от него (рис. 1).

3. Основное скопление ираноязычных названий рек в лесостепном Левобережье с определенной достоверностью может быть датировано VII—III вв. до н.э. Оставлены они здесь носителями скифской культуры посульско-донецкой группы памятников, которые были, безусловно, ираноязычными племенами. К сожалению, ставить вопрос об идентификации последних с каким-либо из геродотовских племен на данном этапе наших знаний, видимо, будет преждевременным.

4. Появление упоминавшихся выше семи иранских гидронимов в белорусском Левобережье Днепра по Ипути и Десне, где ни скифы, ни сарматы как таковые в древности не расселялись, интерпретировать трудно. Вся эта территория в скифское время была густо заселена (известно более 300 городищ) племенами похновской культуры. Судя по археологическим и лингвистическим данным, юхновцы, в которых исследователи [20, 21] видят балтов, долгое время в долине р. Сейм расселялись, видимо, вперемешку со скифами. Об этом свидетельствуют как значительное культурное влияние скифов на юхновцев, так и лингвистические данные о языковых сходениях балтов и иранцев [2, с. 230—231]. Предположительно можно связывать появление этих иранских гидронимов столь далеко на севере с обитанием здесь, по данным Иордана, гольдескифов (голядо-скифов), которых расценивают как этнический конгломерат, возникший в результате взаимоассимиляции балтов и иранцев [22, с. 48].

В изучении истории древнего населения Северного Причерноморья и лесостепного Левобережья важное место занимает и проблема этнической принадлежности племен доскифской эпохи. В этой связи, как известно, среди лингвистов и археологов широко обсуждается вопрос о присутствии здесь в эпоху меди и бронзы племен индоиранцев или уже ираноязычного населения. Речь чаще всего идет об определении этнической принадлежности степных и лесостепных скотоводческих культур — ямной, многоваликовой керамики, срубной, сабатинской, белозерской и киммерийской.

О присутствии индоиранского и иранского элементов в Северном Причер-

номорье начиная с древнейших времен говорят многие лингвисты, исходя главным образом из общесторической ситуации и реже ссылаясь на некоторые индоарийские реликты в языковом материале. Так, например, по мнению Э.А. Грантовского [23, с. 254], в Северном Причерноморье ираноязычное население, говорившее на диалекте еще без ряда скифо-сарматских особенностей, обитало уже в доскифское время. В.И. Абаев [24, с. 122] считает возможным предполагать возникновение скифско-европейских изоглосс не позднее II тыс. до н.э. А по мнению Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванова [25, с. 917], арийцы проникли в Причерноморье не позднее конца IV тыс. до н.э., т.е. в период расселения здесь предьямных и ямных племен. В. Георгиев [11, с. 282] предположительно связывал с индоиранцами "могилы с охрой", т.е. племена ямников и полтавкинцев, "... нахождение индоарийцев (праиндийцев) в какой-то момент к северу от Черного моря принимается всеми, — пишет О.Н. Трубачев [26, с. 41], — в то же время во всем индоевропейском языкознании нет положения более абстрактного, чем это".

Заключения лингвистов об индоиранской или иранской принадлежности степных доскифских культур широко используются археологами, которые в своих работах по этому вопросу, кроме того, привлекают еще и чисто археологические данные, в частности анализ генетических связей культур. Причем выводы последних по поводу определения этнической принадлежности носителей той или иной культуры нередко звучат даже более категорично, чем у языковедов. По мнению Н.Я. Мерперта [27, с. 243], например, "связь степных культур Северного Причерноморья и Прикаспия с индоиранским этносом безусловна". Иранскую принадлежность срубной культуры Н.Л. Членова [28, с. 264] считает "весьма возможной", а С.С. Березанская [29, с. 207] "вполне доказанной". Идею сложения индоиранских племен срубно-андроновской общности поздней бронзы на территории Евразийских степей последовательно отстаивает Е.Е. Кузьмина [30]. Со срубной и андроновской культурами связывает иранцев (индоиранцев) и М.М. Дьяконов [31]. Исходя из результатов сравнительного анализа археологических данных, полученных при раскопках могильника Синташта в Южном Зауралье, с данными древних письменных источников, В.Ф. Генинг [32, с. 73] делает вывод, что постановка вопроса об отождествлении носителей культуры этого могильника с "какой-то частью индоиранских племен вполне правомерна". Заметим, что могильник Синташта входит в один круг культур с памятниками многоваликовой керамики Поднепровья. Следовательно, этим самым ставится вопрос также об индоиранской или иранской принадлежности и памятников многоваликовой керамики Украины. Столь единодушное утверждение со стороны представителей языкознания и археологии об индоиранской и иранской принадлежности степных культур эпохи меди и бронзы Евразии, видимо, не лишено оснований. Однако глубоких и конкретных разработок в этом плане, особенно при комплексном сочетании данных археологии и лингвистики, пока еще очень мало.

Если же мы обратимся к Поднепровью, то, как отмечалось выше, совпадение археологических и гидронимических карт прослеживалось весьма слабо. В степной зоне, где обитали носители интересующих нас культур эпохи меди и бронзы, древние гидронимы сохранились плохо. А в лесостепной зоне их совпадение лишь частичное или его совсем не наблюдается. Как это видно на приложенных картах, северная граница большинства степных культур либо лежит вообще южнее скопления иранских гидронимов (Сабагиновка, Белолесье, киммерийцы), либо в значительной мере, в целом, "обходит" их с юго-востока, например, ямной, катакомбной и срубной культур. Несколько больше этих гидронимов попадает только на территорию обитания племен многоваликовой керамики (рис. 2).

Таким образом, для решения проблемы этнической принадлежности всех этих

культур у нас явно еще недостает источников, прежде всего гидронимических, и главным образом, на более восточных степных территориях — Подонья, Поволжья и Зауралья.

Видимо, несколько лучше обстоит дело в этом плане с археологическими материалами, в частности, при ретроспективном рассмотрении генезиса культур эпохи меди и бронзы и скифского времени. По мнению исследователей, например, считается, что срубная культура приняла прямое участие в сложении культуры скифов [9], видимо, прежде всего лесостепных левобережных, исключая бассейн р. Ворсклы и Орели. Н. Гаврилюк [33, с. 18], которая специально изучала лепную керамику скифов, отмечает ее генетическую связь с керамическими материалами поздней бронзы степной зоны. Ряд авторов отстаивает мысль о генетической преемственности срубной культуры от культур многоваликовой керамики [34, с. 43] в Поднепровье и полтавкинской культуры в Поволжье [35]. Последняя, в свою очередь, вырастает на культуре ямных племен медного века [36, с. 151]. Зная ираноязычность скифов, мы, таким образом, можем предположительно говорить и о том же по отношению к носителям ямной, полтавкинской, многоваликовой керамики и срубной культур. К сожалению, намеченная выше цепочка генетических связей признается, однако, далеко не всеми исследователями.

Еще более сложным является вопрос об этнической принадлежности носителей сабастиновской, белозерской и киммерийской культур степной зоны, которые развивались в непосредственно предскифское время. По мнению большинства исследователей, все эти культуры составляют одну генетическую линию [17, с. 37]. По составу керамики они имеют явно синкретический характер, в их сложении главную роль играли как местные "днепровские", так и западные "прикарпатские" элементы. Видимо, в связи с этим по вопросу этнической принадлежности этих культур высказываются разные, в том числе противоположные, мнения. Особенно оживленно в этом плане дебатировалась проблема этнической принадлежности киммерийцев, которых одни исследователи считают ираноязычными [24, с. 125; 38, с. 18; 23, с. 254], а другие [39, с. 63; 26, с. 40] говорят об их фракийской принадлежности.

Подводя общий итог сказанному выше, мы приходим к выводу, что появление подавляющего большинства иранских гидронимов в Поднепровье следует связывать с обитанием здесь скифских племен. Иранский элемент в этом отношении, вероятно, был еще усилен в сарматское время. Возможно, некоторую часть иранских гидронимов следует связывать с более ранним населением Левобережья Днепра, в частности, срубным, но это предположение нуждается в обосновании новыми фактами.

Нужно отметить, что в сарматское время зона распространения иранских гидронимов Поднепровья в разной степени совпадает с ареалами культур — зарубинецкой, черняховской, пеньковской, колочинской и др., среди носителей которых уже был и славянский этнический элемент. О контакте этого населения с ираноязычным миром свидетельствуют многие кальки в области гидронимии, отмеченные лингвистами [3, 4] для бассейнов рек Сулы (*Артополот—Богивка*), Сейма (*Свапа—Доброводка*), на Нижней Десне (*Ропиша—Лисичка*) и др. Именно благодаря прямым контактам раннеславянского населения со скифско-сарматскими племенами иранские гидронимы в Поднепровье сохранились до наших дней. А поскольку об ираноязычности носителей раннеславянских культур говорить нет оснований, их роль в передаче иранских гидронимов в современную славянскую речь была сугубо персиверентной (передаточной).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. *Vasmer M.* Untersuchungen über die ältesten Wohnsitzen der Slaven I. Leipzig, 1923.
2. *Топоров В.Н., Трубачев О.Н.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.
3. *Трубачев О.Н.* Названия рек Правобережной Украины. Словообразование, этимология, этническая интерпретация. М., 1968.
4. *Стрижак О.С.* Назви річок Полтавщини. Київ, 1863.
5. *Schmidt W.P.* Alteuropa und der Osten im Spiegel der Sprachgeschichte // Innsbrucker Beiträge zur Kulturwiss. 22. Innsbruck, 1966.
6. *Moszyński K.* Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego. Wrocław; Kraków, 1957.
7. Археология Украинской ССР. Т. I III. Киев, 1985 – 1986.
8. Очерки по археологии Белоруссии. Минск, 1970.
9. *Греков Б.Н.* Скифы. М., 1971.
10. *Геродот.* История. Л., 1972. С. 187—238.
11. *Георгиев В.И.* Исследования по сравнительному языкознанию. М., 1958.
12. *Телегин Д.Я., Беллев А.С.* Отчет о работах экспедиции "Днепр—Донбасс" на р. Орели в 1973 г. // Научн. архив Института археологии АН Украины. Ф. эксп. 1973/13.
13. *Рудинський М.Я.* Махучинська експедиція Інституту археології // Археологічні пам'ятки. II. Київ, 1949.
14. *Ковпаненко Г.Т.* Племена скіфського часу на Ворсклі. Київ, 1967.
15. *Ильинская В.А.* Скифы Днепровского лесостепного Левобережья. Киев, 1968.
16. *Шрамко Б.А.* Древности Северного Дона. Харьков, 1962.
17. *Мелюкова А.Н.* Скифы и фракийский мир. М., 1979.
18. *Смирнов А.П.* Скифы. М., 1966.
19. *Телегин Д.Я.* Иллирийские и фракийские гидронимы Правобережной Украины в свете археологических исследований // ВЯ. 1990. № 4.
20. *Третьяков П.Н.* Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.; Л., 1966.
21. *Седов В.В.* Днепровские балты // Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Вильнюс, 1985.
22. *Стрижак О.С.* Гідронімія Геродотової Скіфії. Київ, 1988.
23. *Грантовский Э.А.* "Серая керамика", "расписная керамика" и индоевропейцы // Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности. М., 1981.
24. *Абаев В.И.* Скифско-европейские изоглоссы. М., 1965.
25. *Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. I—II. Тбилиси, 1984.
26. *Трубачев О.Н.* О скидах и их языке // ВЯ. 1976. № 4.
27. *Мерперт Н.Я.* Этнокультурные изменения на Балканах на рубеже энеолита и раннего бронзового века // Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М., 1984.
28. *Членова Н.Л.* О времени появления ираноязычного населения в Северном Причерноморье // Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М., 1984.
29. *Березанская С.С.* Северная Украина в эпоху бронзы. Киев, 1982.
30. *Кузьмина Е.Е.* Культурная и этническая атрибуция пастушеских племен Казахстана и Средней Азии // ВДИ. 1988. № 2.
31. *Дьяконов М.М.* Очерк истории древней Индии. М., 1961.
32. *Генинг В.Ф.* Могильник Синташта и проблема ранних индоевропейских племен // Советская археология. 1977. № 4.
33. *Гаверилук Н.А.* Керамика степной Скифии: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Киев, 1981.
34. *Березанская С.С., Отрощенко В.В., Чередниченко Н.Н., Шарафутдинова И.Н.* Культура эпохи бронзы на территории Украины. Киев, 1936.
35. *Качалова Н.К.* Племена Нижнего Поволжья в эпоху средней бронзы. Л., 1965.
36. *Мерперт Н.Я.* Древнейшие скотоводы Волжско-Уральского междуречья. М., 1974.
37. *Черняков И.Т.* Северо-западное Причерноморье во второй половине II тыс. до н.э. Киев, 1985.
38. *Тереножкин А.И.* Киммерийцы. Киев, 1976.
39. *Артамонов М.И.* Киммерийцы и скифы. Л., 1974.

© 1993 г. ХЭМП Э.

К МЕТОДИКЕ АНАЛИЗА ИСТОРИКО-ФОНЕТИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ.
ИНДРА, ЕГО ЛУК И ВИНОГРАДНАЯ ГРОЗДЬ

В языке прасун существуют два слова, которые обнаруживают сходные аномальные изменения начальных консонантных групп. Моргенстьерне замечает: «Утрата *d* в *rasik* "виноградная гроздь": кати *drōs*; (*w*)*urū* "лук": кати *d(u)rū* остается необъясненной» [1, с. 209]. В прасунском следовало бы ожидать для этих слов нечто вроде ***dasik*, *đū*.

На той же странице Моргенстьерне делает заявление, которое кажется удивительным и несомненно должно быть признано (хотя бы отчасти) ошибочным: Среди «прочих примеров на *tr*» мы находим *wirū* "радуга" (далее не дается никаких уточнений). Данная форма приводится в Словаре как *witr'ū* [1, с. 278] без комментариев. Можно с уверенностью игнорировать начальное *w-*. «Первоначальное распределение этих звуков (*y-* и *w-*) было в значительной степени нарушено» [1, с. 207, см. еще § 17, с. 198]. Но это — безусловный прасунский эквивалент для кати *indrō*, которое упомянуто в [2, с. 163]. Это слово объяснено в другом месте в связи с фиксацией его в других нуристанских диалектах. Не может быть сомнений в том, что в данном случае мы имеем древнее сложение (ср. ударение в прасунском!): **Indra-drona-*, со своеобразной гаплогогией. Но кроме гаплогогии, кажется, здесь имеет место еще и оглушение; следовало бы ожидать **(*w*)*idrū* или даже **(*w*)*iđū*. И тогда гаплогогия может рассматриваться просто как особый случай диссимилиации. Таким образом (*w*)*itr'ū* = *indrō* прямо свидетельствует об очевидной диссимилиации в данном устойчивом словосочетании. В то же время не совсем ясно: обязательно ли вайгальское *indrūn*, названное Моргенстьерне "особым случаем" [3, с. 164], своим *nd* на месте *n* < **nd* той же диссимилиации или позиции перед *r*-?

Оглушение в прасунском может также отражать дальнейшую скрытую контаминацию. В кати также имеется слово *indrīṣṭ* "землетрясение, катастрофа" [2, с. 163]. Возможно, мы наблюдаем здесь интерференцию прасунского эквивалента, представленного в простейшей форме *uṣ* "лавина, снежный обвал" = кати *irus*, вайгали *trōs*.

В [2, с. 163] мы читаем, что у прасунов Индра любит вино и почитается во время празднеств в честь сбора винограда. Это совпадение едва ли случайно. Аномальная утрата начального **d-* точно соотносится с этими двумя фактами культуры: связь Индры в религии и мифе с виноградной гроздью (**drās-*), а в словосложении и в ремесленной терминологии того времени — с луком (**dron-*). Мы можем в таком случае предположить, что сочетание форм **Indra-* + *drās-* и **Indra-* + *dron-* дало частично диссимилированные последовательности в прасунском: **I(n)dra-rās-*, **I(n)dra-ron-*. В таком случае отмеченные в кати варианты *durū* [2, с. 172], *d'rū* [2, с. 174], *drū* [2, с. 188] не играют роли в объяснении данной утраты и предположительно должны рассматриваться как исключительно внутренние, не выполняющие смыслоразличительной функции колебания в этом языке.

Замечу, что указанные диссимилиации имели место достаточно поздно, ибо новый начальный *r-* (*rasik*, (*wu*)*rū*) избежал развития в *z-*, подобно тому, как это произошло с первичным *r-* [1, с. 207].

Моргенштерне отмечает в другом контексте [3, с. 162] нерегулярность «как и в других кафирских языках» вайгальского *drās* с -s, соответствующим скр. *kš*. Я бы предпочел рассматривать это слово как заимствование из более раннего прасунского, принимая во внимание роль государства прасунов как религиозного и обрядового центра для всех говорящих на нуристанских языках. Таким же образом можно видеть культурное заимствование в вайгальском *yūš* "великан-людоед": (скр. *yakṣa-*)¹.

Здесь мы находим проявление фольклора в живых языковых выражениях.

В ходе изложенной аргументации нам удалось соотнести фонологическое развитие (**d* > "ноль") в фонологическом контексте (*r*) с определенным культурным фактом (а именно — с богом Индрой, включая присущие ему атрибуты). Первоначально предполагалось, что такое развитие было аномальным, поскольку контекст *r* не был сам по себе достаточным для предсказания или объяснения подобного результата. В действительности мы устранили эту кажущуюся нерегулярность, обогатив контекст за счет включения фонологического результата в план наблюдаемого культурного соответствия. Теперь можно представить наше объяснение схематически:

нуристанн **d* > прасун "ноль" / $\left[\begin{array}{l} \text{Верховное божество} \\ \text{Первичное определение} \end{array} \right] + - [r]$
 $\rightarrow / \left[\begin{array}{l} \text{[indra-]} + - [r] \text{ или} \\ \text{[indr()]} + - [r] \end{array} \right]$

Существенно наблюдать регулярные случаи и предсказуемые соответствия. Но этого недостаточно. Необходимо строить гипотезы о тех механизмах, которые здесь действуют. И это самое главное, жизненная часть того, что часто называется "объяснительной теорией". Поэтому следует искать удовлетворительное объяснение тем, по-видимому, родственным, но все же различным явлениям диссимилиации, которые имели место в обнаруженных нами фонологических последовательностях.

Начнем с **Indr(a)- + drās-* и **Indr(a)-dron-* (скр. *indra-dhanús* "радуга"). Ясно, что для получения прасунского результата необходима диссимилиация второго *d*:

**dr()-dr* > прасун **dr-r*.

Новый начальный *r-* стал затем продуктивным и распространился на все контексты, в которые могли войти "лук; дуга" и "виноградная гроздь" (цыган. *drak^c*, скр. *drākṣā*).

Установив это, мы видим, что для объяснения кати *indrḍ* и вайгали *indrūṅ* нет необходимости предполагать отдельную диссимилиацию или полную гаплогогию. Вместо этого мы предположим, что описанная выше простая диссимилиация **d* была общей для всех нуристанских языков, так что прасун разделит судьбу всей данной языковой ветви.

Таким образом, не было необходимости разрабатывать изолированную диссимилиацию для получения кати *indrḍ* и вайгали *indrūṅ*, эти формы являются непосредственным результатом упрощения составных групп, содержащих геминату:

**(n)dr̥r* > *(n)dr*.

¹ В принципе необходимо для начала устоять против искушения искать объяснение какого-либо языкового факта в заимствовании. Поскольку назначение языка — коммуникация, нам прежде всего следовало бы ожидать, что в истории слова должно анализироваться последовательное развитие, которое является результатом преемственности. И лишь после того, как мы исчерпаем приемлемые возможности подобного объяснения, можно признать источником какого-то слова заимствование — при условии установления надежного культурного обоснования.

Теперь, если мы свяжем кати *indrīṣṭ* "землетрясение" с *irus*, вайгали *irōs* (скр. *irāsa-* "страх, трепет", *trasa-* "передвижение"), применив реконструкцию **indr(a)-trasti-* (или нечто подобное), то можно пересмотреть нашу начальную формулировку, включив туда также диссимилиацию *-tr*:

**dr()-tr* > нуристаны **dr-r*.

Таким образом, здесь перед нами просто дентальная диссимилиация. Это непосредственно объясняет кати *indrīṣṭ* при использовании кати-вайгальского правила.

Теперь осталось объяснить только прасун. *witr'ū* (NB *tr!*). Помня свидетельство прасун. *u'us* < **trāsa-*, мы можем предположить, что унаследованный **indr(r)ōs-* (или под.) ранее существовал в протопрасунском. В это время еще было возможно установление семантической связи между **indr(r)ōs* и **irōs*. Таким образом была создана новая слитная форма **intr(r)ōs*. Теперь, после сказанного, представляется возможным, что в языке прасун **intr-* была принята как комбинированная форма для *Индры*. В любом случае, каковы бы ни были детали, на такой модели, как **intr(r)ōs*, в прасуне была создана новая форма для значения "радуга" на базе **rū* "лук": **intr(r)ū* > *witr'ū*, как показано в нашем исследовании.

Предложенное объяснение требует только одного умозрительного предположения для раннего прасунского (привлечение формы **irōs* или под.) в добавление к очень простому правилу дентальной диссимилиации, правилу, приложимому ко всем нуристанским языкам. Каждое предлагаемое историческое объяснение должно подлежать оценке в соответствии со своей реальной значимостью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Morgenstierne G.* The Language of the Prasun Kafirs // NTS. 1949. 15
2. *Morgenstierne G.* Some Kati myths and hymns // Acta Orientalia, ediderunt Societates Orientales Danica, Norvegica, Svecica. V. 21. Pt. 3. Copenhagen, 1951.
3. *Morgenstierne G.* The Waigali language // NTS. 1954. 17.

Перевела с английского Павлова Е.С.

© 1993 г. ТАТАРИШЦЕВ Б.И.

**ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЛИ ИСКОННАЯ ЛЕКСИКА?
(К проблеме древних слов иноязычного происхождения
в тюркских языках)***

10. В ситуации со словом **ködäč* мы, по всей вероятности, имеем дело практически с включением иноязычного, внешне сходного с тюркским по происхождению слова в число вариантов последнего в результате скрещивания исконных (первичных) и заимствованных (вторичных) форм.

В случае скрещивания появляется возможность представить гибридную форму как одну из исходных (как это было с вариантами праформы слова *ködäč*)²³, даже как единственно возможную исходную форму этимологизируемого слова. При отсутствии элементов скрещивания форм, т.е. при "прямом" включении заимствования в число вариантов слова, возникает вероятность (опасность) того, что все варианты (формы) будут сведены к одному, заимствованному, вторичному и, скорее всего, гетерогенному по отношению к остальным.

На наш взгляд, все указанные возможности представления "инородного" слова как праформы исконного реализуются в публикации И.Н. Шервашидзе.

В этом плане, в частности, вызывает сомнения исходная форма тюркского названия чугуна **čodīn*, которая возводится к ср.-кит. *čü-duŋ* "литая медь" [9, с. 61—62] (в то же время отвергаются другие "китайские" версии происхождения этого слова, принадлежащие М. Рясену и Г. Дёрферу).

Реконструкция данной праформы базируется фактически на единичной письменной фиксации слова в форме *čodīn* и со значением "медь" (словарь Махмуда Кангарского). Считается, что непосредственно к этой форме восходит современное название чугуна, существующее в ряде тюркских языков, в вариантах *čojīn* ~ *čojin* ~ *žojīn*, но вполне возможно, что изолированная форма *čodīn* есть не что иное, как результат контаминации тюрк. *čojīn* ~ *čojin* и ср.-кит. *čü-duŋ*.

Об этом свидетельствует, с одной стороны, соответствие конечных *-n* ~ *-ŋ* (подобные случаи уже комментировались нами) и сохранение широкого гласного

*Окончание. Начало см.: ВЯ, 1993, № 1.

²³ Подобное, возможно, имеет место и в случае **tamū(g)* "ад, преисподняя" [9, с. 77]. Это слово исследователи довольно единодушно относят к числу согдийских заимствований. Скорее всего, сближение слова с согд. *tam* "ад" также в определенной степени оправдано. Тем не менее у тюркского слова есть вариант с конечным *-g*, и этот компонент в свете предлагаемой этимологии неясен. Не яносит ясность в вопрос о его происхождении и И.Н. Шервашидзе, по мнению которого «конечный *-g(-y)* либо отражает иранскую суффиксацию (возможно, — ингредиент сложения **tamaka-ahū* "мрачный мир" в противоположность "светлому миру" — "раю"), либо развит на тюркской почве» [9, с. 72]. Первое объяснение по фонетическим причинам маловероятно. Если принять последний вариант объяснения, то остается непонятным, почему оказался "развит" этот конечный *-g* и что он собой представляет. Если признать его аффиксом (в чем едва ли могут быть сомнения), то *tamūg* структурно членимо и является производным именем. Кстати, существует и вариант *tamū-k*, соответствия которого зафиксированы как в памятниках, так и в современных тюркских языках.

Интересно отметить, что в основном именно у форм с конечными согласными, кроме "инфернального" значения, отмечена также семантика типа "глубокая яма", "погреб", "пещера" и т.п., появление которой трудно связать с иранским (согдийским) влиянием. Натяжкой было бы, пожалуй, считать указанную семантику результатом развития (первоначального) значения "ад". В этом случае, мы, скорее, сталкиваемся с совмещением заимствования *tamū* "ад" и ранее существовавших тюркских слов (образований на *-g* и *-k*), обозначающих углубления, глубокие полости и т.п.

[о] в первом слоге, а с другой — семантика слова, вероятно, отразившая китайское влияние²⁴, подобно тому, как интервокальный -δ- отразил кит. -d²⁵.

Здесь, как и в случае со словом *kōddāč, прослеживается лишь внешнее сходство с той ситуацией, когда в тюркских словах в действительности налично чередование согласных d(δ) ~ z ~ j: в собственно тюркском названии чугуна типа čojin существовал, по всей вероятности, только интервокальный -j-.

Это подтверждается и односложными вариантами вышеприведенного названия, характерными, в частности, для сибирских тюркских языков (čoj ~ čöj ~ šoj). Исходя из *čodīn, в тувинском языке следовало бы ожидать не šoj, а *šot. При этом -j в тув. šoj имеет назализованный характер (-j̄), что предполагает, в лучшем случае, исходный *-j [35, с. 299—301]. Ср. также саг., койбал. soj, совр. хаг. sojin "чугун". при ожидаемых соответственно *sos и *sozin.

По мнению Г. Дёрфера, разделяемого и И.Н. Шервашидзе, односложные формы — итог упрощения двусложного *čodīn > čojin, вызванного переосмыслением -in как посессивного аффикса 3 л. ед. ч.²⁶.

Едва ли, однако, можно уверенно говорить о таком, в духе народной этимологии, переосмыслении структуры слова, тем более что нельзя считать доказанным его иноязычное происхождение. А в этом случае ошибочно было исходить из первичности двусложных и вторичности односложных вариантов тюркского названия чугуна. В реальности исходными могли быть, напротив, как раз односложные варианты, из чего, естественно, и исходят другие исследователи (см., например [23, с. 131—132]).

При установлении этимологии указанного названия целесообразно учитывать то обстоятельство, что в ряде языков, как индоевропейских, так и "алтайских", отмечены наименования чугуна, связанные со словами, которые означают "лить", "литье", "литой" [34, с. 41—42]. Ср., к примеру, тур. dökme "литье, выплавка; разлитый, вылитый, отлитый, литой", dökme demir "чугун" (букв. "литое железо") < dök- "лить, выливать; сыпать; лить в форму, отливать"...

Семантика типа "лить" и под., судя по имеющимся данным, могла быть мотивирующей и в случае čoj ~ čojin ... "чугун". Можно допустить, в частности, существование в прошлом глагольной основы *čō- (čō-) > šō- "лить": ср. салар. čoy (< čō-y) "большая железная ложка" (в свою очередь, сопоставляемое с тур. coğlu "черпак с длинной ручкой; сачок рыбака") [17, с. 312]²⁷. Возможна и связь *čō- (*čō-) с чаг. čötmän (< čö-tmän) "необработанное железо", которое М. Ряснен под вопросом связывал с čoj, čöj "чугун" [42, с. 117]; здесь следует принять во внимание, что иногда этим словом обозначался не только собственно чугун, но и, судя по некоторым источникам, тот исходный продукт, из которого он производился: ср. в этом плане тел. čoj "чугун, железная руда" [15, III, стлб. 2003].

В тюркских языках существует также ряд слов, которые могут быть связаны с залоговыми или "распространенными" формами названных глагольных основ (хотя за это нельзя поручиться во всех нижеприводимых примерах): тур. çolun (рыбол.) "сетной ковш", кбалк. çolri "половник, поварешка", туркм. çolri "черпалка, черпак", др-тюрк. çorıç "большой сосуд для омовения", тур. çorui "водоем, бассейн, яма для стока дождевой воды, используемой для поливки

²⁴ И.Н. Шервашидзе, правда, полагает, что значение "медь" у čöbin Махмудом Кашгарским определено неточно [9, с. 61].

²⁵ Исходя из того, что выше было сказано о происхождении слова altun "золото", нельзя согласиться с утверждением И.Н. Шервашидзе о тождестве компонентов -din в čodīn и -tun в altun [9, с. 62].

²⁶ Точнее, -in представляет собой сочетание двух формантов: -i и -n, первый из которых является указанным посессивным аффиксом, а второй — аффиксом аккузатива.

²⁷ Ср. также башк. çur "минеральная вода, минеральный источник; плач растений, весенний плач (течение древесного сока весной из пораженных мест)".

овощей”, салар. *čoltoŋ* “пруд, бассейн во дворе”, кирг. *čordon* “место родника, где вода выходит из земли”, кбалк. *šorka* “ручей, поток; волна; водоворот, омут; водосточная труба”²⁸.

Среди “распространенных” глагольных основ — туркм. *čoy-* “литься через край; кипеть, бурлить, бить ключом”. С подобной основой, вероятно, следует связать вариант названия чугуна типа **čoyun*²⁹, который вызывает сомнение И.Н. Шервашидзе в качестве “старой самостоятельной основы” [9, с. 61].

Наконец, реально и существование варианта подобной глагольной основы **čoj-* (**čöj-*): ср. чулым.-тюрк. *šoj-γo* “черпак”. С ней соотносительно односложное название чугуна *čoj* ~ *čöj* ~ *šoj*, сохранившееся в своем первоначальном значении в немногих тюркских языках³⁰, и, по-видимому, производными от нее являются двусложные наименования этого вида типа **čojun*.

От той же основы, но с помощью инного форманта (-*gun*) образованы производные типа **čojgun*, которые сопоставляются, в частности, с алт., тел. *čojγon* “железный сосуд; чайник”, тел. *čöjgön* “чайник”, тар. *čöjgün* “железная бадья” [9, с. 61]³¹.

Г. Дёрфер объясняет появление формы названия типа **čojgun* как следствие контаминации **čödin* (> **čöjin*) и **čogun*. Оспаривая эту версию, И.Н. Шервашидзе, в свою очередь, считает появление формы **čojgun* результатом контаминации основ **čajgun* и **čöjin* (< **čödin*). **čajgun* же он относит к числу поздних китайских заимствований [9, с. 61, 62]³². Однако обе эти версии, с учетом ранее сказанного, выглядят излишними.

Кстати сказать, формы типа алт. *čojγon*, тел. *čöjgön* отражают, возможно, первоначальные формы **čojgan* ~ **čöjgen*, а не **čojgun* ~ **čöjgün*, или, иными словами, здесь можно говорить еще об одном морфологическом варианте названия чугуна: отглагольном образовании на -*gan* ~ -*gen*. Ср. также тур. *çöygen* “чугун” [46], гагауз. *čüven* (< **čügen?*) тж., каз. диал. *šöjgen* ~ *šögen* “чугунный рукомо́йник, чугу́нка” [23, с. 131], часть из которых — возможно, производные не от **čöj-*, а от **čö-* (*čüven*, *šögen*).

Реконструированная выше глагольная основа **čo-* ~ **čö-*, **čoj-* ~ **čöj-*, вероятно, гомогенна с распространенным в тюркских языках глаголом *čaj-* “подбрасывать”, *čüw-* “бросать, поднимать” и под. (ср. туркм. *čüwdür-* “лить струей”) [47], если в этом случае нет контаминации разных глагольных основ (со значениями “лить” и “бросать”)³³.

С *čüj-* ~ *čüw-*, очевидно, связано салар. *čöj-* ~ *čüj-* “бросать, оставлять; ставить, класть; сбрасывать, снимать (одежду, обувь)”; ср. также тур. *çöğ-* “приземляться, падать на землю (о чем-то брошенном)”, *çöğen-* диал. “поднимать голову, подниматься”. В свою очередь, вероятна связь подобных основ с существительным **čögän* “клюшка, ракетка”, трактуемым И.Н. Шервашидзе,

²⁸ Ср. также, в частности, караево-балкарские звукоподражательные слова типа *šork*, *šolp*, *šop*, обозначающие шум льющейся воды [45, с. 752], а также распространенное в тюркских языках слово *šor* или *šor šor* с подобной же семантикой.

²⁹ Впрочем, здесь вероятна и непосредственная связь с каз. глагольной основой *čo-*: *čoyun* в принципе членимо как **coy-un* и как *čo-yun*.

³⁰ В некоторых других тюркских языках односложный вариант этого названия сохранился только в составе устойчивых сочетаний вроде каз. *šoj kazan* “литой, чугу́нный, большой казан”. Вместе с тем, как полагает А.Т. Кайдаров, соответствия этого слова сохранились в отдельных языках с вторичной, преобразенной семантикой “массивный, крепкий, твердый” и под. [23, с. 131—132, 303].

³¹ Судя по материалу, его источником был словарь В.В. Радлова. Стоит отметить, что в нем даются переводы значений слов на русский и немецкий языки, которые не всегда совпадают. Так, тар. (= уйг.) *čojγon* переводится “железный кувшин”, а тел. *čojγon* — “чугунок” [15, III, стлб. 2003, 2033—2034].

³² Реальность основы **čajgun* в тюркских языках вызывает у нас сомнения: эти слова восстанавливаются, фактически исходя лишь из бар. *čajγun* “медный чайник”, особенности звукового облика которого В.В. Радлов, а вслед за ним Г. Дёрфер объясняют достаточно убедительно.

³³ Ср. также глагольную основу **čö-* “бить, ударять” ..., “дуть”, реконструированную на ином материале [23, с. 151].

вслед за другими, как заимствование из н.-перс. *čōgān, čaugān* тж. [9, с. 74]. Однако возникает вопрос, не имеет ли и в этом случае место контаминация тюркского и нетюркского по происхождению слов.

В начале данного раздела мы говорили о возможности "прямого" включения заимствования в число вариантов слова. Не исключено, что подобное имело место в случае **āb* "жилище, становище", возводимом Е.Д. Поливановым к ср.-кит. *'ip* (др.-кит. *'эр) "поселение, населенный пункт...", с чем соглашается и И.Н. Шервашидзе, говорящий о вероятности передачи кит. -р через -b [9, с. 56].

Вероятно, у тюркских форм типа *āb ~ āp* существуют точки соприкосновения с китайским словом, хотя сложно было бы конкретизировать, какие из них непосредственно связаны с последним. Однако есть определенная натяжка в возведении к нему или к праформе **āb* таких вариантов слова, как *ōv, ōj, ūj* (как это делает Шервашидзе), а также — *ōg*, скорее всего, гомогенного с вышеуказанными вариантами

Э.В. Севортян обратил внимание на то, что тюркские глагольные основы типа *ōvūr- ~ evūr-* "поворачивать, повертывать" «повторяют соответствующие формы для "дом", т.е. *eb ~ ev ~ öb ~ üv ~ ög* и т.д.), и высказал предположение о происхождении указанных основ от *eb/ev* "юрта, дом" [2, с. 499]. С этим предположением трудно согласиться, но рациональное зерно в рассуждениях Севортяна, бесспорно, имеется: приводимые глаголы и имена вполне могут быть гомогенными.

Глагол *ōvūr-* и, по-видимому, родственный с ним *egir-* (также означающий, в числе прочего, "поворачивать"³⁴) связаны с тюрк. *eg-* и под. "гнуть, сгибать", о чем говорилось еще Г. Вамбери, а затем В. Бангом (см. [2, с. 230]). В свою очередь, среди соответствий *eg-* имеются основы со значениями "плести" и "складывать" [2, с. 331], среди производных, считающихся родственными *ōvūr-* — тур. диал. *evūr* "шпелечная или конопляная скирда, сложенная шатром" [2, с. 499]; среди значений некоторых коррелятов глагола *egir-* и соотносительных с ними имен — соответственно значения "собирать в кучу", "место, куда сгоняют скот для отдыха" [2, с. 229].

В связи с этим небезынтересно мнение В.Г. Егорова, согласно которому «слово *yū, yū, ōj, ōg*, обозначавшее позднее "дом", первоначально имело значение глагола "собирать, складывать в кучу"» [48].

В семантико-типологическом плане вышеприводимые тюркские глаголы и имена можно сопоставить со значительным материалом и.-е. языков, где значение "дом" соотносится со значением "гнуть > плести > строить" (ср. также наличие родственных слов со значениями "куча" и "дом") [49].

Приводимые нами ранее данные, во всяком случае, свидетельствуют о наличии надежных исконно тюркских "корней" рассматриваемого названия дома (первоначально, вероятно, — жилья типа юрты или кибитки). Оговоримся, однако, что пока представляется сложным уверенно реконструировать праформу этого слова, для чего требуются дополнительные разыскания.

11. И.Н. Шервашидзе говорит об "обилии монголизмов" в современных тюркских языках, отмечая в то же время, что "в общетюркской лексике (во всяком случае, среди слов, зарегистрированных в письменных памятниках до XIII в.) монголизмы почти полностью отсутствуют" [9, с. 84]. Однако он все-таки предполагает, что "тщательные поиски позволили бы обнаружить некоторое количество ранних монголизмов в тюркском [9, с. 84, примеч. 37].

В принципе такая возможность не исключена, но приводимые исследователем примеры таких заимствований представляются небесспорными. Он, в частности, считает, что тюрк. **kīragu* "иной" (с XI в.) < монг. *kīragu(n)* тж и выражает несогласие с Г. Дёрфером и Дж. Клосоном, по мнению которых направление

³⁴ Как считает Э.В. Севортян, общность глагольных основ *ōvūr-* и *egir-* является результатом "лексико-семантического сращения" разных по происхождению слов [2, с. 229, 499], но это мнение нельзя считать доказанным.

заимствования в этом случае является обратным. Свою точку зрения автор аргументирует тем, что вероятной параллелью для монг. *kīrayu(n)* является тюрк. **kār* "снег" и что "тюрк. **kīragu* естественно рассматривать как вторичное заимствование из монгольского" [9, с. 84, примеч. 37].

Но **kīragu* — это только один, хотя и наиболее распространенный, из морфологических вариантов названия инея, изморози или сходных с ними природных явлений в тюркских языках: ср. хак. диал. *xīrig* "иней", тур. *kırç* "обильный иней", татар. *kīrpak* [*kar*] "пороша, первый снег", каз. *kīrbak* "пороша; снежная крупа" и под. Эти сопоставления вызывают сомнение в гомогенности **kār* и *kīrayu(n)* и, скорее, подтверждают мнение оппонентов И.Н. Шервашидзе о заимствовании монгольского слова из тюркских языков.

Слово **bāčīn* "обезьяна" отнесено "к числу несомненно заимствованных слов (разрядка наша. — Т.Б.) той группы, точное происхождение которых довольно трудно проследить" [9, с. 78]. Автор, вслед за Н. Поппе и Л. Лигети, считает, что "непосредственным источником тюркской формы может быть монг. *bečīn*," а последнее, вероятно, "восходит к **betin* (развитие *ti* > *či* характерно для монгольского, но отсутствует в тюркском)" [9, с. 78].

В конечном же счете Шервашидзе связывает происхождение названия обезьяны с и.-е. языками (с греческим или, с меньшей степенью вероятности, — с иранскими), признавая, однако, что в первом случае "не удастся преодолеть фонетические трудности, связанные с вокализмом", а "альтернативная иранская этимология... представляет еще бóльшие фонетические трудности..." [9, с. 78]³⁵.

Неясно, как в подобной ситуации можно говорить о "несомненно заимствованном слове", тем более что даже не предпринималось попытки установить его генуинную этимологию. Большую осмотрительность проявил Э.В. Севортьян, говоривший о вероятности нетюркского происхождения рассматриваемого слова, хотя им приводился более широкий и.-е. "фон", нежели в работе Шервашидзе. С Севортьяном можно согласиться и тогда, когда он резко ограничивает возможности проявления здесь монгольского влияния [14, с. 129] на слово, достаточно широко распространенное в тюркских языках, особенно в памятниках.

В принципе можно говорить о реальности существования у названия обезьяны варианта **betin*, что, в частности, подтверждается чаг. *pādin* "дикая обезьяна", приводимым и в словаре Э.В. Севортьяна, но не прокомментированным им [14, с. 128].

Считаем возможным связать этот вариант названия с глаголами якутского языка *bitij-* "топтаться на одном месте; прыгать; плясать, танцевать; парить, трепетать в воздухе (о птицах)" [50, стлб. 479] или, согласно другому источнику, — "плясать, топчась на одном месте" [51, с. 72], *bietej-* "мерно раскачиваться" или "раскачиваться (вися в воздухе)", *bietegne-* "вздвигаться на дыбы и при этом раскачиваться" [50, стлб. 458; 51, с. 73; 52]. Ср. также азерб. *bit-* "вращаться вокруг своей оси с быстротой, при которой получается впечатление неподвижности; плавно кружиться на месте" [14, с. 132], узб. *pitir pitir* "беспокойный, суебливый", *pitrak* "вертлявый, подвижный, живой", якут. диал. *bötöj-* "бежать галопом, идти вскачь (о лошади)" [44, с. 69], *böidöröŋ* "галоп", *böiös* "удалой, шустрый (о подростках и молодых людях)". Мотивировка названия обезьяны в связи с указанными действиями и признаками в целом ясна.

Вместе с тем едва ли можно уверенно утверждать, что форма **betin* (или **bitin*) была исходной для **bečīn* (~ **bāčīn*). Отметим, что в тюркских языках есть слова (в том числе и с образными основами), имеющие в своей форме и семантике точки соприкосновения; одни из них характеризуются *-t-*, а другие —

³⁵ Обстоятельный критический анализ иранских этимологических версий дает I. Дёрфер [4, II, с. 383].

интервокальными шипящими или свистящими щелевыми (возможно, аффрикатами): ср., в частности, *bez-* "дрожать" [14, с. 105], с которой, возможно, связаны кирг. (=каз.) *bezän* [*bezän bezän etti* "он бежал галопом", *bezändä-* "бежать скачками, прыжками (о зайцах)"] [15, IV, стлб. 1632], башк. диал. *bizgäklä-* "метаться от укусов мух (о животных)", *bizdäpnä-* "вести себя беспокойно" [53], кирг. *bezilde-* ~ *bezilde-* "проявлять сильное беспокойство; беспокойно метаться", кбалк. *mezgediü* в сочетании *mezgediü teke* "маска аксакала (персонажа народного театра в период сенокоса, надевающего маску из войлока и развлекающего косарей шутками, танцами и т.п.)" (первоначальное значение слова *teke* — "козел") [45, с. 43, 464, 617—618], (?) туркм. *beğiü* "быстро, скоро".

Наиболее распространенный вариант названия обезьяны в тюркских языках мог быть связан с глагольной основой подобного же типа, но содержащей в своем составе глухую аффрикату *č*: **bč(i)-* ~ **mč(i)-*. Последняя, судя по данным туркменского языка (*biğin, bijğin* "обезьяна") и некоторым другим (узб. диал. *beğin*), могла варьировать со звонкой аффрикатой *ğ*³⁶.

Первоначально слово, вероятно, не имело значения "обезьяна". Ср., например, тюменско-татар. *bicin* "злой дух", значение которого могло быть более древним по сравнению с первым: переход значений типа "злой дух" → "обезьяна" прослеживается, например, в телеут. *almîn* "леший, злой дух; обезьяна" [15, I, стлб. 439] < письм.-монг. *albin* "бес, злой дух".

В отдельных тюркских языках соответствия названию обезьяны имеют также семантику "рыба", "божья коровка", "водяной жук" и под.³⁷, связь которой со значением "обезьяна" Э.В. Севортян считает неясной и полагает, что в некоторых подобных случаях «скрыта народная этимология (ср. *мечин* ~ *межк* "насекомое", "козьявка")» [14, с. 128]³⁸. Это допустимо, но вполне вероятно, что в этих единичных значениях (как и в значении "злой дух" в том числе) "скрыта" и более старая семантика слова, обозначающего подвижных (прыгающих, плавающих, летающих) существ, реальных или мифических, из первичного окружения древних тюрков. Их названия затем были перенесены на новое для них, экзотическое животное — обезьяну.

Возможно, первоначально этот перенос наименования был связан с заимствованием тюрками у китайцев 12-летнего животного цикла (см. об этом [54]), девятый год которого носит название "года обезьяны".

Стоит отметить, что в публикации И.Н. Шервашидзе встречаются и более вероятные, нежели **bčin*, слова монгольского происхождения в тюркских языках, хотя такое их происхождение не всегда признается автором публикации. Это можно объяснить тем, что подобные монголизмы скорее всего являются поздними, появившимися в тюркских языках не ранее XIII в., а таковые И.Н. Шервашидзе не рассматриваются (см. [9, с. 54, примеч. 1]).

Чаще всего они (в конечном счете) являются весьма вероятными китаизмами, но попавшими в современные тюркские языки, вероятно, через посредство

³⁶ Исходя из имеющихся данных, едва ли можно принять тот вариант праформы слова (**bčin*), который приводится в [9, с. 78]. Так, "гласный первого слога неустойчив — и ~ е, но в большинстве памятников его читают как и..." [14, с. 128]. Поэтому скорее этим гласным был не *ä*, а *i* или *e*. "Первичная" долгота его также проблематична. По мнению Э.В. Севортяна, "звонкая аффриката... в туркменском образовалась, вероятно, под влиянием -ж-" [14, с. 128], но здесь не исключено и обратное влияние. Что касается алт., тел. *mčin* (по материалам Радлова и Будагова), приводимого в той же работе Э.В. Севортяна в обоснование первичности долгого гласного, то в нем долгота, вероятно, вторична и представляет собой типичный для тюркских языков Южной Сибири случай удлинения широкого гласного первого слога перед последующим узким гласным.

³⁷ Нет ли также связи с рассматриваемым словом у татар. *mäci* "кошка", карачм. *maci* ~ *mači* ~ *meč* "кот, кошка", по форме заметно отличающихся от таких распространенных в тюркских языках названий этого животного, как др.-тюрк. *muš, miškic*, каз. *müsk*, вост.-тюрк. *mişik*, уйг. *mäsük* и т.д.

³⁸ Кроме того, в основе приведенных наименований могут быть сходные по форме, хотя и не обязательно гомогенные, дескриптивные (образные) слова.

монгольских, которые, таким образом, явились непосредственными источниками подобных слов в тюркских языках.

Эти слова, правда, встречаются в древнетюркских памятниках (как правило, не ранее XI в. и частично, возможно, на правах окказионализмов), но в современных тюркских они получили слабое распространение, ограничиваясь языками Сибири, отчасти казахским и среднеазиатскими тюркскими языками, где монгольское влияние заметно ощутимо, хотя и в разной степени.

Наличие подобных слов в памятниках и в современных тюркских языках, таким образом, не всегда есть свидетельство их единого происхождения, поскольку их непосредственные источники могут быть различны.

К числу подобных слов, вероятно, принадлежал китаизм **bakši* (**bagši*) "учитель, наставник", относительно которого И.Н. Шервашидзе, однако, отмечает как заслуживающее внимания указание Дж. Клосона "на то, что реально слово отсутствует в тюркских источниках с IX по XIV в., а потому современные формы... могут не отражать непосредственно древнетюркскую форму, но представлять собой заимствования из монг. *bayši*..." [9, с. 57].

В случае **bur-qaṅ* (**bur-qan*) "Будда", судя по ареалу его распространения в современных тюркских языках и по общемонгольскому характеру его ближайшего соответствия (типа письм.-монг. *burqaṅ* и проч.), перед нами явный монголизм в этих языках, но возможность такой этимологии не рассматривается [9, с. 59—60], как и в случае **lū* "дракон" [9, с. 67]. Последнее, судя по ареалу и современным формам, несколько отличным от древнетюркских (древнеуйгурских), может быть связано с монгольским источником [2, с. 591]¹⁹.

Слово **tajši* "старший наставник; знатный человек", представленное в др.-уйг. текстах, как предполагается, сохранено в тувинском — *tajži, taži* "дворянин, царевич" [9, с. 68], но в примеч. 18 на той же странице говорится уже о возможности того, что "приведенная... тувинская форма... на самом деле заимствована из монгольского" (это уже ближе к истине).

Сходная ситуация — с **tojin* "(буддийский) монах" [9, с. 68], сохранившимся только в якут. *tojon* "господин, хозяин, начальник". Автор оспаривает мнение Дж. Клосона, истолковавшего якутское слово как монгольское заимствование, и считает, что "для такого предположения... как будто бы нет оснований..." [9, с. 68, примеч. 19].

На самом же деле якут. *tojon* по форме фактически одинаково близко как к тюрк. **tojin*, так и к монг. (в частности, письм.-монг.) *tojin*, а по семантике оно определено ближе к последнему, означающему, в частности, "буддийский монах благородного происхождения, сын нойона или тайджия" [55]; ср. совр. монг. *tojin* "лама, монах из дворян" [56].

В связи со сказанным нам вообще представляется неоправданным расширение понятия "общетюркский", отмечающееся в статье И.Н. Шервашидзе, где, в частности, общетюркской считается "всякая лексика, засвидетельствованная в древнетюркских письменных памятниках не позднее XI в. ...и при этом представленная хотя бы в нескольких современных тюркских языках" [9, с. 54].

Э.В. Севортян под термином "общетюркский" понимал первоначально "языковой факт, отмеченный во всех живых тюркских языках и сохранившийся в памятниках" [57]. Затем в это понимание были внесены коррективы, и, например, под общетюркскими основами стали подразумеваться основы, которые представлены во всех ареальных (классификационных) группах тюркских языков [2, с. 25]. В научном обиходе как общетюркские воспринимаются языковые факты, встречающиеся в большинстве тюркских языков [12, с. 70].

То чрезмерно расширенное понимание термина "общетюркский", что было

¹⁹ Кстати, И.Н. Шервашидзе склоняется к тому, чтобы предпочесть для этого слова тибетоязычный источник. Но контакты с подобными источниками характерны в большей степени для носителей монгольских, нежели тюркских языков.

принято И.Н. Шервашидзе, позволяет ему увеличить численность предполагаемых заимствований в тюркских языках, но далеко не все из этих слов можно считать общетюркскими в принятом значении данного термина.

Кроме того, расширительная трактовка термина увеличивает возможность привлечения случайных языковых фактов, в частности «окаzionaliальных» заимствований в древнетюркском, не сохранившихся в современных языках», каковые автор полагал необходимым исключить из рассмотрения в своей публикации [9, с. 54].

Думается, однако, что суть дела в принципе не меняется и в том случае, если иноязычные заимствования в древнетюркских памятниках имеют соответствия в нескольких современных тюркских языках. Как можно было убедиться, исходя из ряда примеров, рассмотренных выше в данном разделе, непосредственные источники подобных слов в памятниках древнетюркского языка (или языков), с одной стороны, и современных языках, — с другой, могут оказаться различными.

Нужно также отметить, что некоторые конкретные слова, включаемые И.Н. Шервашидзе в число общетюркских (например, **tajši* и **tojin*, о которых шла речь выше), не соответствуют и тому пониманию термина "общетюркский", которое принято в статье автора, поскольку отмечены не в нескольких, а лишь в единичных современных тюркских языках⁴⁰.

12. Нашу публикацию хотелось бы завершить обзором ряда других слов, относимых И.Н. Шервашидзе (и часто другими исследователями) к числу заимствований. Мы ограничиваемся обзором, поскольку, во-первых, связаны объемом статьи, а во-вторых, в некоторых случаях о происхождении слов было уже сказано достаточно подробно в других работах (опубликованных или находящихся в печати).

а) Среди предполагаемых китаизмов определенные сомнения вызывает **bāngu* "вечный" [9, с. 58] (в том числе и своим "несингармоничным" обликом). В частности, оно членимо, или по крайней мере можно говорить об односложной форме *meŋ* "вечный" (в тюркском переводе Гулистан'а Са'ди, на что обращал внимание Э.В. Севортян) [14, с. 114]; ср. также др.-тюрк. *meŋlāp* "вечно, навечно; всегда" [28, с.343], где явно выделяется та же основа *meŋ* (< *meŋ-lä-p*).

Слово **ka* "семья; родственники" [9, с. 66] в такой форме и с такой семантикой реально не отмечается. Как констатирует И.Н. Шервашидзе, в памятниках оно употребляется только как компонент слов *qadaš* и *qa qadaš* // *qayadaš* "родственники" и др.⁴¹, а в современных языках распространено слабо (ср. тув. *ха* "старший брат"). Считается, что **ka* восходит к ср.-кит. *ka* "семья, семейство; род; родня, родственники". Но, думается, не исключена связь с др.-тюрк. глагольной основой *ka-* "соединять; скаладывать (вместе)". Китайская версия вместе с тем не позволяет разъяснить, по-видимому, связанное с **ka* другое др.-тюрк. слово — *kab* ~ *kap* "близкий, кровный родственник" [28, с. 399, 420] и некоторые другие связываемые с ним термины родства [58].

⁴⁰ Отступлением от принятого И.Н. Шервашидзе понимания термина "общетюркский" является и выдвигаемое им положение, согласно которому "в отдельных случаях иноязычное слово может оказаться общетюркским и при отсутствии древнеписьменной фиксации" [9, с. 54]. Это положение реализуется во включении в список заимствований и.-с. происхождения нескольких слов, не отмеченных в древнетюркских памятниках [9, с. 83—84]. Относительно подобных случаев сказано: "Отсутствие ряда... индоевропейцев в старописьменных памятниках... может объясняться либо поздним заимствованием, либо, что вероятнее, проникновением их только в периферийную, древнетюркскую диалектную зону" [9, с. 84]. Однако предпочтение, отдаваемое именно этой, последней версии объяснения, не выглядит достаточно убедительным. Объявляя все эти или подобные им случаи древними (= ранними) заимствованиями, мы рискуем искусственно "удревить" слова относительно позднего происхождения.

⁴¹ См., однако, самостоятельное употребление *ka* "родич; родственник" в древнеуйгурском источнике [31, с. 352].

б) Среди предполагаемых иранизмов фигурирует название волка (**bōri*) [9, с. 72—73]. Однако применительно к нему иранская версия выглядит неубедительно, и ее считают сомнительной из-за фонетических трудностей не только Г. Дёрфер (что упоминается И.Н. Шервашидзе), но и Э.В. Сечурган [14, с. 221]. К тому же определенный вклад в разрушение этой версии вносит и сам автор, отвергающий мнение о единстве этого названия в иранских языках и не высказывающий возражения против предположения о тюркском происхождении осет. *bīræy* // *beræy*, с которым чаще всего сопоставляется тюрк. **bōri*.

Это слово вполне могло быть исключено из публикации, так как никакой уверенности в его иранском происхождении у автора нет, и, как он пишет, "этимология слова весьма проблематична" [9, с. 72]. В конечном счете неясно, почему вообще данное слово относится к числу заимствованных. Нам представляется наиболее вероятным его тюркское происхождение, но это — тема особой публикации.

Слово **jāk* "демон, злой дух" И.Н. Шервашидзе, вслед за некоторыми другими исследователями, возводит к пали *yakkho*, пракр. *yakkha*- "демон" через иранское посредство, но "многое здесь... остается неясным... прежде всего неизвестен язык-посредник..."⁴². Вместе с тем и "альтернативная теория В. Банга" и других тюркологов о производности *jāk* от *jā-* "есть" (т.е. "обжора") оценивается как "менее приемлемая" (по фонетическим основаниям) [9, с. 75].

В реальности же обе эти версии выглядят сомнительными, но скорее по семантическим и структурным причинам. Следует обратить внимание, что у соответствий слова **jāk* распространена семантика типа "отвратительный, ненавистный, противный, вредный, плохой" [38, с. 170], которая, возможно, является исходной и которая подтверждается значениями производных слов, в частности глаголом типа *jāksin-* "чувствовать отвращение; брезговать, ненавидеть" [38, с. 171].

С **jāk*, вероятно, связана и глагольная основа *jekir-* "чувствовать презрение; ненавидеть" [38, с. 173—174]. Не исключена, как мы полагаем, и его гомогенность с глаголом *jer-* "иметь отвращение, брезговать" [38, с. 193]. В случае с *jekir-* высказана точка зрения о его производящей основе **jek* имитативного происхождения, с которой может быть связано и **jāk*. Последнее (в значении "демон") может быть также результатом контаминации тюрк. **jek* и иноязычного слова (например, скр. *yakṣa-* "сверхъестественное существо, дух", фигурирующего в древнетюркских памятниках в качестве прямого заимствования [28, с. 227]).

в) В разделе "Заимствования из неиранских индоевропейских языков" заметную группу составляют предполагаемые тохарские заимствования (тохаризмы), главным образом такие, которые характерны для древнетюркских памятников, но не сохранились в современных языках. В то же время И.Н. Шервашидзе констатирует, что "для рассуждений об активном влиянии тохарского на тюркский еще нет достаточных оснований — тохаризмов в общетюркском, несомненно, значительно меньше, чем китаизмов и иранизмов" [9, с. 80].

В публикации приводятся четыре таких "тохаризма": **jāgirmi* "двадцать", **kūnci* "кунжут", **tōr* "почетное место, место против входа", **tūmān* (// **tuman*) "десять тысяч", из которых три вызывают сомнение.

В двух случаях автор фактически ограничивается тем, что приводит предположения А. Рона-Таша о том, что источником тюркских слов являются тохарские. В частности, **jāgi-rmi* "двадцать" возводится к ток. В *ikām* [wiki] "двадцать". Шервашидзе, однако, не вполне уверен в надежности этой этимологии, поскольку "тохарская форма не может... объяснить наличие -r- в тюркском..." [9, с. 79]. Но между тюркским и тохарским словом существуют и другие формальные

⁴² Дж. Клосон допускает здесь посредничество согдийского или китайского языков [24, с. 910], но не приводит подтверждения этому.

различия: например, одно является трехсложным, а другое — двусложно. Требуя, наконец, объяснения и начальный *j*-, а также соноризация интервокального *-k-*. Как отмечается в одной из последних публикаций относительно происхождения тюркского числительного, его этимология пока не выяснена [38, с. 202]. Однако и тохарская версия не вносит ясности в эту проблему.

В принципе то же следует сказать и о случае с **tör* < тох. В *twere* "дверь" [9, с. 80], который И.Н. Шервашидзе никак не комментируется и который, похоже, не вызывает у него сомнений, хотя это сопоставление выглядит произвольным как с фонетической, так и со смысловой стороны. Возникает вопрос, не относится ли оно (как, возможно, и предыдущее слово) к тем тюркско-тохарским сопоставлениям А. Рона-Таша, от которых затем отказался он сам (о чем уже упоминалось в начале нашей публикации).

Возможно, **tor* — все-таки тюркское по происхождению слово, которое первоначально могло означать возвышение (возвышенное место), о чем свидетельствуют, например, кирг. *tör*, означающее не только "почетное место", но и "высокогорное пастбище", и ног. *tör* со значениями "красный угол, почетное место (в глубине комнаты)" и "убранная, постланная постель".

В отличие от **jägirmi* и **tör*, сопоставление тюрк. **tümän* с тох. А *tmän*, тох. В *tmäne*, *tumane* "десять тысяч" [9, с. 80], источник которого, как отмечалось, обычно ищут в иранских языках, вошло в справочные издания, хотя это сопоставление "все еще нуждается в систематическом изучении всех связанных друг с другом форм" [8, с. 101].

По мнению И.Н. Шервашидзе, «тохарское слово, по-видимому, имеет довольно надежную индоевропейскую этимологию — и.-е. **teu-* "толстеть"...», с которым сопоставляется несколько реальных и реконструированных форм конкретных и.-е. языков [9, с. 80, примеч. 32], из которых тюрк. **tümän* (**tuman*) более близки латинская и греческая формы.

Трудно судить в полном объеме, насколько действительно надежна предлагаемая этимология, тем более что она не носит развернутого характера. Однако нами в недавней публикации была предложена собственно тюркская версия происхождения числительного **tümän* [59], каковое, как нам теперь представляется, может быть истолковано в качестве одного из тюркизмов тохарского языка, реальность которых, как уже говорилось, допускается, в частности, Вяч. Вс. Ивановым.

Другая из наших, более ранних публикаций [60] посвящена происхождению слова **täpři* "небо; бог", также входящего в рассматриваемый раздел статьи И.Н. Шервашидзе. Мы считаем, что его версия, согласно которой "тюрк. **täpři* может восходить к и.-е. теониму **iHyeu-* / **iHyer-* [с анаграмматическими перестройками]..." [9, с. 83; см. также 61], не колеблет этимологии, предложенной в свое время нами.

В этом разделе помещены также слова **baltu* (**balta*) "топор; секира" и *balqa* ~ *balqa* и др. "молот, молоток" [9, с. 81—82, 83]. И.Н. Шервашидзе прав, считая, что второе из них "восходит к той же основе, что и тюрк. **baltu*", но с ним и его предшественниками трудно согласиться в том, что эти слова восходят к и.-е. слову (**peleku-*) семитского происхождения, хотя непосредственный их источник неизвестен. Ранее (в частности, К. Менгесом) эти слова истолковывались как древнемесопотамские заимствования. Нами предпринимается также попытка предложить тюркскую этимологию двух указанных слов [25, с. 147—148].

Тюрк. **alma* "яблоко" издавна считается и.-е. заимствованием, которое связывалось с санскритом [2, с. 138; 62, с. 161], а в последние годы выводится из "древнеиндоевропейского" **amlu* "яблоко", что фонетически маловероятно. По мнению И.Н. Шервашидзе, "предположение о европейском источнике тюркских форм представляется необязательным", хотя в то же время "как (индо-)иранизм в тюркском квалифицировать слово, конечно, нельзя..." [9, с. 81].

Как и в некоторых других подобных случаях, возникает вопрос о причинах, по которым слово вообще считается заимствованием. В принципе форма **alma*,

как нам представляется, подобно слову **altun*, о котором говорилось выше, может быть связана с основой *al* "красный; румяный", или вернее, с образованным от нее глаголом **ali-* "краснеть". В связи с этим отметим, что у Э.В. Севорьяна были определенные основания предполагать, что "старше формы *алма*, по-видимому, *алима* (возможно, с долготой начального *a*), как она представлена в саларском, куда перешла из монгольского" [2, с. 138]⁴³. В свою очередь, монг. (письм.-монг.) *alim-a*, вероятно, восходит к тюрк. *alīma*.

Но загадочными остаются др.-тюрк. варианты названия яблока *alīmla*, *almīla*⁴⁴, характер отношений которых к общетюркскому *alma* неясен. В частности, трудно утверждать со всей уверенностью, что эти варианты гомогенны с *alma*. Природа их отличий от него нуждается в уточнении. Возможно, именно формы *alīmla* ~ *almīla* являются заимствованными. Во всяком случае, они ближе к **amilan*, восстанавливаемой А. Йоки и, по его мнению, представляющей собой праформу общекультурного слова, возникшего в районах Гиндукуша — Таджикистана и оттуда перешедшего, в частности, к тюркам (см. [62, с. 162—163]). Не исключено также, что *alīmla* ~ *almīla* возникли в результате контаминации форм типа *alma* и **amilan*.

Тюркская глагольная основа **sūci-* "быть сладким" объясняется (в частности М. Рясняном и Г. Рамstedтом) как производное от *sūt* "молоко" (< *sūt-si-*), но И.Н. Шервашидзе такое сближение кажется "довольно натянутым" в семантическом плане [9, с. 82]. Он согласен, что **sūci-* могло восходить к форме **sūt-si-* (или **sūt-ši-*), которая сравнивается с и.-е. **syāt-* "сладкий" и, в частности, с и.-е. основой с конечным -*s* (представленной в др.-инд. и др.-греч.). Последняя, как предполагается, и послужила базой для тюркской формы. Конкретный язык-источник, как и в ряде других случаев, остается неизвестным.

Следует сказать, что в обеих версиях присутствует определенная фонетическая неясность, связанная с природой аффрикаты -*č-*: и в том, и в другом случае остается неясным, как она возникла. Сомнительно рассматривать -*č-* как результат сложения **sūt-si-*, а альтернативная ей форма **sūt-ši-* в свою очередь нуждается в разъяснениях. В случае индоевропейской версии возникают и другие проблемы фонетического характера (связанные, в частности, с вокализмом).

Думается также, что возможности объяснения происхождения тюрк. **sūci-*, исходя из данных тюркских языков, пока не исчерпаны. В частности, этимология слова **sūt* "молоко", а значит, его исходная семантика и структура еще неизвестны, и, следовательно, преждевременно отвергать его связь с **sūci-*, хотя едва ли можно представлять последнее как производное от **sūt*.

г) Последний раздел публикации И.Н. Шервашидзе, носящий название "Займствования из прочих языков", включает в основном слова, источниками которых считаются уральские языки. Таких случаев всего четыре (названия объектов фауны и флоры), и в основном они вызывают замечания и возражения.

Характер тюркско-уральских языковых контактов во многом остается неясным, и проблемой является сама гомогенность сопоставляемых слов⁴⁵. Но даже если согласиться, что они действительно имеют общее происхождение, то направление заимствования нуждается в дополнительном обосновании. Это констатирует сам

⁴³ Возможно, по первоначальной семантике **al(ṭ)ma* было близко к *al* ("красный, румяный, рыжий" и т.п.), и эта семантика реализовалась в составе таких наименований, как туркм. *almabaş* "нырок красноголовый", тур. *almabaş* "чом а", узб. *almabâş* "нырок красноносый" (букв. "красная голова?") (если эти наименования не восходят к сравнительным конструкциям с *alma* "яблоко", что также вероятно), а также узб. *almachân* "белка". Этимология последнего, кажется, неясна. См. [63].

⁴⁴ Такая форма отмечена также в языке халаджей: см., в частности [62, с. 161]

⁴⁵ Это следует сказать не только о материале, содержащемся в [9], но и о других предполагаемых заимствованиях из уральских языков в тюркской лексике (в частности, анатомической) [13, с. 210 и сл.], которые могут быть предметом специального анализа.

автор в случае тюрк. **kundur'* (*kunduz*) "бобр", которое обычно сопоставляется с угорскими формами типа хант. *χundil* "крот", манс. *χont'eŋ* "бобр". Это сопоставление И.Н. Шервашидзе представляется "вполне надежным", а "критика Г. Дёрфера... кажется неоправданной" [9, с. 85], что, однако, не подкреплено никакими аргументами и остается не более чем субъективным высказыванием.

Даже если принять за первичную форму ту, которая характеризуется ротацизмом (**kundur'*), все равно нуждается в разъяснении появление -r' на месте -l. Если же первичным считать "сигматический" вариант *kunduz* (что мы полагаем более обоснованным), то сопоставление тюркских и уральских форм едва ли может привести к выводу о возведении одной из них к другой (в частности, тюркской к уральской).

Сходная ситуация наблюдается и со словом **kilš* (**kil'*) "соболь", по поводу происхождения которого существуют весьма разноречивые суждения. И.Н. Шервашидзе считает "вполне надежной" версию о заимствовании слова из самодийского источника (сельк. *ši*, камас. *šili* < самод. **kili*) и замечает, что "менее вероятно... обратное направление заимствования, предполагаемое А. Йоки" [9, с. 85], и не только им (см. [64]). Упоминается также о критике Г. Дёрфером данного тюркско-самодийского сближения.

Так или иначе, мнение о надежности версии самодийского происхождения приводимого выше тюркского названия соболя выглядит преувеличенным: в частности, вызывает сомнение первичность формы с ламбдаизмом (**kil'*). Не случайно, что и в последующих исследованиях об этом слове говорится как об одном из вероятных самодийских заимствований в тюркских языках [65] или же направление заимствования здесь четко не определяется [66].

Применительно к слову **däjin* (> *täjin*) "белка" И.Н. Шервашидзе воспроизводит мнение М. Рясянена, выводящего тюркское слово из финно-угорского [9, с. 85], но практически ограничившегося лишь его сопоставлением с хант. *tapčë* "белка; копейка", манс. *lein* "белка; деньги" [42, с. 470]. Обоснований заимствования не приводится, и оно остается недоказанным. Автор также оспаривает мнение М. Рясянена о связи *täjin* с др.-тюрк. *tägin* "соболь", с чем едва ли следует согласиться (см. также [16, с. 180—181; 67]).

Попытку дать собственно тюркскую этимологию тюркского названия белки см. в нашей публикации [68].

Предпринимая эту работу, мы имели в виду побудить читателя к иному взгляду на целый ряд слов тюркских языков, считающихся (и притом в значительной части традиционно) заимствованиями, не претендуя в то же время на полный анализ всех относимых к их числу лексем. Тем не менее большинство приводимых в основной публикации И.Н. Шервашидзе [9] и относимых им к общетюркским (и вместе с тем к древним) слов порождает в этом плане сомнения и вопросы, а к части из них предлагаются альтернативные (генуинные) этимологии.

Предметом специального рассмотрения должна стать тюркская титулатура, происхождение которой анализируется в основном в другой публикации И.Н. Шервашидзе [10]. Лишь отдельные титулы включены им в число общетюркских слов (например, **bäg* "правитель, вождь, бек" [9, с. 57—58]). Но, думается, рассматриваемым автором титулам (исключая те, что зафиксированы только в древнетюркских памятниках) имеет смысл уделить внимание в одной общей работе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

45. Карачаево-балкарско-русский словарь. М., 1989.
46. Турецко-русский словарь. М., 1945. С. 126.
47. Левитская Л.С. Кумыкские этимологии // Тюркологические исследования. М., 1976. С. 133—134.

48. *Егоров В.Г.* Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964. С. 21.
49. *Маковский М.М.* Удивительный мир слов и значений. Иллюзии и парадоксы в лексике и семантике. М., 1989. С. 89.
50. *Пекарский Э.К.* Словарь якутского языка. Т. I. [М.], 1958.
51. Якутско-русский словарь. М., 1972.
52. *Харитонов Л.Н.* Типы глагольной основы в якутском языке. М.: Л., 1954. С. 286
53. Башкорт һөйләштәренә һүҙләге. I. III. Өфө, 1987. Б. 34.
54. *Базен Л.* Концепция возраста у древних тюркских народов // Зарубежная тюркология. Вып. 1: Древние тюркские языки и литературы. М., 1986. С. 370.
55. *Владимирцов Б.Я.* Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия. М., 1989. С. 284.
56. Монгол орос толь. М., 1957. С. 405.
57. *Севортян Э.В.* О содержании термина "общетюркский" // СТ. № 2. С. 4.
58. *Покровская Л.А.* Термины родства в тюркских языках // Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 1961. С. 72.
59. *Татаринцев Б.И.* Происхождение этнонима *тона* ~ *туба* ~ *тыва* и некоторых других сходных с ним наименований // СТ. 1990. № 2. С. 81—82.
60. *Татаринцев Б.И.* О происхождении тюркского наименования неба (*täpqi* и его соответствия) // СТ. 1984. № 4.
61. *Шервашидзе И.Н.* Об одном древнем миграционном термине // Историко-культурные контакты народов алтайской языковой общности: Тез. докл. XXX сессии Постоянной международной алтаистической конференции. II: Лингвистика. М., 1986.
62. *Дмитриева Л.В.* Из этимологии названий растений в тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языках // Исследования в области этимологии алтайских языков. Л., 1979.
63. *Щербак А.М.* Названия домашних и диких животных в тюркских языках // Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 1961. С. 143.
64. *Лигети Л.* К вопросу об "алтайских" элементах венгерского языка // Исследования венгерских ученых по чувашскому языку. Чебоксары, 1985. С. 115.
65. *Хелимский Е.А.* Ранние этапы этногенеза и этнической истории самодийцев в свете языковых данных // Проблемы этногенеза и этнической истории самодийских народов: Тез. докл. областной научн. конф. по лингвистике. Омск, 1983. С. 7.
66. *Yanhunen Y.* Samojed-altaic contacts — present state of research // Altaica: Proc. of the 19th annual meeting of the Permanent International Altaic Conference. Helsinki, 1977. P. 126.
67. *Старостин С.А.* Алтайская проблема и происхождение японского языка. М., 1991. С. 14, 121.
68. *Татаринцев Б.И.* О специфике семантической реконструкции в условиях отдаленности значений многозначных слов // СТ. 1988. № 1. С. 24—25

© 1993 г. МАРОВИЧ Р.

**НЕОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
И ИХ СЕРБСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ**

(О соотношении сопоставительной лингвистики и теории перевода)

Сопоставительное изучение иностранного и родного языков, т.е. сопоставление двух языковых систем на синхронном уровне, исключительно важно для теории перевода. Сопоставительный метод предполагает установление функционально-смысловых эквивалентов с помощью одинаковых или различных грамматических категорий. При этом исходным может быть как иностранный, так и родной язык. В первом случае сопоставительное изучение является базой для теории и практики перевода с иностранного языка на родной, а во втором — с родного на иностранный. В данной статье будет показано соотношение сопоставительного метода изучения двух языков и теории и практики перевода с одного языка на другой на примере перевода русских неопределенно-личных предложений на сербский язык¹.

1. Неопределенно-личные предложения — это предложения без подлежащего. Роль сказуемого выполняет глагол в 3 л. мн. числа: *Строят новый завод*. Поскольку в русском языке во мн. числе прошедшего времени глагола не различается лицо, для всех лиц выступает единая форма: *Принесли письмо*.

В академических грамматиках русского языка неопределенно-личные предложения определяются по-разному. В самой ранней из них, под ред. В.В. Виноградова и Е.С. Истриной, говорится о том, что сказуемое этих предложений "обозначает действие, совершаемое неопределенными лицами" [1, с. 5]. Далее указывается, что в неопределенно-личных предложениях "обозначаемое глаголом действие обычно относится к неопределенному множеству лиц. Но иногда в неопределенно-личных предложениях форма множественного числа относится не ко многим, а к одному неопределенному лицу" и что в этих предложениях "лица могут быть не названы потому, что они известны собеседникам" [1, с. 6]. А в примечании сказано: "некоторые предложения, являясь по форме неопределенно-личными, обозначают действие одного определенного, конкретного лица. Такое значение неопределенно-личного предложения выясняется из последующего предложения или из более широкого контекста" [1, с. 7].

В следующей грамматике, изданной в одном томе под ред. Н.Ю. Шведовой, неопределенно-личные предложения ("структурная схема Vf_{3p} ") определяются как предложения, которые "обозначают действие неопределенно мыслимого лица" [2]. Примеры, которые предшествуют этому определению и иллюстрируют его, могут означать "действие лица, мыслимого как неопределенное". Наиболее типичные семантические реализации подобных предложений:

Стучат.
Идут.

— *Неко куца* (одно лицо).
— *Иде* (одно лицо).
— *Иду* (несколько лиц).

Звонят.

— *Неко звони. Неко телефонира*
(одно лицо).

Тебя спрашивают.

— *Тебе питам.*

¹ От редакции. Автор употребляет термин "сербский язык" вместо "сербскохорватский язык".

— *Напољу неко галами* (слышится один голос).

— *Напољу неко галами* (слышится несколько голосов).

Когда мы впервые писали о неопределенно-личных предложениях и о проблемах их перевода, то подчеркивали, что ни одно из двух вышеприведенных определений не является вполне точным и не охватывает все реализации предложений этого типа. Первое определение ("означают действие, совершаемое неопределенными лицами") не охватывает случаи, когда действие производит одно неопределенное лицо (такие случаи потом приводятся как исключения), а второе ("обозначают действие неопределенно мыслимого лица") — те случаи, когда действие производится несколькими неопределенными лицами. За рамками этих определений остаются и те предложения, в которых субъект действия — определенное, конкретное лицо. Поэтому мы использовали тогда следующее рабочее определение: "Неопределенно-личные предложения — это такие предложения, в которых не назван субъект действия, так как он неизвестен, неопределен, обобщен или определен и известен, но отодвинут на второй план, чтобы подчеркнуть действие как таковое" [3].

Несмотря на некоторые недостаточно аргументированные критические замечания², наша коррекция определений неопределенно-личных предложений в академических грамматиках оказалась оправданной. Лучшим доказательством научной оправданности критики обоих определений, а также введения рабочего определения является новейшая грамматика АН СССР (1980 г.), в которой, как и в грамматике 1970 г., автором главы о неопределенно-личных предложениях, а также ответственным редактором является Н.Ю. Шведова. Семантическая структура неопределенно-личных предложений ("однокомпонентные предложения типа *Стучат; Зовут*") на этот раз описана гораздо детальнее и точнее:

«Семантика схемы — "наличие отнесенного к неопределенному субъекту действия или процессуального состояния". Это значение конкретизируется в предложении. Специфика субъекта здесь состоит в том, что это или "вообще всякий, любой", или "кто-то (некто)", или "некоторые". Поэтому такие предложения называются неопределенно-личными. Характер субъекта выясняется из контекста. Кроме того, в условиях конституации неопределенность субъекта может сниматься и субъект может мыслиться говорящим как вполне определенный, данный (например, в сообщении о приходе того, кого ожидают: *Пришли*)» [6].

Если сравнить наше рабочее определение с процитированным фрагментом новейшей академической грамматики, становится ясно, что все наши замечания, высказанные в 1976 г., в основном учтены в развернутом определении "Русской грамматики" 1980 г.:

1) вместо понятия "неопределенно мыслимое лицо" (относящегося к ед. числу) вводится понятие "неопределенный субъект действия или процессуального состояния" (относящегося и к ед. и ко мн. числу);

2) указывается, что субъект (= производитель действия) может быть обобщенным: "вообще всякий, любой";

3) указывается, что субъект может быть одним неопределенным лицом: "кто-то, некто";

² Бр. Чович [4, с. 122—126] сделал попытку доказать, что различия между двумя определениями в академических грамматиках нет и что некоторые моменты нашего определения "неверны" (что в неопределенно-личных предложениях не назван субъект действия, что субъект действия может быть обобщенным, что субъект действия может быть определенным и известным, но отодвигается на второй план, чтобы выделить само действие). В отдельной статье [5] мы доказали, что замечания Човича абсолютно необоснованны.

4) указывается, что в роли субъекта могут выступать несколько неопределенных лиц: "некоторые";

5) указывается, что субъект может быть полностью определенным, конкретным, известным: "вполне определенный, данный";

б) указывается на значение контекста для выяснения семантики субъекта, т.е. производителя действия.

Терминологическая разница между нашим рабочим определением и этим развернутым определением академической грамматики состоит в следующем. Мы оперируем термином "производитель действия" ("вршилац радње"), а авторы "Русской грамматики" (1980) — термином "субъект действия или процессуального состояния". В сербской грамматической традиции под термином "субъекат" подразумевается подлежащее, в то время как в русской грамматической традиции термины "подлежащее" и "субъект" разграничены: первый является термином формально-грамматического анализа ("граматички субјекат"), а второй — термином логико-семантического анализа ("логички субјекат", "семантички субјекат").

2. Разное семантическое наполнение одной и той же структурной схемы — основная характеристика неопределенно-личных предложений. Формально одинаковая структурная схема (глагол в форме 3 л. мн. числа) может иметь следующие семантические реализации:

а) Субъект действия — неопределенные лица (3 л. мн.ч.):

(1) *В клубе пели и плясали.*

б) Субъект действия — одно неопределенное лицо (3 л. ед.ч.):

(2) *Тебя зовут к телефону.*

в) Субъект действия неопределенен также и в отношении грамматического числа — нельзя установить, одно ли это лицо или несколько (3 л. —):

(3) *Из кустов стреляли.*

г) Субъект действия — сам говорящий (1 л. ед.ч.):

(4) *Не хочу я, говорят тебе! — возразила Настенька.*

д) Субъект действия — определенное лицо (3 л. ед.ч.):

(5) *Она была дома. Он велел доложить о себе: его тотчас приняли.*

е) Субъект действия — конкретное лицо, однако мыслимое неопределенно:

(6) *И ты знай: пока я жива, у тебя есть место, где тебя ждут, всегда ждут.*

ж) Субъект действия может быть обобщен до такой степени, что сказуемое только указывает на действие, которое (реально или потенциально) привязано к какому-либо месту:

(7) *Здесь продают билеты на концерты.*

з) Представление о субъекте действия может быть отодвинуто на второй план настолько, что сказуемое в сущности выражает действие, которому кто-либо подвергается:

(8) *Его убили на войне.*

и) Представление о субъекте действия может быть совершенно вытеснено, так что глагольная форма выражает значение существительного с глаголом-связкой:

(9) *Как тебя зовут? — Меня зовут Сергей Александрович.*

Всем этим список семантических реализаций структурной схемы Vf_{3pl} не исчерпывается. В роли субъекта действия может выступать говорящий вместе с другими лицами (1 л. мн.ч.), определенные, известные лица (3 л. мн.ч.) и т.д. Иногда только в контексте можно определить, является ли субъектом действия одно или несколько лиц. Так, предложение:

(10) *Иди скорее, тебя ждут.*

может означать, что ждет одно лицо (он или она) или несколько лиц (они).

3. Неопределенно-личные предложения существуют и в сербском языке, но являются менее употребительными. М. Стеванович определяет их как "пред-

ложения с неопределенным субъектом", в которых "подлежащим могло бы быть *људи*, или субстантивированное прилагательное *извесни*, или неопределенное местоимение *неки*" [7]. Субъект действия в этих сербских предложениях — неопределенные лица (3 л. мн.ч.), к этому в основном сводится их семантический диапазон в рамках литературного языка:

(11) *Причају да је то давно било.*

В сербских неопределенно-личных предложениях существуют ограничения и в отношении сказуемого. Это, как правило, глаголы говорения и письменного сообщения (*пишу, говоре, кажу* и т.п.) [7].

Гораздо более продуктивными в сербском языке являются неопределенные безличные конструкции, соответствующие русским неопределенно-личным предложениям. Роль сказуемого в таких предложениях выполняет глагол в 3 л. ед. числа ср. рода и возвратная морфема *се*:

(12) *У клубу се певало и играло.*

Эти предложения также указывают на то, что действие совершается несколькими неопределенными лицами (3 л. мн.ч.). Но это не единственное их значение. Субъектом действия может быть сам говорящий (1 л. ед.ч.):

(13) *Дођи, кад ти се каже!*

Как видно из приведенных примеров, русские неопределенно-личные предложения по своему значению и употреблению гораздо шире, чем сербские предложения с неопределенным субъектом. Поэтому в ряде случаев русским неопределенно-личным предложениям в сербском языке соответствуют только личные предложения.

Если субъектом действия является одно неопределенное лицо (3 л. ед.ч.), в сербском языке выступает личная конструкция с неопределенным местоимением:

(14) *Неко (неки човек; нека жена) те зове преко телефона.*

В этом значении в русском языке тоже существует личная конструкция с неопределенным местоимением, но она употребляется в качестве синонима неопределенно-личного предложения:

(15) *Вам кто-то звонил. — Вам звонили.*

Личная конструкция с неопределенным местоимением употребляется в сербском языке также в случае, если субъект действия неопределен в отношении грамматического числа, т.е. если нельзя установить, одно это или несколько неопределенных лиц (3 л. —):

(16) *Из жбуља је неко пуцао.*

При обобщенном субъекте, когда сказуемое указывает на действие, которое (реально или потенциально) привязано к какому-то месту, а также имеет дополнение, в сербском языке употребляется личная пассивная конструкция:

(17) *Овде се продају карте за концерт.*

В русском языке личная пассивная конструкция в этом значении синонимична неопределенно-личному предложению:

(18) *Здесь продают билеты на концерты.*

— *Здесь продаются билеты на концерты.*

Неопределенно-личная форма в русском языке употребляется независимо от того, имеет ли глагол дополнение или нет:

(19) *Здесь много строят. — Строят новый завод.*

В сербском языке, если глагол употребить без дополнения, мы получим неопределенную безличную конструкцию, а при наличии дополнения — личную пассивную конструкцию:

(20) *Овде се много гради. — Гради се нова фабрика.*

Если в роли сказуемого выступает глагол совершенного вида без дополнения, в сербском языке употребляется безличная конструкция с кратким страдательным причастием прош. времени в форме ср. рода и безличной формой глагола-связки в сказуемом:

(21) *Наложено ми је да вас дочекам.*

В русском языке в этом случае в качестве синонимичных конструкций употребляются неопределенно-личное и безличное предложения:

(22) *Мне поручили встретить вас.*

— *Мне поручено встретить вас.*

Если субъектом действия является определенное, конкретное лицо, не называемое потому, что из контекста ясно, о ком идет речь, в сербском языке употребляется личная активная конструкция с реальным субъектом действия. (Примеры мы приведем, когда перейдем к анализу перевода неопределенно-личных предложений.)

При помощи метода сопоставления грамматической категории одного языка (русских неопределенно-личных предложений) с эквивалентными грамматическими конструкциями другого (сербского) языка мы пришли к выводу, что их соотношение очень сложно. Указанным русским предложениям в сербском языке соответствуют в одних случаях такие же неопределенно-личные предложения, в других — особые безличные конструкции, а в третьих — личные предложения разных типов.

4. Изложенный выше обзор вариантов значения и употребления русских неопределенно-личных предложений и их сербских эквивалентов послужит нам основой для анализа собственно проблем перевода. Мы постараемся показать, как переводчики пытаются передать форму русских неопределенно-личных предложений даже в тех случаях, когда в языке перевода такие конструкции не употребляются. Напомним, что неопределенно-личные предложения в сербском языке используются в том случае, если субъектом действия являются несколько неопределенных лиц и, как правило, если глагол относится к определенной семантической группе (глаголы говорения и письменного сообщения).

В качестве иллюстрации проблем перевода, возникающих при переводе конструкций этого типа с русского языка, нам послужат примеры переводов художественной прозы, выполненные разными переводчиками, а затем мы проанализируем отрывок из воспоминаний В.Б. Шкловского о последних днях Александра Блока и его сербский перевод.

Неопределенно-личные предложения в русском языке очень часто указывают на действие конкретного лица, легко определяемого из контекста (3 л. ед.ч.). А переводчики столь же часто сохраняют формальную структуру, которая в новом языковом облачении не способна передать нужное значение:

Кузьма сидит небось и читает. Молодая стоит в темной и холодной прихожей, возле чуть теплой печки, греет руки, спину, ждет, когда скажут — "ужинать!" [8, с. 147].

— *Был на почте, — сказал староста. — И, конечно, писем никаких там нету, кроме одной газетки.*

— *Почему же "конечно"?*

— *Потому, что, значит, еще пишут, не дописали, — ответил староста грубо и насмешливо* [8, с. 364].

Кузма сигурно седи и чита. Млада стоји у мрачном и хладном предсобљу, поред млаке пећи, греје руке, леђа, чека да кажу — "вечера!" (перев. Н. Николича [9, с. 128]).

— *Био сам на пошти — рече староста. — И, наравно, нема никаквих писама, сем једних новина.*

— *А зашто то "наравно"?*

— *Зато што их, значи, још пишу, нису довршили — одговори староста, грубо и иронично* (перев. М. Ивановича [9, с. 368]).

В первом примере героиня ждет, что Кузьма ей велит — в форме категорического приказа — накрыть на стол к ужину, так что в переводе следовало упогрести личную конструкцию с глаголом в 3 л. ед. числа: *да јој (он) каже...* А во втором примере, из повести "Митина любовь", староста знает, что Митя лихорадочно ожидает письма, и письмо это от девушки, Кати. Ориентиру-

ясь на реплику "нема никаквих писама", переводчик не только глагольную форму, но и дополнение дал во мн. числе (адекватным переводом было бы: *јочи га пише, није га довршила*).

Приведем еще два примера, в которых неопределенно-личное предложение означает действие конкретного, отдельного лица:

Теперь я присажу из Департамента - меня ждут, и ясный взор мне приготовлен, и теплые руки, и мягкие интонации [10, с. 480].

— *Чистов, [...] не дай соврать. Не мы ш с тобой, брат, хоронили ее осенью прошлого года? Подтверждаешь?*

— *Подтверждаю, — откликнулись из полумрака* [10, с. 374].

Сад кад долазим из министарства — чекају ме, и ведар поглед ми је припремљен, и топле руке и блага интонација [11, с. 574].

— *Чистов [...] не дозволи да се лаже. Нисмо ли је ти и ја, брате, сахрањивали прошле јесени. Потврђујеш ли?*

— *Потврђујем — одазваше се из полумрака* [11, с. 450].

Семантика неопределенно-личных предложений в приведенных примерах могла быть выражена в переводе предложениями, имеющими другую формальную структуру: *чека ме* (или: *она ме чека*), *одговори глас* (или: *одговори овај*).

В некоторых примерах неопределенно-личное значение в переводе могло быть выражено пассивной (с морфемой *се*) или безличной конструкцией (со страдательным причастием):

А новыми крупными событиями озадачь то, чего и не чаяли, — война с Японией и революция [8, с. 120].

— *Если бы тебе предложили выбор — ты осталась бы здесь?* [12, с. 175].

Отца у них убили еще раньше, в первый смутный колхозный год, и убили, говорят, случайно, целя в другого, а кто целил — не нашли [14, с. 12].

А као нови крупни догађаји испало је оно што су најмање очекивали — рат с Јапаном и револуција (перев. Н. Николича [9, с. 99]).

— *Када бих ти предложио избор — да ли би остала овде?* [13, с. 265].

Оца су им убили још раније, у првој смутној колхозној години, и то, кажу, случајно, циљајући у другог, а ко је циљао — нису пронашли [15, с. 10].

В первом примере форма мн. числа ассоциируется с конкретным субъектом, в то время как в оригинале подразумевается обобщенное значение (*оно што се најмање очекивало*). Во втором случае субъектом действия является вовсе не рассказчик (возвращение Лизы Тураевой в Москву менее всего зависит от Карновского), поэтому адекватным переводом могло бы быть: *Кад би ти било пону! ено да бираш?* (или: *Кад би могла да бираш?*). А в третьем примере неопределенность следовало выразить безличной конструкцией (*није откривено*).

Последний пример интересен также тем, что в нем засвидетельствована еще одна семантическая реализация неопределенно-личных предложений (*Отца убили*). При переводе этого предложения нужно было произвести объектно-субъектную трансформацию и лексическую замену (*Отац је погинуо*). Такая замена необходима и в некоторых других случаях:

Завтра меня убьют. Я затылком чувствую [10, с. 475].

— *Вас спрашивают, — зашептал Афанасий [...] И распахнул двери* [10, с. 133].

Как его хоть звали? [14, с. 186].

Сутра ћу бити убијен. То потиљком својим осећам [11, с. 567].

— *Вас траже — зашата Афанасиј [...] И широм отвори врата* [11, с. 156].

Како су га макар звали? [15, с. 184].

В первом примере герой высказывает предчувствие, что погибнет в предстоящем бою (*Сутра ћу погинути*). Во втором — неопределенно-личной конструкцией выражается действие одного неопределенного лица, что могло быть передано трансформированной конструкцией (*Имаме посету*) или глагольной формой в ед. числе (*Вас тражи*). А в третьем примере следовало или употребить пассивную конструкцию (*Како се звао?*), или произвести объектно-атрибутивную трансформацию с заменой глагольной формы именем существительным (*Како му је било име?*).

Интересны случаи, когда неопределенно-личная конструкция указывает на конкретное лицо, однако мыслимое неопределенно:

Надо мне тебя доставить в Одессу Треба да те допремим до Одесе сасвим очуваног, јер су тамо већ чули о твојој постојању. Избрљао сам се о теби једној ћудливој девојцици (перев. Н. Николич-Бобич [9, с. 317]).

С этими словами обращается капитан к собаке Чангу в рассказе И. Бунина. Неопределенность субъекта действия вовсе не требовала употребления мн. числа, в этом случае могло быть использовано предложение с подлежащим *неко* (*јер тамо неко већ зна да ти постојиш*).

— Прямо сердце зашло — до чего испугал! Я уж отвыкла, чтоб так хватали [14, с. 49]. — Срце ми је стало — колико си ме уплашио. Већ сам се одвикала да ме тако хватају [15, с. 47].

Переводчик совершенно неоправданно дает героине негативную характеристику. Ее слова могли бы быть переведены следующим образом: *Већ сам се одвикала да ме тако хваташ* (или, с сохранением неопределенности: *Већ сам се одвикала да ме неко тако хвата*).

— [...] Ревность — это неуважение к тому, кого любишь. Значит, меня не любят, если мне не верят, — сказала она, нарочно не глядя на Митю [8, с. 339]. — [...] Љубомора је непоштовање оног кога волиш. Кад ми не верују значи да ме не воле — рече она, намерно не гледајући у Мићу (перев. М. Йовановича [9, с. 340]).

Форма мн. числа в переводе не адекватна оригиналу. Катя (из повести "Митина любовь") воспользовалась неопределенно-личным предложением обобщенного значения, чтобы сказать, что тот, кто ее любит, должен также и верить ей, при этом она нарочно не смотрит на Митю, чтобы показать, что это может быть и кто-нибудь другой (но не какие-нибудь другие — во мн. числе). Поэтому предложение это следовало бы перевести, употребив глагол в форме ед. числа: *Ко ми не верује, тај ме и не воли*.

Обобщенное значение имеет и неопределенно-личное предложение в следующем примере:

"Стареют, когда этого хотят", — говорят французы [12, с. 205]. "Остари се кад се хоће" — кажу французи [13, с. 310].
Говорят, что стареют, когда этого хотят. Неправда! Когда этого не хотят — еще больше стареют [12, с. 215]. Кажу — човек стари када то хоће. Није истина. Када нећеш — онда још више стариш [13, с. 327].

Из двух вариантов перевода лучше второй, особенно если вместо глагола *хтети* употребить глагол *желети*: *Човек стари кад то сам жели*.

5. Как видно из приведенных примеров, трудности возникают при переводе таких неопределенно-личных предложений, в которых субъект действия не совпадает с 3 л. мн. числа. При этом необходимо иметь в виду, что реальный субъект действия обнаруживается лишь в широком контексте. Контекстом, подсказывающим переводчику действительное значение той или иной грамматической категории, может быть одно предложение, группа предложений или весь текст. Поэтому необходимо ввести понятие достаточного контекста,

чтобы обозначить рамки минимального контекста, в котором можно определить значение какого-либо грамматического сегмента.

1) Достаточным контекстом может быть сверхфразовое единство, т.е. само неопределенно-личное предложение вместе с предыдущим предложением. Так, в следующем примере достаточным контекстом является вопросительное предложение в прямой речи и предшествующая ему фраза:

Я забыл сказать, что по дороге нас много раз спрашивали люди, которые видели, что везут гроб и за ним идет сравнительно большое количество людей:

— *Кого хоронят?*

— *Блока, — отвечали мы [16, с. 185].*

Заборами сам да кажем да су нас уз пут много пута људи који су видели да се вози мртвачки сандук и да га прати релативно много света, питали:

— *Кога сахрањују?*

— *Блока — одговарали смо ми [17, с. 925—926].*

Здесь мы, по сути, встречаем два неопределенно-личных предложения. И в том, и в другом при помощи неопределенно-личной формы выделяется глагольное действие, в то время как субъект действия не выражен, во-первых, потому, что не он в центре внимания рассказчика, и, во-вторых, потому, что на него однозначно указывает контекст. В первом — *везут гроб* — субъект действия — 1 л. мн. числа ("возимо мртвачки сандук"³), а во втором — *Кого хоронят?* — 2 л. мн. числа ("Кога сахрањујете?"). Субъект действия — родственники и друзья Блока, устроившие похороны, а среди них — и сам рассказчик, Виктор Шкловский. Первое предложение переводчик перевел правильно — личной пассивной конструкцией, которая сохраняет неопределенность субъекта действия (предложение с указанием на реальное лицо было бы менее уместно), а второе предложение — неправильно, личной активной конструкцией с глаголом в форме 3 л. мн. числа. Ошибка переводчика в том, что он сохранил форму сказуемого, не задумываясь о реальном субъекте действия, на которого указывают элементы как широкого, так и узкого контекста. Это место необычайно трудно для перевода. Ни пассивная (*Ко се сахрањује?*), ни активная личная конструкция (*Кога сахрањујете?*) не соответствуют непринужденной речи в данной ситуации. Поэтому одним из возможных вариантов перевода в подобных случаях могло бы стать изменение грамматической и лексической структуры предложения: дополнение в переводе должно быть заменено составным именным сказуемым, включающим притяжательную форму (*кого? — чија је?*), а неопределенно-личная форма — однокоренным с глаголом существительным в функции подлежащего (*хоронят — сахрана*): *Чија је то сахрана?* Еще один возможный вариант — лексическая замена с объектно-субъектной трансформацией: *Ко је то умро?*

2) Достаточным контекстом может служить группа предложений:

Женщина, которую любил Маяковский, попросила, чтобы он принес книгу Блока с автографом. Не знаю, где сейчас этот автограф. Блок охотно написал автограф на книге "Седое утро". Маяковский взял книгу и со-

Жена коју је Мајаковски волео замолила га је да донесе Блокову књигу са аутографом. Не знам где је сада тај аутограм. Блок је радо написао аутограм на књизи "Седо јутро". Мајаковски је узео књигу и спремио се

³ Не следует смешивать семантическую интерпретацию предложений ("возимо мртвачки сандук", "Кога сахрањујете?"), которая приводится, чтобы указать на действительное лицо субъекта действия, с возможными соответствиями в переводе (*да се вози мртвачки сандук, Чија је то сахрана?*). Мы подчеркиваем это потому, что Б. Чович, не различая формально-грамматический анализ неопределенно-личных предложений, их семантический анализ и анализ эквивалентов таких предложений в тексте перевода, о возможных вариантах перевода, одобренных или предложенных нами, по отношению к семантической, т.е. лингвистической интерпретации, говорит: «Иногда и сам автор в поисках вариантов корректирует свои выводы (скажем, вариант перевода предложения "Кого хоронят?" — "Чија је сахрана?")» [4, с. 126].

брался уходить. Стояли друг против друга двое, очень хорошо знающих друг друга, готовых друг для друга на жертву.

— *Может быть, мы поговорим, если уж вы пришли?* — сказал Александр Блок.

Владимир Маяковский ответил как очень молодой человек:

— *Мне некогда: автограф ждут.*

— *Это хорошо, когда человеку некогда от любви, когда он торопится. Но нехорошо, что у нас нет времени друг для друга* [16, с. 184].

В этом примере переводчик не понял, что в неопределенно-личном предложении *автограф ждут* не совпадают формальный и реальный субъекты действия. В оригинале субъектом действия является одно более или менее определенное лицо, хотя в сказуемом выступает форма мн. числа. Это *женщина, которую любил Маяковский*. В сербском переводе сказано — *аутограм очекују*, что указывает на несколько лиц. Здесь русское неопределенно-личное предложение следовало перевести конструкцией с определенным субъектом, так как субъектом действия является конкретное лицо: *Она (девојка) чека аутограм (посвету)*.

Надо подчеркнуть, что русское слово *автограф* имеет два значения: "собственноручная надпись или подпись" и "собственноручный авторский рукописный текст" [18]. Сербское слово *аутограм* обладает только первым значением, причем более узким, чем соответствующее русское: "собственноручная подпись" [19]. В приведенном отрывке контекст свидетельствует скорее о том, что слово *автограф* употреблено в значении "надпись", а не "подпись" (*Жена коју је волео Мајаковски замолила је да донесе Блокову књигу са посетом*). Наверное, Блок написал не безадресный, а обращенный ко вполне определенному человеку автограф. О том, что Блок знает, кто ждет Маяковского, можно судить по реплике: — *Это хорошо, когда человеку некогда от любви*. Субъект действия в предложении *автограф ждут* является для собеседника вполне определенной, конкретной особой, что, конечно, не значит, что собеседник (Блок) все знает о ней⁴.

3) Свои воспоминания о великом поэте Александре Блоке Шкловский завершает следующим образом:

Сейчас Блок лежит не на Смоленском кладбище, где его похоронили, а на Волковом, рядом с матерью, хорошей переводчицей, рядом с женой, Любовью Дмитриевной, дочерью Менделеева, художницей и артисткой [16, с. 186].

В этом примере достаточным контекстом является весь текст воспоминаний о последних днях Блока и его смерти. Из контекста видно, что Шкловский вместе с другими друзьями Блока принимал участие в его похоронах. Он рассказывает о том, как на обрывках бумаги они печатали обращение "Умер

да оде. Стајали су један насупрот другоме, добро се познајући, спремни на жртву један за другога.

— *Да поразговарамо, кад сте већ дошли?* — рече Александар Блок.

Владимир Мајаковски одговори као веома млад човек:

— *Немам времена: очекују аутограм.*

— *То је добро када човек од љубави нема времена, кад му се жури. Али није добро што немамо времена један за другога* [17, с. 923].

⁴ О том, что в семантической интерпретации подобных предложений ошибаются не только переводчики, загнипозитивированные их формальной структурой, но и "теоретики", свидетельствует пример Б. Човича: "возможно, этого автографа Блока ждали и родственники, друзья и т.д., и т.д. Возможностей масса, и все они логичны, так как возможными их делает категория неопределенно-личного предложения" [4, с. 125—126].

поэт Александр Блок”, как расклеивали его на городских улицах, как он сам вместе с М. Шагинян ходил искать гипс (“Мы хотели сделать посмертную маску и в гипсе воспроизвести удивительные руки поэта”), как двигалось похоронное шествие по городским улицам. Из этого можно заключить, что субъект действия в неопределенно-личном предложении *где его похоронили* — 1 л. мн числа (“где смо га сахранили”) — ведь рассказчик и сам участвовал в событии — а не 3 л. мн. числа (“где су га сахранили”), что мы находим в переводе. Наиболее подходящей была бы здесь личная пассивная конструкция, так как она лучше всего передавала бы неопределенность оригинала в отношении субъекта действия: *Сада Блок не лежи на Смоленском гробљу, где је сахрањен...*

6. В настоящей работе мы до сих пор пытались методом сопоставительного анализа установить соотношение русских неопределенно-личных предложений и соответствующих сербских конструкций и на основе этого анализа выявить некоторые проблемы перевода таких предложений на сербский язык. Теперь мы могли бы конкретнее определить различия между сопоставительным изучением двух языков, с одной стороны, и теорией и практикой перевода — с другой. Сопоставительное исследование устанавливает соотношение отдельных элементов двух языковых систем в общем виде, выделяет глобальные типы эквивалентных функционально-смысловых структур в данных языках, в то время как теория и практика перевода изучает, наряду с общими, также и частные случаи перевода данных языковых элементов, принимая во внимание контекст и подтекст, пытаясь проникнуть во все нюансы смысла, вкладываемого писателем в высказывание (используя, естественно, средства языка перевода, т.е. переводную семантизацию). Сопоставительная грамматика может основываться на материале оригинальных произведений на двух языках, т.е. не ограничивается соотношением оригинал — перевод. Она является исходной основой для теории перевода с одного языка на другой, причем эта связь носит характер взаимодействия. Теория и практика перевода — источник бесценных примеров для корректировки, уточнения и дополнения выводов, к которым приходит сопоставительная грамматика. В частности, анализируя перевод неопределенно-личных предложений на сербский язык, мы пришли к выводу, что некоторые из этих предложений, если представление о субъекте действия отодвинуто на второй план, а глагол имеет дополнение со значением лица, на сербский язык могут быть адекватно переведены составным именным сказуемым с притяжательной формой. Например:

(1) *Как тебя зовут?*

Како је твоје име?

(Како ти је име?)

(2) *Кого хоронят?*

Чија је то сахрана?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грамматика русского языка / Ред. коллегия: Виноградов В.В., Истрина Е.С. Т. II. Ч. 2. М., 1960.
2. Грамматика современного русского литературного языка / Отв. ред. Шведова Н.Ю. М., 1970. С. 564.
3. *Маројевић Р.* Проблеми преводње руских неодређено-личних реченица на српскохрватски језик // Мостови. 1976. № 2 (26). С. 97—98.
4. *Ћовић В.* Umetnost ili zanat (o nekim aspektima prevodjenja) // Zbornik radova Instituta za strane jezike i književnosti. Sv. 3. Novi Sad, 1981.
5. *Маројевић Р.* О неодређено-личним реченицама у руском језику и проблемима њиховог преводњења (поводом једне лингвистичке интерпретације) // Зборник за филологију и лингвистику 1983. Т. XXVI/2.
6. Русская грамматика / Гл. ред. Шведова Н.Ю. Т. II. М., 1980. С. 356.
7. *Стевановић М.* Савремени српскохрватски језик: Граматички системи и књижевнојезичка норма. Књ. II. Београд, 1969. С. 84.
8. *Бунин И.* Стихотворения. Рассказы Повести. М., 1973.
9. *Бунин И.* Песме и приповетке. Београд — М., 1976.

10. *Окуджава Б.* Путешествие дилетантов. М., 1980.
11. *Окуджава Б.* Путовање дилетаната / Прев. Јакшић Д. Београд, 1980.
12. *Каверин В.* Избр. произведения: В 2-х т. Т. I. М., 1977.
13. *Kaverin V.* Pred ogledalom / Prev. Nikolić M. Beograd, 1977.
14. *Распутин В.* Повести. М., 1978.
15. *Rasputin V.* Živi i pamti / Prev. Milošević V. Beograd, 1979.
16. *Шкловский В.* Время смерти Александра Блока // Знамя. 1961. № 11.
17. *Šklovski V.* Vreme smrti Aleksandra Bloka / Prev. Subotin L. // Delo. 1962. T. VIII.
18. Словарь русского языка. 2-е изд. Т. I. М., 1981. С. 22.
19. Речник српскохрватскога књижевног језика. Књ. I. Нови Сад — Загреб, 1967. С. 110.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 1993 г. РАДЧЕНКО О.А.

ЛИНГВОФИЛОСОФСКИЙ НЕОРОМАНТИЗМ Й.Л. ВАЙСГЕРБЕРА*

К бесспорным недугам лингвистической историографии относится тот случай, когда факты какой-либо концепции остаются в тени, а их критика становится элементом традиции и, кочуя по страницам научных изданий, порождает устойчивую лингвистическую мифологию. В свое время на подобное обстоятельство в отношении В. фон Гумбольдта сетовал В.А. Звегинцев. Однако не миновала эта судьба и неогумбольдтианцев, в первую очередь — Йоханна Лео Вайсгербера (1899–1985), которого советская критика за тридцать лет успела окружить всеми атрибутами лжеученого.

В 50-х годах имя Вайсгербера и некоторые элементы его философии лишь упоминались без особых оценочных характеристик [1–3]. Но следующее десятилетие вызвало к жизни обширную критику либо всего учения Вайсгербера в целом [4, 5], либо отдельных его разделов: теории слова [6], теории языкового поля [7], учения о словообразовании [8] и синтаксисе [9]. Характерным для этой критики было категорическое неприятие неогумбольдтианской философии языка [10], хотя практический материал накопленный Вайсгербером и его сподвижниками, признавался ценным и достойным пристального внимания [1, с. 38]. Представителей этого направления еще в конце 20-х годов с легкой руки О. Функе называли "неоромантиками" [11]. На общем негативном фоне остались незамеченными попытки первой полемики с нарождающейся "традицией" [12]. Портреты Вайсгербера, написанные в нашей лингвистической литературе в 70-х годах, уже обнаруживают все негативные шаблоны: идеализм, агностицизм, мистицизм, национализм, реваншизм (так в [13, 14]). Диапазон этой портретики широк: от упоминаний вскользь [15, 16] до масштабного анализа методологии [17] и философии языка [18] Вайсгербера, по сути продолжающих негативную линию советской критики. Несмотря на некоторое оживление интереса к неоромантизму в 80-х годах в свете антропоцентризма и когнитивной лингвистики [19–22], освещение истории, теории и практики учения Вайсгербера и поныне пребывает во власти негативных оценок. Подтверждением тому служит статья Л.С. Ермолаевой о неогумбольдтианстве в Лингвистическом энциклопедическом словаре [23, с. 330].

Таким образом, не имея в своем арсенале ни одного перевода работ Вайсгербера на русский язык, мы располагаем солидной критической литературой, где обнаруживаем достаточно сходное у всех критиков отрицательное мнение о лингвофилософской концепции Й.Л. Вайсгербера.

Между тем в историю языкознания Й.Л. Вайсгербер вошел бы уже только за то, что он впервые попытался воплотить философские идеи В. фон Гумбольдта в современной концепции языка. (Эта неоспоримая заслуга принесла ему даже титул *Humboldt redivivus*.) При этом он опирался на взгляды Э. Кассирера,

* Автор выражает искреннюю признательность за предоставление ценных и редких материалов по проблемам неоромантизма проф. Х. Гипперу (Мюнстер), проф. Х. Бринкманну (Мюнстер) и проф. Б. Вайсгерберу (Вупперталь), а также особую благодарность акад. Ю.С. Степанову за большую помощь в процессе подготовки этих материалов к печати.

Фр. Маутнера, Э. Гуссерля и особенно Ф. де Соссюра, препарируя их идеи сообразно с внутренней логикой своей концепции.

Фундаментальнейшее положение этой концепции — "языковой закон человечества" (*Menschheitsgesetz der Sprache*) — вызвало наиболее резкое порицание критиков и обвинения в субъективном [18, с. 19] или объективном [1, с. 38] идеализме. Как известно, Вайсгербер не был философом-теоретиком и не задавался целью создать новое философское учение, а его философия языка представляет собой продолжение традиций немецкого языковедения, традиции Й.Г. Гердера и В. фон Гумбольдта. В основе "языкового закона" заложено представление Вайсгербера о четырех ипостасях языка: 1) актуализированном языке, т.е. речи как психическом процессе и физическом явлении; 2) языке как основе индивидуальной речевой деятельности, или "языковом организме" (*Sprachorganismus*); 3) языке как объективном социальном образовании (*soziales Objektgebild*) и 4) языковой способности как таковой [24, с. 36]. Исключая изучение речи из предмета "энергетического языковедения", Вайсгербер избрал из остальных трех уровней основным надличностный уровень родного языка. (Это положение обнаруживает явное влияние идей Э. Дюркгейма.) Подчеркивая, однако, важность вовлечения всех уровней в свою концепцию, он на каждом из них формулирует одну из разновидностей "языкового закона": закон родного языка, закон языкового сообщества и закон обусловленного языком бытия.

Ядро "языкового закона человечества" — закон языкового сообщества — констатирует, что всякий язык существует только в условиях определенного коллектива людей, для которых этот язык является родным, — языкового сообщества (*Sprachgemeinschaft*). Этим обусловлен и "коллективистский характер" всей концепции [24, с. 4]. Языковое сообщество составляют те, кто способен, благодаря своему индивидуальному языковому организму, "настраиваться на это сообщество", причем непосредственное общение между всеми носителями языка не является непременным условием [24, с. 105]. Как культурное достояние (*Kulturgut*) язык обладает в условиях сообщества особой функциональной реальностью [25, с. 37], а само сообщество является надличностным, ибо его основу образуют "объективные формы, силы и отношения, независимые от конкретных людей" [24, с. 112]. Сообщество определяет процессы изучения языка, регулирует самим своим существованием и с помощью фиксированных объективных использование языка отдельными индивидуумами, описывает на основе обусловленного языковым взаимодействием языкового чутья (*Sprachgefühl*) возможности индивидуальных модификаций языка. Индивидуум разворачивает свою языковую индивидуальность только с помощью и в рамках языкового сообщества [24, с. 117].

Этот важный процесс фиксируется законом родного языка: "Каждый человек формирует свой языковой организм на основе тех средств, которые предоставляет в его распоряжение язык; вот только эти средства не передаются ему в виде удобного для пользования словаря, а прилетают к нему разрозненными страницами, упорядочиванием коих он занимается всю свою жизнь" [24, с. 124]. Эти "разрозненные страницы" человек обретает в самом раннем детстве, когда одновременно с усвоением первых слов происходит формирование понятий. При этом "изучение языка конкретным человеком не ограничивается тем, что он запоминает подходящие обозначения для понятий, которые пришли к нему каким-то иным путем. Напротив, изучение языка одновременно означает усвоение понятий, которыми пользуется интеллект, прибегая к языку" [25, с. 41]. Человек интеллектуально осваивает мир понятий (к примеру, из области цвета), упрощая все своеобразие реальности с помощью группы символов (обозначений цвета, составляющих в данном языке систему, которая соответствует сложившейся в нем концептуальной системе цветов) и превращая реальный мир в небольшое число понятийных категорий.

Процесс формирования понятий протекает, по мысли Вайсгербера, следующим образом: "Языковой символ, звукоряд, имя входят поначалу как чужеродный элемент в комплекс данного чувственного факта; тем самым фиксируется чувственное восприятие, и, поскольку языковой символ как духовный компонент также находится во власти сознания, это чувственное восприятие, впечатление становится сколь угодно воспроизводимым. Одновременно тем самым складывается принцип классификации, способный понятийно связывать даже качественно разные ощущения" [25, с. 42]. Так, носитель языка формирует понятие "красный" в раннем детстве в первую очередь не на основе познания чего-то общего в различных оттенках цветовых ощущений, а с помощью языкового символа под влиянием и даже под давлением языкового сообщества в лице воспитателей. Этот символ связывает разнообразие впечатлений от "красного" в рабочую понятийную единицу. Языковой символ — не вспомогательное ассоциативное средство для протекающего имманентно процесса формирования понятия, а "точка кристаллизации новых впечатлений и ощущений для их понятийной переработки" [25, с. 43]. При этом воспитывающее окружение выступает как нормативный фактор; человек оказывается в значительной степени зависим от него и не способен установить меру истинности усваиваемых понятий. "Человек принужден в самых широких масштабах полагаться на верное функционирование этих искусственных образований; перенятые духом и вновь созданные категории обретают власть над своим создателем" [25, с. 43]. Ведь носитель языка вряд ли может дать себе отчет относительно происхождения и объема его понятийного фонда или спросить, "верны" ли его понятия, а тем более — перепроверить хотя бы малую толику их.

Вывод, который делает Вайсгербер на основе исследования процесса формирования понятий у детей, состоит в том, что язык через воспитателей "сообщает отдельному человеку не только звуковые символы, названия, но и подразумеваемые ими понятия" [25, с. 44]. Член данного языкового сообщества "формирует свое интеллектуальное видение мира не на основе самостоятельной переработки своих переживаний, а в рамках закрепленного в понятиях языка опыта его языковых предков" [25, с. 45].

Для обоснования своей точки зрения Вайсгербер привлекает случай амнестической афазии (амнезии) у пациента, проходившего курс лечения после ранения в голову. Частичная амнезия затронула в особенности названия цвета, причем у пациента не было отмечено оптической невосприимчивости к цвету. Но он не мог назвать показываемый цвет; не помогало и упоминание экспериментатором ряда цветовых обозначений, в том числе и верного. Одновременно пациент был способен определить какой-то оттенок красного цвета как "цвет вишни" и т.п. В дальнейшем, подбирая к заданному цвету колерные образцы более светлых или темных тонов, он при однократном предъявлении цвета долго раздумывал, отбирал неверные или откладывал верно отобранные образцы. Имея же возможность сверять колерные образцы с заданным цветом, он добивался несколько лучших результатов. Эти эксперименты¹ позволили Вайсгерберу прийти к выводу, что причина подобного нарушения заключается в изменении принципов классификации, на основе которых действует здоровый человек, а именно: утрата обозначений цвета и связанных с ними понятийных категорий [25, с. 37—39]. Это подтверждает его мысли о том, что "языковые содержания, т.е. языковые понятия, которыми мы пользуемся, когда думаем или говорим, не являются чем-то естественно данным, а суть нечто изученное, точнее, нечто изученное вместе с языком; они не имеют статичного характера, они результат охватывающего тысячелетия опыта наших языковых предков, который мы постоянно стремимся усовершенствовать с помощью наших собственных размышлений и нашего опыта" [25, с. 54—55]. На этой основе формулируется задача

¹ Ср. эксперименты А.В. Михеева [26] и особенно исследования Р.М. Фрумкиной в области русских цветообозначений [27].

исследовать внутреннюю форму данного языка, т.е. его понятийный строй и возможности сочетаемости, что "даст нам ключ к оценке всего того, что думается и говорится на этом языке, что совершается его носителями на основе работы интеллекта" [25, с. 46].

Продолжая анализировать эту зависимость, Вайсгербер указывает на специфику обозначений запаха: «Если мы хотим назвать запах, то можем воспользоваться лишь выражениями типа "пахнет как фиалка, камфара, жасмин"; обобщающие категории типа "красный", "синий" нам не даны, и в этом причина, почему нормальный немец ведет себя в сфере обозначений запаха так же, как амнестик — в сфере цветов», ведь "где отказывает язык, там нет и категориального поведения» [25, с. 48]. Очевидно, что в сфере запахов немец не располагает теми очками понятийной схемы языка, через которые он смотрит на мир цветов.

Подчеркивая языковую специфичность понятийных схем, Вайсгербер неоднократно обращает внимание на ее тесную взаимосвязь с конкретным языком: "Этот понятийный фонд есть совершенно особый, в различных языках всякий раз иной, способ интеллектуального охвата и познания мира" [25, с. 58].

С целью исследовать вопрос, почему в различных языках сложились разные понятийные системы, Вайсгербер обращается к более общему примеру духовной идиоэтничности народов: "существованию" созвездий. Анализ вопроса, где "находится" созвездие Орион, и других примеров позволяет ему заключить, что Орион прежде всего — духовная величина, фигурирующая вследствие земного видения звезд в мышлении определенных человеческих коллективов. Созвездия "существуют" не в реальном мире, а в посредующем мире мышления (*geistige Zwischenwelt*), в котором они представляют собой результат переработки людьми своего опыта использования мира звезд в условиях данного языкового сообщества. Созвездия суть духовные предметы (*geistige Gegenstände*), которые используются человеком как мыслительные опоры в их отношении к миру звезд. В создании такого посредующего мира человек "задействован со всеми его силами". Если первые созвездия были тесно связаны с непосредственным отражением, группировкой отдельных звезд, кажущихся глазу взаимосвязанными, то затем человеческое мышление приобретает большее влияние, привнося в эту сферу духовное формирование. Так возникает постоянно растущий двухуровневый посредующий мир, воздействия которого Вайсгербер обнаруживает в самых различных сферах человеческого бытия, к примеру, в бытующих в данном языковом сообществе представлениях о системе родства. Он отмечает, что "языки располагают словами родства, т.е. средствами, но не для того чтобы фиксировать все ниши родственных отношений как таковые, а для того чтобы помочь обобщенно осознать родственные отношения" [25, с. 65].

Анализ этой проблемы Вайсгербер начинает с рассмотрения "естественной системы ближайших генеалогических отношений" [25, с. 64].

Немецкий язык располагает минимумом для осознания генеалогических ниш из пяти важных для каждого отношений: *Vater* (отец), *Mutter* (мать), *Gatte, -in* (супруг, супруга), *Sohn* (сын) и *Tochter* (дочь). Эти мыслительные средства позволяют описать каждую генеалогическую связь в отношении к другим. Мы обнаруживаем, в частности, генеалогические ниши "отец отца", "супруга сына отца матери" и пр. Интересно сопоставить эти мыслительные средства с имеющими хождение в немецком языке словами родства, а также с соответствующими латинскими обозначениями. В латинском языке различались брат отца (*patruus*) и брат матери (*avunculus*), сестра отца (*amita*) и сестра матери (*matertera*), тогда как этим четырем родственным связям в немецком соответствуют всего два духовных предмета — *Onkel* (дядя) и *Tante* (тетя). Особые родственные связи римской женщины с братом и сестрой мужа нашли выражение в понятиях *levir* (деверь) и *glos* (золовка), между тем как таких связей не существовало между ней и женой брата или мужем сестры, а также между ее мужем и ее сестрами и братьями. Немецкий

понятийный мир оперирует широкими понятиями *Schwager* и *Schwägerin*, охватывающими все многообразие отношений между супругами и их братьями и сестрами. А немецкие понятия типа *Vetter* (кузен) вообще невозможно передать средствами латинского языка, ибо они образуют систему, чуждую римскому понятийному миру.

Еще большая разница выявляется между немецким *Bruder* (брат), не содержащим в себе дифференциации, и китайскими *gogo* (старший брат) и *didi* (младший брат). Во всем этом просматривается не просто разница в обозначениях, но и существенное различие в духовных предметах, в которых нашла свое выражение сложившаяся в данном языковом сообществе система родства.

Таким образом, "стимулы и точки зрения духовного преобразования мира порождаются всей палитрой жизненных условий и опыта; поэтому-то мы и обнаруживаем в разных языках по-разному разветвленное устройство сферы родства, проистекающее из разнообразных условий социальной жизни" [28, с. 70]. Вайсгербер однозначно признает, что внешний мир является "прочной предпосылкой всего языкового, точкой опоры и целью, и в этом смысле языковые действия считаются с ним как с чем-то изначально данным и уже существующим независимо от языка" [28, с. 53]. С этой же точки зрения он анализирует немецкие духовные концепты из сферы общения человека с природой, миром растений, приводя чрезвычайно тонкие наблюдения, касающиеся, например, понятий "фрукты", "овощи", "сорняк" и т.д. [28, с. 54—57].

Однако вернемся к "закону языкового сообщества". По мысли Вайсгербера, каждый человек рождается и вырастает в условиях родного языка (*Muttersprache*), т.е. языка данного сообщества, народа. "Мы находим здесь, таким образом, язык в форме сложившейся системы языковых средств, как культурное достояние народа, сравнимое с другими достояниями — правом, обычаем и традицией и т.п." [28, с. 185]. Отдельный член языкового сообщества получает роль "со-носителя" общего достояния, причем существование этого отдельного члена сообщества не играет большой роли для существования самого языка. С другой стороны, язык может проявляться лишь постольку, поскольку этот конкретный член сообщества учит и использует его. В этом заключается особая сущность языка, его действительность (*Wirklichkeit*). Из этого положения Л.С. Ермолаева заключает: «Отмечая, что законы развития языка независимы от воли и сознания людей, он (Вайсгербер) делает вывод о "господстве" языка над человеком. Не человек закрепляет в языке результаты своего познания действительности, а наоборот, язык определяет своей существующей а priori системой понятий результаты этого познания» [4, с. 65]. На основе подобной критической "интерпретации" Вайсгербера ему приписывают явный нонсенс: "Язык сам создает окружающий мир" [7, с. 29; 13, с. 426]. Это объясняет, почему критики ставят Вайсгерберу в вину агностицизм, не замечая принципиального положения неогумбольдтианства о возможности создавать новые понятия в процессе познания мира.

Родной язык выступает у Вайсгербера как основа существования всякого народного сообщества, как та нить, что связует теперешних носителей языка между собой и с будущими и прошлыми поколениями. Без родного языка "вообще не могли бы длительное время существовать на больших пространствах сообщества людей" [28, с. 186]. Входящий в сообщество просто вынужден перенять культурное достояние — язык, поскольку в нем в рамках сообщества действует норма, не дающая ему свободы выбора. Посредством других носителей язык побуждает каждого принять его формы и удерживает в них своего носителя всю его жизнь. И хотя родной язык неравномерно распределен между своими носителями, совокупное со-владение языком сохраняет его целостность и позволяет передавать его другим поколениям. Передача языка включает и формы, и специфические понятийные средства, поэтому, обретая язык, члены сообщества обретают и закрепленное в нем определенное представление о мире. Родной язык

создает основу для общения в виде выработки сходного у всех его носителей образа мышления (*Denkweise*). Причем и представление о мире, и образ мышления — результаты идущего в языке постоянно процесса мирозидания (*Weltbild*), познания мира специфическими средствами данного языка в данном языковом сообществе.

Это представление о мире, "мировидение", попадает в язык, по словам Вайсгербера, "очевидно, посредством труда языкового сообщества, посредством содействия всех, кто был в течение тысячелетий носителем языка. Именно особое существование и действенность языка как культурного достояния конкретного народа создает такое сотрудничество бесчисленных людей в общем деле: здесь в языке каждое поколение заложило свой опыт, каждое сохранило, приумножило, усовершенствовало полученное от предков достояние — и наоборот, лишь то из духовного труда прежних поколений достигло нас, сегодняшних, что получило языковую форму. И так народ в ходе своей истории строил свой язык, закладывая в него то, что представлялось ему ценным в его внутренних и внешних судьбах, в его исторических и географических условиях, в процессе становления и роста духовной и материальной культуры для того, чтобы осмыслить мир и овладеть им" [28, с. 191].

Описанные Вайсгербером особенности формирования мировидения определяют, по его мысли, своеобразие не только немецкого, но и любого другого языка. Языковая идиоэтничность — краеугольный камень неоромантизма. Именно она обуславливает то, что "народ, отказывающийся от своего языка, отказывается от самого себя, а та часть народа, которая меняет язык, делает тем самым решительный шаг к смене народной принадлежности" [28, с. 192]. Родной язык является, таким образом, судьбой для каждого и огромной силой в судьбе народов. Выдвижение на первый план этого качества снимает всякие подозрения, будто Вайсгербер "не учитывает, что человеческое сознание возникло и развивается как общественный продукт" [4, с. 49]. Но это же качество исключает безоговорочно отражательную концепцию языка.

Для Вайсгербера восприятие мира происходит опосредованно, через понятийную призму родного языка: "Принципиальная ценность знаков заключается не в каком-либо возможно более верном отражении данного бытия, а в том, на что они могут быть способны как средства познания" [24, с. 200]. В этом с ним солидарен, кстати, Б.А. Серебренников [19, с. 6]. Способ отображения действительности носит у Вайсгербера идиоэтнический характер и соответствует статичной стороне языка, языка как *ἔργον*. Этому не противоречит тезис, что "любой язык в своем генезисе (разрядка моя. — *P.O.*) является результатом отражения человеком окружающего мира" [13, с. 428]: ведь без исходного отражения было бы вообще невозможно и ни к чему проводить первичную номинацию. Между тем, по справедливому замечанию Б.А. Серебренникова, "неодинаковое членение континуума окружающего мира возникает в период первичной номинации" [13, с. 428]. Когда же развитие языка достигает периода родного языка внутри конкретного сообщества, то "космос языковых содержаний представляет собой не простое отражение, а сосредоточение сил, на которых основано духовное воссоздание мира, в свою очередь порождающее новые воздействия" [28, с. 31].

Наконец, "закон языкового сообщества" и более общий закон обусловленного языком бытия постоянно давали пищу критикам для обвинения Вайсгербера в немецком шовинизме [5, с. 129]. Между тем для него языковое сообщество вообще — естественная общность людей, "типичная и важная форма человеческого общества" [24, с. 106], которую Вайсгербер отождествляет с понятием "народ" (*Volk*) и противопоставляет его нации как политической общности, государству и расе. "Языковой закон человечества" сам подразделяет людей на языковые сообщества практически естественно, указывая тем самым путь, которым люди могут достичь человеческой, т.е. определяемой духовностью

и протекающей в духовно-культурном русле жизни" [29, с. 6]. Это естественное членение основано, таким образом, на многообразии родных языков, но главное — "ценности народности настолько же выше ценностей государственности, насколько принцип духа следует возвысить над принципом власти" [29, с. 7]. К сожалению, формулировки Вайсгербера подчас настолько двусмысленны, что его положения вызывают у критиков дальнейшие подозрения в реваншизме. На самом деле Вайсгербер подчеркивает неоднократно, что "признание особой роли за самостоятельным (языковым. — *P.O.*) народом вовсе не обязательно включает требование самостоятельного государства" [29, с. 10], оставляя возможность такого требования при известных условиях вполне реальной. С другой стороны, он отмечает, что "подобная претензия не выводима из закона языкового сообщества. То, что все члены сообщества могут и должны делать в отношении других, — это оптимально и полно использовать заложенные в этом законе ценности; ценности эти — духовной природы и могут осуществляться только духовными средствами [29, с. 12], причем прежде всего имеется в виду культивирование родного языка. Вайсгербер считает, что ни государство не имеет права вмешиваться в вопросы языкового сообщества, ни последнее не должно прибегать к государственному пути их решения. При этом отмечается, что "поглощение посредством политических, силовых методов тех членов языкового сообщества, которые иначе ориентированы в своей государственной принадлежности, противоречит этому основному закону" [29, с. 12]. Эти принципы Вайсгербер всячески стремится донести до европейских политиков, ведь всевозможные языковые запреты, чисто идеологические границы, угнетение языковых меньшинств суть проявления языкового империализма (*Sprachimperialismus*), который своими насильственными методами может спровоцировать ответные меры сообщества. Главная же мысль, отстаиваемая Вайсгербером, — его убежденность в необходимости "всеобщего духовного разоружения", основным атрибутом которого является не отказ от идеи родного языка, а наоборот — самое внимательное отношение к проблемам языкового сообщества, "языковой мир", призванный стать самым надежным гарантом политической стабильности в мире.

*

Можно было бы выявить множество любопытных особенностей перевода терминов Вайсгербера, добавить анализ соотношения языка и истории, языка и культуры в концепции Вайсгербера, раскрыть принципы анализа языкового материала, присущие "энергетическому языковедению". Однако достаточно полное раскрытие внутренней логики этой концепции возможно лишь в ходе постепенного, хронологически выверенного анализа философии языка Й.Л. Вайсгербера и его научного наследия в целом. Проследить эволюцию одного из важнейших современных учений о языке — неогумбольдтианства, развитие его теории и практики, судьбы понятий — задача нашего историографического исследования, призванного содействовать "духовному разоружению" отечественного языковедения.

Этой же цели служит и первая публикация Вайсгербера на русском языке — отрывок из исследования "Положение языка в системе культуры" [30, с. 211—224], посвященного взаимосвязи языка и других форм познания (мифологии, религии, мистики, науки), а также материальной культуры и языкового сообщества². Он освещает наиболее важные философские посылки учения Вайсгербера и позволяет заглянуть в самый ранний период его формирования. В настоящее время нами готовится к изданию также перевод первой книги Вайсгербера — "Родной язык и формирование духа" (1929).

² Перевод текста Вайсгербера выполнен нами. Библиография оформлена в соответствии с правилами, принятыми в журнале "Вопросы языкознания".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ачманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957.
2. Звегинцев В.А. Семасиология. М., 1957.
3. Шендальс Е.И. О грамматических значениях в плане содержания // Принципы научного анализа языка. М., 1959.
4. Ермолаева Л.С. Неогумбольдтианское направление в современном буржуазном языкознании // Проблемы общего и частного языкознания. М., 1960.
5. Гухман М.М. Лингвистическая теория Лео Вейсгербера // Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. М., 1961.
6. Леяковская К.А. Некоторые зарубежные языковедческие теории и понятие слова // Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. М., 1961.
7. Кузнецова А.И. Понятие семантической системы языка и методы ее исследования. М., 1963.
8. Степанова М.Д. Методы синхронного анализа лексики. М., 1968.
9. Филлипова Н.И. Методика "семантического синтаксиса" и возможности ее применения при анализе языкового материала // Уч. зап. МГПИИЯ. Т. 46. 1968.
10. Павлова В.М. Проблема языка и мышления в трудах Вильгельма Гумбольдта и в неогумбольдтианском языкознании // Язык и мышление. М., 1967.
11. Funke O. Studien zur Geschichte der Sprachphilosophie. Bern, 1927.
12. Рамиячили Г.В. // ВЯ. 1962. № 6. Рец. на кн. Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике
13. Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970.
14. Moskalkaja O.I. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 3. erw. u. verarb. Aufl. Moskau, 1983.
15. Кондрашов Н.А. История лингвистических учений. М., 1979.
16. Кодухов В.И. Общее языкознание. М., 1974.
17. Попов Ю.В. Общая грамматическая теория в немецком языкознании. Минск, 1972.
18. Чесноков П.В. Неогумбольдтианство // Философские основы зарубежных направлений в языкознании. М., 1977.
19. Серебrenников Б.А. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира / Под ред. Серебrenникова Б.А. М., 1988.
20. Добровольский Д.О., Баранов А.Н. Лео Вайсгербер в когнитивной перспективе // ИАН СЛЯ. 1990. № 5.
21. Радченко О.А. Функциональная грамматика немецкого языка в ГДР и ФРГ: Дис. ...уч. ст. канд. филол. наук. М., 1989.
22. Радченко О.А. Языковая картина мира или языковое мирозидание? (К вопросу о постулатах Й.Л. Вайсгербера) // ИАН СЛЯ. 1990. № 5.
23. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
24. Weisgerber J.I. Sprache als gesellschaftliche Erkenntnisform. Ph.D. Bonn, 1925.
25. Weisgerber J.I. Zur Grundlegung der ganzheitlichen Sprachauffassung. Aufsätze 1925—1933. Düsseldorf, 1964.
26. Михеев А.В. Психолингвистическое исследование семантических отношений (на материале слов-цветообозначений): Автореф. дис. ...канд. филол. наук. М., 1983.
27. Фрумкина Р.М. Цвет, смысл, сходство. Аспекты психолингвистического анализа. М., 1984.
28. Weisgerber J.I. Grundzüge der inhaltbezogenen Grammatik. 3., neub. Aufl., Düsseldorf, 1962.
29. Weisgerber J.I. Die Sprachliche Zukunft Europas. Lüneburg, 1953.
30. Weisgerber J.I. Die Stellung der Sprache im Aufbau der Kultur // Wörter und Sachen. 1933. Bd. 15.

Й.Л. ВАЙСГЕРБЕР

ЯЗЫК И ФИЛОСОФИЯ

Остается поговорить о том значении, которое язык имеет для философии. Строение и границы этой области трудно зафиксировать и определить по сравнению с уже упоминавшимися областями, поскольку мнения о предмете и задачах философии в значительной степени расходятся. Следует ли рассматривать философию как сферу систематизации результатов конкретных наук и объединения их в общую картину, следует ли считать ее той основой, которая позволяет оценить оправданность, научную ценность той или иной проблематики в различных областях? Или же это ограничение, эта тесная связь с областью наук не имеет силы, и философия призвана быть некой надстройкой над всеми сферами человеческого знания и желания, предположения

и долженствования? В зависимости от взгляда на эти вопросы будет меняться и оценки роли языка по отношению к области философского знания. М. Шелер отстаивает определенную точку зрения, говоря о философско-метафизическом знании, и немедленно делает из этого вывод, что "философия обязательно и в большей степени связана с естественными народными языками", чем, к примеру, прочие науки.

Поскольку мы не ставим перед собой задачу проанализировать различные концепции сущности философии с целью принять сторону одной из них, то будет наиболее логичным рассмотреть конкретные традиционные разделы философии: теорию познания, логику, культурфилософию, этику, метафизику и т.д. Начать следует при этом с гносеологии и логики, которые одновременно наиболее близки к прочим наукам по их предмету и методам.

Гносеология и логика выделяются также тем, что для них обеих решающее значение имеет вопрос о том, какое место занимает язык среди их предметов и какое воздействие на них он оказывает. Достаточно вспомнить номиналистские тенденции, проявляющиеся на протяжении всей истории философии, или же неоднократные попытки выявить связь с конкретным языком тех принципов и категорий, которые логикой признаны всеобщими. С тем чтобы занять какую-либо позицию по этим сложным проблемам, целесообразно проанализировать прежде всего два понятия, которые существенны как для гносеологии, так и для логики, а именно: мыслительную способность (*Denkvermögen*) и мыслительные универсалии (*Denknotwendiges*).

С мыслительной способностью человека особенно считается логика как с основой возможных форм мыслительной деятельности человека; она исходит из задачи показать самые общие условия и структурные законы этой способности, чтобы таким образом одновременно прийти к масштабам оценки мыслительных универсалий, истинного. Мы со всей очевидностью затронем сердцевину проблемы, если поставим вопрос, каковы отношения между этой мыслительной способностью и языковой способностью человека (*Sprachvermögen*). Является ли языковая способность формой проявления мыслительной способности, и — даже будучи столь важной, что почти везде признается невозможность мышления вне языка, — воспринимает ли она свою сущность и свои законы из мышления? Или же связь между ними более тесная, так что одно с необходимостью дано вместе с другим? Трудно здесь дать общепринятый ответ; понятие мыслительной способности не имеет однозначного определения с точки зрения философии, позволяющего включить его как устойчивую величину в философские рассуждения. С другой стороны, мы пока не в состоянии дать какое-либо заключение о языковой способности человека. То, что дано в языковой способности человека и в ее воздействиях, являлось в XVIII и начале XIX в. предметом весьма усердных изысканий, однако позднее языковедение этим не занималось, а философия не видела причин разбираться с этими не совсем простыми проблемами. Поэтому сегодня следует подхватить нить исследования там, где она была оборвана, у В. фон Гумбольдта. Гумбольдтом часто повторялась та принципиальная мысль, что одной из основных целей сравнительного изучения языков является задача "измерить языковую способность рода человеческого" (так уже в 1810 г., см [1, т. VII, 2, с. 622]). "Все отдельные языки близки между собой, все, даже очень различные, особенности объединяются в языковой способности человека. Эта способность есть сердцевина изучения языков, к которому должно стремиться все в процессе этого изучения и которое должно определять все части и все операции изучения языков" [1, т. IV, с. 242]. К этой языковой способности человека обращены поэтому важные мысли Гумбольдта. Уже среди наиболее ранних работ Гумбольдта, посвященных языку, находим фрагмент о языковой способности человека (1795?, [1, т. VII, 2, с. 581—583]), а в неоднократно повторявшихся позднее мыслях о "природе языка вообще" эта идея расширяется и получает толкование ([1, т. V, с. 374; 1, т. VI, с. 151; 1, т. VII,

1 с. 52]). Точка зрения Гумбольдта такова: "Уже говорилось ранее, и это можно, пожалуй, считать бесспорным, что язык есть не просто обозначение сформированной независимо от него мысли, а собственно орган, формирующий эту мысль. Интеллектуальная деятельность, непременно духовная, непременно внутренняя и в известной мере проходящая бесследно, становится с помощью звука в речи внешней и воспринимаемой органами чувств и получает посредством письма непреходящее воплощение. Созданное таким образом — это разного рода сказанное и записанное, язык же — совокупность звуков, которые способна таким путем извлекать определенная интеллектуальная деятельность, включающая язык, и соединений и преобразований звуков, возможных благодаря законам (пронтекающим опять-таки из природы интеллектуальной деятельности и соответствующей ей системы звуков). Интеллектуальная деятельность и язык являются по этой причине единым целым и друг от друга неотделимы. Нельзя даже просто рассматривать первую как создающую, а второй — как продукт. Ведь хотя то, что говорится всякий раз, и является продуктом разума, все же оно как часть уже существующего языка определяется вне деятельности интеллекта звуками и законами языка и воздействует на интеллект, сразу же возвращаясь в язык, определяющим образом. Интеллектуальная деятельность связана с необходимостью вступать в соединение со звуком, иначе мышление не сможет достичь ясности, а представление не станет понятием" [1, т. V, с. 374]. Таким образом, оказывается невозможным различать внутри интеллектуальных сил человека языковую и мыслительную деятельность: "Неразрывная связь мысли, органов речи и слуха с языком навечно заложена в первоначальном, необъяснимом точно устройстве человеческой природы" [1, т. VII, 1, с. 53]. При этом Гумбольдт не оставляет никаких сомнений в том, что привязанность к языку свойственна не только высказанной мысли: "Отвлекаясь от общения между людьми, можно сказать, что говорение (т.е. привязанность к языку) есть необходимое условие мышления конкретного человека в совершеннейшем одиночестве" [1, т. V, с. 377].

Следует подчеркнуть, что эта привязанность мышления к языку справедлива для всех реальных мыслительных актов, однако же нужно различать связанную с языковой способностью мыслительную деятельность и, вероятно, не связанную таким же образом с языковой способностью мыслительную способность и далее мышление как таковое. За последним необходимо затем признать все основные функции, проявляющиеся во многообразии реальных выработанных мыслительных и языковых форм. Философия, в особенности логика, занимается, по всей видимости, этими явлениями, конституирующими все мыслительные и речевые акты. А как же тогда языковая способность? То, что и это разделение не является решением проблемы, доказывает, по моему мнению, весь ход развития учения о мышлении. Если самые убедительные рассуждения о природе и основах мышления последнего времени, "Основы психологии мышления" Р. Хенгсвальда (2-е изд., Лейпциг, 1925), помещают в ядро учения о мышлении понятие значения (Bedeutung) в качестве структурного закона психического события, "определяющего элемента для всего, связанного со смыслом и ценностью, а также для смысла и ценности как таковых", "точки совпадения определенности личности и бытия" и пр., то можно уверенно сказать, что в понимаемом таким образом значении содержатся существенные части понятия языковой способности (ср. мои рассуждения в [2, с. 39]). Реальная практика логики также доказывает, что нет никаких оснований различать проявления мыслительной способности и проявления языковой способности.

Насколько запутанны эти вопросы — отчасти из-за соответствующего влияния недостаточно согласованной терминологии, — видно из следующего: даже у В. фон Гумбольдта, стремившегося все же "измерить языковую способность человечества", можно найти такие высказывания. "Законы мышления у всех наций

строго одинаковы" [1, т. VI, с. 301]¹. И кажется, будто он желал обособить от исследования языковой способности некие "неизменные законы всеобщих идей"; он обозначает сферу возможного многообразия и различия языков как "строго ограниченную, с одной стороны, природой языков, инструментов, состоящих из определенного количества звуков и допускающих лишь определенное число их сочетаний; далее, природой человека, устройством его органов и возможным объемом его способности воспринимать, мыслить и чувствовать; далее, неизменными законами всеобщих идей, которым подчинены все особые случаи их применения; наконец, внешними, окружающими нас предметами. Эта область есть пространство, остающееся свободным между низшей, неизбежной потребностью и наивысшим выражением, свободным по обе стороны для самых разнообразных способов достижения этих ступеней разными средствами. Эта область должна быть исследована общим языковедением, обработана и оплодотворена" [1, т. IV, с. 243]. Было бы неверным, однако, делать вывод из этих высказываний, что Гумбольдт принципиально различает проявления человеческой мыслительной и языковой способностей или же желает ограничить работу языковедов последней. Даже в рассуждениях о всеобщих человеческих основах грамматики [1, т. V, с. 449 и сл.], где говорится: "Законы мышления содержат основные определения грамматики... Они составляют непременно философскую часть языка... Может существовать лишь один истинный способ выведения этих законов" [1, т. V, с. 451]. Гумбольдт с такой же резкостью отвергает смешение логического и языковедческого подходов к этой проблеме, скептически относясь к исключительно логическому исследованию фактов мыслительной способности.

Чтобы преуспеть в решении этих вопросов, есть лишь один путь: указанные логикой закономерности человеческого мышления следует соединить с минимумом общностей, устанавливаемых между различными языками Земли в ходе их сравнения. Следует указать на то, что не существует единого мнения в отношении возможного радиуса проявления этих общностей ни в философии, ни в языкознании, а тем более между ними. Одни представляют ту точку зрения, что следует считаться с минимумом мыслительных универсалий внутри человеческого мышления и познания. Другие исследователи подвергают это общечеловеческое сомнению либо по меньшей мере считают его менее значительным, чем это обычно полагается. Интересно, что эту последнюю точку зрения поддерживают более всего "сравнительные науки", т.е. дисциплины, черпающие свои выводы из материала наблюдений, которые они распространяют на как можно большую часть человечества. Нет сомнения в том, что многие укоренившиеся в нас воззрения и способы поведения и отношения оказываются "выученными" (erlernt), т.е. общественно обусловленными, как только мы проследим сферу их проявления по всему миру. Это касается явлений вкуса (оценка приятного и неприятного, вкусного и отвратительного в еде и пр.), форм искусства (к примеру, музыки, гамм с разными интервалами и т.д.), представлений о праве; это справедливо также для понятий и форм мышления. Таким образом, имеется достаточно точек приложения для усилий по устранению понятий "естественного мировоззрения", "здорового смысла" либо по крайней мере для проверки того, насколько эти понятия имеют смысл. Следует вспомнить неперемное отрицание М. Шелером абсолютно константного естественного мировоззрения: "Социология знания должна напрочь отвергнуть традиционное понятие абсолютно константного естественного мировоззрения" [3, с. 59], а также концепцию Т. Пройса, который в свете этнологии считает так называемый здравый смысл "не чем иным, как "европейским образом мышления".

М. Шелер и О. Шпенглер согласны друг с другом в том, что "система категорий Канта является лишь системой категорий европейского мышления"

¹ "Наша есть характеризуемая определенным языком духовная форма человечества, индивидуализированная в отношении к идеальной целостности" [1, т. VI, с. 125].

[3, с. 60]. Подобные высказывания подозрительно приближаются к тому рубежу, на котором вообще следовало бы прекратить разговоры о "мыслительных универсалиях", базовых формах человеческого мышления и познания.

В этой ситуации рассмотрение указанных вопросов с точки зрения языка приобретает, пожалуй, известное значение. Ведь понятие абсолютного, константного естественного мировоззрения противопоставляется понятие относительно естественного мировоззрения. М. Шелер определяет его следующим образом: «К относительно естественному мировоззрению (*relativ natürliche Weltanschauung*) группового субъекта, относится все, что в этой группе вообще считается безусловно "данным", и всякий предмет и всякое содержание мнения в структурных формах "данного" без особых спонтанных актов, причем такие, которые считаются и воспринимаются как в целом не нуждающиеся в оправданиях и не способные к этому. Однако именно это может быть совершенно различным у разных групп и у одной и той же группы на разных этапах развития» [3, с. 59]. Стоит спросить, с какими группами связаны такие формы относительно естественного мировоззрения, как они проявляются, какими путями их фиксируют, передают другим поколениям, развивают далее. М. Шелер представляет себе такие "групповые субъекты" в виде прежде всего эволюционных единиц. Он считает, что "относительно естественное мировоззрение" есть органическая поросль, которая распространяется только на очень больших отрезках времени. Она совершенно не затрагивается обучением; меняется она в глубоком смысле слова, пожалуй, только в результате смешения рас и возможного смешения языков и культур. Во всяком случае она относится к «самым глубинам автоматически функционирующей "групповой души", а вовсе не к групповому "разуму»» [3, с. 61]. Здесь вполне уместно замечание с точки зрения языкознания: в качестве естественных надпродолженных и надвременных форм членения человечества на группы можно выделить лишь две — сообщество, связанное общим происхождением (*Abstammungsgemeinschaft*) и языковое сообщество (*Sprachgemeinschaft*). Можно было бы, естественно, полагать идеальным случай совпадения этих форм; но такое совпадение обнаруживается на Земле лишь в незначительных количествах случаев. Нам не нужно здесь даже сопоставлять важность обеих форм (проблема языка и расы будет обсуждаться ниже), но можно вывести и доказать, что факты, причисляемые к сфере "относительно естественного мировоззрения", сильнее связаны с языковым сообществом, чем с сообществом по происхождению. То, что в результате сравнительно-психологических исследований аборигенов, душевнобольных, детей, а также взрослых европейцев, находившихся в состоянии сильного возбуждения, было выделено как общее "естественное представление о мире", очевидно, не обнаруживает в способах поведения, обусловленных не рациональными причинами, а аффектом, явных различий, хотя здесь можно было бы ожидать скорее расово обусловленных различий (ср. статью Р. Кенига о созданной во французской психологии и социологии — Л. Леви-Брюль, Р. Альер, Д. Эссертье — теории "естественного отношения к миру" в [4, с. 210]). Если помимо этого "нервизма" как естественной реакции человека на окружающий мир, прежде всего связанной со страхом и ужасом, возникает противоположная сила, основанная на усилении рационального интеллекта (в обеих формах — технике и "науке"), то ясно, что в этой сфере можно говорить лишь об относительно естественном мировоззрении, связанном уже не с происхождением, а с возможными внутри языкового сообщества формами духовной общности. Многие из того, что в какой-либо группе считается "безусловно данным", как "не нуждающимся в оправданиях и не способным к этому", безусловно заложено во внутреннем строении ее языка и становится "само собой разумеющимся" для членов этой группы в результате изучения этого языка (см. примеры у Фр. Гребнера в [5], гл. "Мировоззрения и языки"). Духовное объединение людей, принадлежащих по происхождению к разным сообществам, посредством одного и того же языка охватывает широкие

области "относительно естественного мировоззрения" (при этом можно оставить открытым вопрос о его радиусе действия; о его влиянии на обычай и традицию выше упоминалось). Подобные причины дают право сделать вывод, что для формирования и передачи фактов "относительно естественного мировоззрения" важное значение принадлежит языку. Сравнение языков предоставляет основания (впрочем, и ограничения) для предположения о существовании таких различий внутри человечества; поскольку эти различия касаются сферы интеллектуального, постольку они должны обязательно быть закреплены в основных чертах строя данного языка и развиваться далее.

Если рассматривать понятия "мыслительной способности" и "мыслительной универсалии" под указанным углом зрения, то становится ясно, что было просто необходимо всякий раз оценивать результаты гносеологических и логических исследований с точки зрения языковедения. Из этого не обязательно следует одностороннее преувеличение роли языка, напротив, ключ к решению проблем — в сотрудничестве языковедения с этими философскими дисциплинами.

Наиболее перспективна в этом смысле теория познания. Первая задача, преодоление наивного понятийного реализма, здесь давно принципиально решена; в средневековой дискуссии об универсалиях крайние реалисты были опровергнуты довольно скоро. Тем самым, однако, была поставлена новая задача — попытаться включить язык в процесс познания с более правильных позиций: ведь очевидно, что крайний номинализм не был более оптимальным решением, как и попытки исключить язык из анализа. Здесь можно было бы написать прямо-таки историю проблемы познания с точки зрения оценки языка. И хотя полученные результаты многообразны, можно все же считать типичным случай Джона Локка, который, как известно, заявил, что в ходе размышлений о человеческом познании он "ни в малейшей степени не подозревал, что для этой цели может быть вообще полезен учет слов", пока он под давлением фактов не осознал, что ясность в вопросах нашего познания недостижима без изначального учета языка (см. статью А. Цобеля в *Anglia* 52, с. 289). Таковы подходы, которые уже по своим исходным положениям не могли быть достаточно обоснованными. Воистину принципиальный вклад в теорию познания языковедение смогло внести лишь тогда, когда оно пришло к идее сравнения языков в самом глубинном его смысле и попыталось развить эту идею. Поэтому следует ожидать, что возможная роль изучения языков для теории познания была наиболее отчетливо осознана теми, кто глубже всех осмыслил идею сравнения языков, и прежде всего — В. фон Гумбольдтом. В одной из самых знаменитых цитат из академического сочинения "О сравнительном изучении языков" эта точка зрения представлена так: из взаимозависимости мысли и слова следует, что "языки не являются собственно средствами изображения уже познанной истины; более того, они суть средства открытия до сих пор еще не познанного". Различие между языками означает не различие "в звуках и знаках, а различие в мировидении (*Weltansicht*) как таковом". Сумма познаваемого — это "поле, подлежащее обработке со стороны человеческого духа", которое расположено "между всеми языками и независимо от них в середине". Многообразие человеческих языков имеет тот смысл, что к этой середине следует продвигаться с разных сторон. Сравнительное изучение языков черпаем в этом обстоятельстве смысл и цель; одновременно это позволяет вовлечь в анализ по возможности все языки человечества. Начало этого процесса познания Гумбольдт связывает с конкретной личностью: "Человек сможет приблизиться к этой чисто объективной сфере не иначе как своим собственным способом познания и восприятия, т.е. своим субъективным путем". Поэтому всякий акт познания обязательно должен быть творческим актом, в котором участвует также "сила субъективной индивидуальности". Но одновременно этот акт "возможен лишь с помощью и посредством языка". Язык, однако, есть творение нации, в котором нашел свое отражение процесс познания всех

прошлых поколений; язык как таковой — уже духовный мир, предстающий перед конкретным человеком как нечто объективное, но являющийся по отношению к познаваемому субъективным, односторонним. Но многообразие языков следует понимать так, что "каждый язык есть отголосок общей природы человека". "И если даже воплощение всех языков никогда не сможет стать идентичным отображением субъективности человечества, то языки все же постоянно приближаются к этой цели. Субъективность всего человечества становится, однако, чем-то объективным. Изначальное совпадение мира и человека, на котором основана возможность всякого познания истины, обретается вновь, являясь нам все чаще в виде небольших фрагментов" [1, т. IV, с. 27]. Бесспорно, эта точка зрения достойна того, чтобы соотнести ее с различными воззрениями, бытовавшими и бытующими теперь в теории познания. Эта точка зрения также способна преодолеть наивный понятийный реализм во всех его разновидностях, а также, с другой стороны, односторонности номинализма, абсолютного идеализма, релятивизма и скептицизма. ("Если же затем возникает страх за несомненность объективной истины, то достаточно вновь для успокоения того, что субъективность конкретного человека устраняется, смягчается субъективностью его нации, эта последняя — субъективностью предыдущих и современных поколений и, наконец, субъективностью их — субъективностью человечества вообще" [1, т. V, с. 9].) Поэтому стоит сожалеть, что это воззрение нашло лишь слабый отзвук в теории познания девятнадцатого столетия либо не было ею учтено. Тот факт, что мысли Гумбольдта все же еще живы, доказывает поразительное сходство с ними сегодняшних гносеологических позиций. Философия символических форм Кассирера во многом основана на Гумбольдте, и ей принадлежит несомненная заслуга в том, что языку вновь отводится положение формы познания. Идея Гумбольдта о лежащей посредине истине распространена за пределы языков на множество предполагаемых Кассирером форм познания. (Плодотворность этой идеи еще проявится в будущем.) Роль языкового сообщества внутри процесса познания получила достойное признание в новейшей работе В. Хенигсвальда [6]. Если Хенигсвальд и в более ранних своих трудах подчеркивал важность языка для мышления, для проблемы "я", проблемы предметности и пр., то теперь за языковым сообществом признается характер *μονός* [6, с. 114], а тем самым — и значение языкового сообщества (как языкового индивидуума) для процесса познания: «И сообщество есть "индивидуум", и ему соответствует охватывающий язык индивидуумов языковой индивидуум» [6, с. 117].

С этих позиций следует оценивать положение языка в процессе познания, а также языка как предмета учения о познании. Если Гумбольдт как-то назвал язык "человеком, приступающим к объективной мысли" [1, т. V, с. 9], то надо напомнить лишь, что этот человек выступает непременно распределенным в языковом отношении между языковыми сообществами, чтобы осознать, что требуется привлечение обширных данных языкознания, чтобы достичь познания "объективной мысли". Все отношение между языком и познанием можно сконцентрировать в задаче установить, "как соединяются в мыслительных средствах, коими располагает язык для освоения определенной области жизни, общечеловеческое, "соответствующее реальности" и сформированное языком, выросшее из данностей определенной человеческой группы, определенных исторических условий, заложенных в определенном языковом строе возможностей" (см. мою статью [7]); несколько иначе считает Гумбольдт [1, т. IV, с. 26], видящий во всяком языке результат трех воздействий: реальной природы объектов, субъективной природы нации и присущей самому языку специфической силы. Включение и освещение этого языкового посредующего мира (*Zwischenwelt*) есть стержневая задача языковедения с точки зрения гносеологии.

Намного сложнее достичь оптимального масштаба для оценки взаимосвязи языка и логики. В ходе чрезвычайно запутанного развития этих отношений,

который мы не можем осветить в данной небольшой статье даже с точки зрения его основных этапов, в логике возникли известные течения, которые, как считают их представители, уже избавились, наконец, от оков языка; с другой стороны, нет недостатка в признаниях того, что «язык, грамматика безусловно относятся к *conditio sine qua non* даже самых абстрактных и "чистых" логических и гносеологических категорий», что от языкового уровня "во многих случаях зависит судьба таких логико-теоретических и гносеологических исследований" [8, с. 237].

Мы не станем вдаваться здесь в дискуссию о соотношении грамматики и логики, которая поневоле оставалась бесплодной, пока единственным ориентиром была традиционная схема греко-латинской грамматики. Проблема языка и логики становится реально разрешима лишь с точки зрения на язык как форму общественного познания. При этом складываются методы, требующие, независимо от различных мнений о сущности и задачах логики, учета определенных языковых фактов.

Совершенно очевидна роль языка для проблемы логического понятия. История учения о понятии (ср. [9]) предоставляет разнообразные тому свидетельства, и не в последнюю очередь там, где учение о понятии трансформируется в учение о значении. Там, где логика ведет речь о видах существования, ценности, возникновении, осознании, дефиниции понятий, она не может не учитывать языковедческие трактовки роли языкового знака в построении содержаний понятийной природы; выявлении существования понятий в языке как культурном достоянии, языке какого-либо сообщества; в фактах неосознанной, осуществляемой посредством языковых знаков передачи этих понятий из языка сообщества каждому его члену; в осознании того, что вместе с данными в качестве предпосылки "признаками" и творения языка неосознанно включаются в предпосылки логики (ср. положение Кассирера в [10, с. 129]: путь от понимания понятий как "значений имен" (Гуссерль) к выводам о существовании и ценности этих понятий возможен лишь посредством сравнения языков [2, с. 33]). Такие вопросы, как отношение частей речи к установленным видам понятий, выявление неязыковых понятий, на которых могло бы основываться логическое учение о понятиях после того, как даже логистике не удалось решить проблему языка; применимость логических результатов к понятийным формам языков, значительно различающихся по своему строю от индоевропейских, — все эти вопросы позволяют понять, что всякий шаг за пределы наиболее общих логических положений ведет к вовлечению в анализ языкового уровня. И с этой точки зрения напрашивается вопрос о том, не ориентированы ли наиболее всеобщие положения логического учения о понятии по сути на языковые обстоятельства либо данности определенного языка или языкового сообщества.

Подобно этому следует проанализировать предпосылки, на которых основано логическое учение о суждении и заключении. В дополнение к сказанному о проблеме мыслительных универсалий можно не приводить отказ от поисков общечеловеческих форм мышления либо от логического идеала установления "истинных", "необходимых" форм суждения и заключения. Предположение о единстве в конечном итоге всего человечества с точки зрения основ мышления будет нелегко отбросить. Однако возникает вопрос, на основе каких данностей можно осмелиться считать какую-либо форму суждения, заключения необходимой, универсальной. Можно согласиться с тем мнением, что в большом количестве логических положений о суждении и заключении указаны довольно тонкие, точные и однозначные методы, но это не означает, что они выходят в связи с этим за рамки мыслительных форм определенного языкового типа, к примеру, индоевропейского. Нельзя не принимать во внимание исследования образа мышления других языковых конгломератов, — например, что существуют народы, для мышления которых тезис о тождестве не обладает такой же абсолютной

справедливостью, как для нас; что во многих языках вообще не имеют смысла некоторые формы заключения; однако для оснований логики нельзя обойтись без выяснения того, насколько образы мышления других народов совпадают с признанными нашей логикой принципами в смысле их последовательной применимости и выводимости. Это тем более важно, если учесть с точки зрения языка как формы общественного познания, что и формы мышления существуют в синтаксических данностях языка конкретного сообщества и что они становятся благодаря изучению языка для конкретных членов сообщества обыденными, "естественными" способами мышления. Может ли логика указать путь действительного исключения этих языковых предпосылок из логических систем? Существуют ли иные возможности осознания и преодоления заключенных здесь опасностей субъективных либо социально обусловленных масштабов, помимо сравнения языков?

Если рамки этой статьи не позволяют далее исследовать эти вопросы, то отношение языка к другим областям философии можно обрисовать лишь эскизно. Взаимосвязь языка и культурфилософии со всеми ее разделами можно проследить на протяжении всей этой статьи. Связи с этикой обнаруживаются, если понимать ее и как сравнительную моралистику ([11, с. 315 и далее]; как воздействия языка на наивные представления и способы поведения, так и явления параллелизма языка и обычая), и как нормативную этику (языковую этику). В самой дискуссионной области философии, метафизике, языковед не имеет как таковой права решать, следует ли и как именно заниматься метафизикой в рамках научной философии. Однако он обязан учитывать, что метафизику неоднократно и особенно тесно связывали с языком. Конечно, Й.Г. Гаманн не был первым ученым, попытавшимся подкрепить метафизику данными языка [12]. Фр. Баадер следует распространенной в его время точке зрения, когда замечает в 1793 г.: "Поэтичность нашего языка виновна во всех метафизических нелепицах. Ты говоришь о разуме, воле и не можешь говорить о них иначе, как об отдельных сущностях. Это приводит к анализу нашего языка, а в результате этого — к исчезновению всяческих метафизических миражей" [12, с. 261]. Весьма сходны с этими мыслями надежды Р. Карнапа на преодоление метафизики посредством логического анализа языка. Карнап выступает здесь от имени всего Венского кружка, вызываясь доказать путем логического анализа языка полную бессмысленность мнимых положений всякой метафизики (а к ним он относит и философию ценности, и учение о норме). С точки зрения анализа "значения слова" должны оказаться, по мысли Карнапа, абсолютно лишними значения такие термины метафизики, как принцип, идея, абсолют, сущность; логическое представление о "смысле предложения" также позволяет, якобы, доказать ложность метафизических положений, и тем самым должна быть доказана, по Карнапу, бессмысленность всяческой метафизики. У языковеда найдутся, естественно, весьма упорные возражения против этой аргументации (как и вообще против некоторых положений логики Карнапа и идеи физического языка), однако все же следует выяснить, насколько возможна такая оценка роли языка в метафизике. Даже работы, настроенные вовсе не агрессивно против метафизики (как, скажем, [13]), именуют метафизику "инстинктивным стремлением языка сорвать с себя оковы, преодолеть бытующие в нем подходы", "борьбой языка с самим собой" (с. 21). Таким образом, и здесь достаточно призывов к языковедению высказаться со своей стороны по этим проблемам. (За рамки этого выходит статья Х. Пиппинга против Фосслера "Языковедение и метафизика" в [14].)

Поскольку язык служит средством философской мысли, постольку помимо уже сказанного о значении языка для научного мышления следует подчеркнуть правильность мысли М. Шелера, что философско-метафизическое мышление в гораздо большей степени сказано с народным, разговорным языком,

чем другие науки. Приведенные выше слова Гердера² подтверждает "История философской терминологии" Р. Ойкена (Лейпциг, 1879), причем как словесно, так и путем исследований процесса развития философских терминов. Поэтому философская терминология остается — как свидетельствуют словари философских понятий — менее унифицированной и стабильной, чем термины других наук. Из осознания того, что "дискуссия вокруг слов" особенно опасна в философии, следуют усилия по упрощению философских дискуссий путем упрощения использования слов. Фр. Маутнер не был единственным, кого привел к скептицизму тот факт, что осознания как предпосылка философии критика языка может быть осуществлена не иначе как языковыми средствами (хотя В. фон Гумбольдт указал перспективный путь в виде сравнения языков). Это чувство связанности с языком ведет к наиболее резкой реакции в той области философии, для которой независимость от языка обладала бы фундаментальным значением, — в логике. Предпринятые здесь попытки усовершенствовать, дематериализовать и наконец вовсе отделить от обычного языка средства изложения логических принципов были особо отмечены Х. Шольцем в его "Истории логики" (Берлин, 1931). Лейбницев *calculus ratiocinator*, который был призван открыть новые пути не только для логики, позволил в результате дальнейшего его развития вплоть до сегодняшней логистики создать формы логического мышления, которые вместо слов и предложений используют исключительно знаки и формулы [16—18]; дальнейшую литературу см. в работе Шольца, (с. 73). Решающим становится вопрос, преодолела ли логистика принципиально свою привязанность к языку или же она содержит в значительной степени усовершенствованные, механизированные, формализованные языковые приемы. Логистика теснейшим образом связана с математическим складом мышления (современным его выражением являются *Principia mathematica* Рассела—Уайтхеда); оценка ее связана поэтому с разрешением проблемы взаимосвязи языка и математики <...>

В связи с многообразием философского учения, большим количеством сосуществующих систем, отсутствием логичной и терминологически связанной системы всей философии "отдельный исследователь" всегда слышит упрек в том, что он упускает из виду собственно философские проблемы. Это, однако, не снимает с языковедения обязанности до тех пор, пока философия вынуждена строить свое здание средствами языка, указывать на то, что языковые факты действуют как предпосылки, предмет и средство даже — и особенно — в философии. Совместные усилия должны преуспеть в выявлении этих отношений и в их познании во всей их глубине, в гораздо большей степени, чем те воздействия греческого языка на греческую философию, которые были выделены Й. Штенцелем и Э. Кассирером.

Это шествие по различным областям духовной жизни позволяет понять значение языка для построения различных форм знания и познания (вопросы технологического знания, экономики и пр. будут исследованы нами в разделе "язык и материальная культура"). Несомненно одно: язык действует во всех областях духовной жизни как созидающая сила, и если далее проследить поднятую проблему, то важность языка сможет быть выявлена еще более явно. Тот же, кто не склонен столь высоко оценивать языковое влияние внутри форм знания, должен постоянно размышлять над вопросом, насколько далеко продвинулись бы эти

² "Мы являемся людьми еще до того, как становимся мудрецами; мы обладаем, таким образом, языком и образом мышления прежде, чем приближаемся к философии, и оба они должны стать основой: язык рассудка — для разума, а образ мышления — для умозрения. Что же тем самым положено в основу? Родной язык, весь объем понятий, который мы усвоили с материнским молоком. Родной язык, целый мир знаний, не являющихся изученными. Родной язык, поле, на котором произрастали все письменна светлого разума, — что это за кладезь идей! Это гора, по сравнению с которой горстки философских абстракций — лишь жалкий искусственный холмик, как несколько капель извлеченного разума по сравнению с мировым океаном языка" [14, т. II, с. 98 — Примеч. перев.].

формы знания, не будь языка вовсе. Если же расширение всякого знания связано с применением языковых средств, то невозможно не признать тем самым неизбежной действительности языкового познания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Humboldt W. von*. Gesammelte Schriften. B., 1893. Bd. 1—16.
2. *Weisgerber J.L.* Sprachwissenschaft und Philosophie zum Bedeutungsproblem // *Blätter für deutsche Philosophie*. 1930. Bd 4
3. *Scheler M.* Probleme einer Soziologie des Wissens // *Versuche zu einer Soziologie des Wissens*. München; Leipzig, 1924.
4. *Soziologus*. 1932. Bd. 8.
5. *Graebner Fr.* Das Weltbild der Primitiven. Eine Untersuchung der Urformen weltanschaulichen Denkens bei Naturvölkern. München, 1924.
6. *Hönigswald R.* Grundfragen der Erkenntnistheorie. Tübingen, 1931.
7. *Weisgerber J.L.* Sprachvergleichung und Psychologie // *Bericht über den XII. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie*. Jena, 1932. S. 201.
8. *Jahrbuch für Philologie*. 1927. Bd II.
9. *Horn F.* Der Begriff des Begriffes: Diss. Leipzig, 1931.
10. *Kantstudien*, 1928. Bd 33.
11. *Spranger E.* Die Aufgaben einer Moralwissenschaft // *Forschungen und Fortschritte*. 1932. Bd 8.
12. *Unger R.* Hamanns Sprachtheorie. München, 1905.
13. *Mutius G. von* Wort, Wert, Gemeinschaft. München, 1929.
14. *Neuphilologische Mitteilungen* 1924. Bd 25.
15. *Herder J.G.* Sämtliche Werke / Hrsg. von Suphan B. Bd 1—33. B., 1877—1913.
16. *Hilbert D., Ackermann W.* Grundzüge der theoretischen Logik. B., 1928.
17. *Burkamp W.* Logik. B., 1932.
18. *Carnap A.* Abriss der Logistik. Wien, 1924. Sp. 1929.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

© 1993 г. ПИОТРОВСКИЙ Р.Г., ПОПЕСКУЛ А.Н., СОВПЕЛЬ И.В.

КАК СТРОИТСЯ И РАБОТАЕТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АВТОМАТ

1. Информационно-семиотические основы построения лингвистического автомата.

Исследовательская группа "Статистика речи" (СтР), основные коллективы которой работают в Санкт-Петербурге, Минске, Кишиневе, а также в Средней Азии [1], разрабатывает в течение более чем тридцати лет лингвистическую проблематику искусственного интеллекта [2]. Одновременно в группе создавались экспериментальные и промышленные системы автоматической переработки текста (АПТ)¹. Логика этих теоретических и прикладных исследований привела СтР в середине 70-х годов к идее многоцелевого лингвистического автомата (ЛА)², представляющего собой реально функционирующую модель речемыслительной деятельности человека. На Западе многофункциональные системы этого типа стали строиться лишь в конце 80-х годов [3—4].

Теоретической основой концепции ЛА и одновременно базой для построения образующих его инженерно-лингвистических модулей должна была стать некоторая семиотическая схема порождения, передачи и восприятия текста. Поиски этой схемы шли, с одной стороны, по линии проработки и адаптации к нуждам человеко-машинной коммуникации уже известных лингвистических, психолингвистических и когнитивных моделей [5, с. 221—237; 6, с. 187—200, 217, 250; 7, с. 124—128, 131—132], а с другой — по линии организации ориентированных на экологический подход самостоятельных исследований в области психолингвистики и психиатрического языкознания [8].

В итоге этих поисков была построена расширенная сосюррианская модель лингвистического знака [9, с. 22—23; 10, с. 6—29], на основе которой и была развернута та семиотическая схема, которая явилась психолингвистической основой для построения ЛА. Эта схема описывает формирование сообщения, начиная от его денотативного замысла (Dn_1), отражающего некоторый факт объективной действительности, через тематический десигнативный план, вплоть до

¹ В настоящее время группа СтР реализует на внутреннем и внешнем рынке системы англо-русского, русско-английского, французско-русского, испанско-русского, португальско-русского лексического и лексико-грамматического МП по различным общественно-политическим, деловым и научно-техническим тематикам. Частично реализована комбинированная система TUTSY, осуществляющая поддержку обучения переводу французских и английских текстов. Наконец, разрабатываются промышленные системы МП с восточных языков.

² Под лингвистическим автоматом понимается комплекс вычислительных и программных средств, объединяющий: а) достаточно мощную специализированную или универсальную ЭВМ, снабженную необходимой для оперативной переработки текста периферией, например, читающим устройством (сканнером) и автоматическим редактором (spellером); б) лингвистическую информационную базу данных ЛИБД, включающую большие словари и "сильные" грамматики; в) лингвистическое программное обеспечение (ЛПО); 2) набор системных и сервисных средств, представляемых операционной средой, вместе с программами ведения ЛИБД и ЛПО.

его лексико-грамматического и графемно-фонетического кодирования. Все развертывание сообщения происходит под управлением коммуникативно-прагматического оператора — КПО [11, с. 108], который обеспечивая выбор необходимой информации из тезауруса (Θ) и лингвистической компетенции (ЛК), регулирует переход с одного уровня на другой при формировании сообщения. Что касается восприятия и расшифровки сообщения, то СтР в своих исследованиях ориентируется на две схемы. Согласно первой гипотетической схеме [12], принятые абонентом звуковые или визуальные (графические) сигналы сопоставляются с заложенными в ЛК сенсорными (фонемно-фонетическими или графемными) образцами. Если такое сопоставление дает положительный результат, включается поверхностный лексико-грамматический анализ предложения, а также составляющих его с/с и с/у (словосочетаний и словоупотреблений). Затем на десигнативном уровне производится глубокий рема-тематический анализ, опирающийся на семантико-синтаксическую информацию, извлекаемую из энциклопедического словаря, ЛК, и анализа контекста. Наконец, на заключительном денотативном уровне происходит обобщающая интерпретация информации, извлеченной из сообщения на предыдущих уровнях. Эти операции, осуществляющиеся абонентом исходя из его личной прагматики, пресуппозиции и предварительного знакомства с ситуацией, должны привести абонента к формированию денотата (Dn_2), т.е. обобщенного симультанного образа факта, о котором повествует принятое сообщение.

Равенство $Dn_1 = Dn_2$ указывает на то, что сообщение понято собеседником в точном соответствии с начальным замыслом отправителя. При $Dn_1 \neq Dn_2$ расшифровка сообщения неадекватна смыслу, вложенному в него автором.

Согласно второй гипотезе [6, с. 217—250], поиск Dn_2 идет уже в рамках сенсорного и лексико-грамматического декодирования сообщения. На этом начальном этапе идет выявление ключевых вех высказывания (отдельных слов, словосочетаний, простых семантико-синтаксических схем). Сам поиск осуществляется абонентом на основе его прагматической установки и ожидания, включающих ориентировку в референциальной среде и пресуппозицию. Затем формируются гипотезы о смысле принятого сообщения. После этого на базе прагматической установки абонента, его пресуппозиции (при необходимости с привлечением лексико-грамматического анализа и, наконец, путем сравнения получаемой информации с семантико-синтаксическими фреймами, заложенными в тезаурус и ЛК) происходит выбор наиболее правдоподобной гипотезы, которая и кладется в основу денотата (смыслового образа) принятого сообщения. Все операции по распознаванию текста осуществляются под управлением КПО.

Приведенные схемы будут рассматриваться в качестве натуральных объектов (оригиналов) для компьютерных моделей анализа и синтеза текста, объединенных в ЛА.

2. Лингвистический автомат.

Разработка лингвистической стратегии построения ЛА потребовала принятия ряда альтернативных решений.

Первое предусматривало выбор либо лексической, либо грамматической приоритетности в построении общего алгоритма ЛА. При решении этой задачи СтР руководствовалась двумя соображениями:

1) лексика, как показали информационные исследования текста, несет в себе львиную долю содержащейся в тексте информации [13, с. 169—190];

2) машинный анализ и синтез отдельных лексических единиц в гораздо меньшей степени, чем грамматический анализ входного и генерация синтаксической структуры выходного предложений, подвержены действию "генетических" парадоксов АПТ [14, с. 168—169]. Поэтому было решено начать построение ЛА не с разработки грамматических алгоритмов, как это делало большинство

неофитов АПТ, но с создания словарной базы ЛА и процедур смысловой обработки лексических единиц (ЛЕ) текста.

Второе решение было связано с выбором между хомскианской, жестко дедуктивной традицией и вероятностной функциональной грамматикой речи. Первая традиция сохраняется до сих пор в таких применяемых в современных системах МП формализмах, как грамматика управления и связывания (government and binding grammar) [15], грамматика присоединяемых деревьев (tree-adjoining grammar) [16] и грамматика фразовых структур (GPSG) [17, с. 521—587]. Основные положения второго подхода начали, как известно, вырисовываться уже в 60-х годах в работах Дж. Гринберга [18, с. 114—162], Ч. Филлмора [19, с. 369—469] и М. Холлидея [20, с. 179—215].

Информационно-статистические измерения текста [13, с. 120—207] настойчиво указывали на то, что порождение речи представляет собой сложный марковский процесс, в котором жесткое планирование возможно лишь на коротких участках текста, а между достаточно удаленными друг от друга лингвистическими единицами обнаруживаются лишь быстро затухающие стохастические связи. Поэтому если моделирование лексико-грамматической системы языка можно было вести на традиционной основе алгебры отношений и четких множеств, полученных путем приложения операции интенсификации к реальным нечетким лингвистическим множествам [21, с. 16—17], то при моделировании в ЛА процессов анализа и синтеза текста пришлось ориентироваться на функциональную лингвистику речи, опирающуюся на валентностные модели типовых ситуаций (фреймы), на вероятностные модели устранения неоднозначности и, наконец, на формальное распознавание смыслового образа текста [14, с. 192—236]. Итак, лингвистическая стратегия СтР, используемая при построении ЛА и отличающая ее от большинства коллективов, занимающихся созданием систем АПТ, характеризуется приоритетом лексических разработок, адаптированных к задачам потребителя, вместе с ориентацией на вероятностную функциональную лингвистику речи.

2.1. Архитектура ЛА.

Прежде чем обратиться к описанию архитектуры ЛА, укажем на два ее конструктивных принципа, которые обусловлены только что описанной лингвистической стратегией.

Первый заключается в открытой стратификационной (модульно-уровневой) организации, предусматривающей, с одной стороны, возможность устранения из ЛА одних и включения других модулей, а с другой, соотнесенность каждого модуля с определенным уровнем порождения и восприятия сообщения.

Второй принцип состоит в постоянном взаимодействии человека и машины при конструировании, функционировании и совершенствовании ЛА.

Это значит, что при построении машинных словарей и грамматик, а также при "дообучении" ЛА должны, с одной стороны, использоваться не только традиционные "человеческие" знания о ЕЯ, но также широко применяться результаты машинного обследования больших массивов (корпусов) современных текстов определенного стиля или подязыка. Каждый такой корпус виртуальных текстов (КВТ)³ следует рассматривать в качестве базы знаний, на основе которой должна строиться функциональная машинная грамматика данной разновидности языка.

С другой стороны, различные формы переработки текста в ЛА должны осуществляться не только в независимом от человека пакетном режиме, но также в

³ Развернутая концепция КВТ изложена в работе [22]. В ней описывается полный технологический цикл разработки и использования КВТ, от формулирования информационно-системных принципов его формирования и построения необходимых классификаторов для различных уровней ЕЯ до создания практических лингво-математических моделей и алгоритмов эффективного решения многих задач АПТ (рис. 3—4).

условиях человеко-машинного диалога, так называемом интерактивном режиме. Этот режим следует применять также при обучении и дообучении ЛА.

2.2. Две схемы представления ЛА.

ЛА является сложной системой. Поэтому для ее описания приходится использовать многоаспектное представление, включающее модели и схемы, построенные на аппаратных (hardware), системно-сервисных (software), лингвистических (linguage) и других подходах. Для нас наибольший интерес представляют две схемы описания — структурно-функциональная и схема управления и решений (децизивная).

2.2.1. Структурно-функциональное описание.

Это описание, строящееся в отвлечении от физического субстрата ЛА, представляет собой уровневую систему, имеющую следующие четыре плана (страта).

1. Нижний страт. Его занимает ЛИБД, которая, выполняя роль аналога тезауруса и лингвистической компетенции в речемыслительном аппарате человека, включает входные и выходные словники лексических единиц (основ, с/ф, исходных форм слова, словосочетаний), списки морфем и другой грамматический инвентарь.

2. Средний страт, который охватывает множество функциональных модулей, каждый из которых выполняет лингвистическое задание, моделирующее определенную функцию речемыслительной деятельности человека. Это множество распадается на два подмножества. Первое включает следующие анализирующие модули:

- модуль декодирования текста (d),
- модуль корректировки (с),
- модуль лексического анализа ключевых ЛЕ текста (l_k),
- модуль пословно-пооборотного (лексического) анализа всех ЛЕ текста (l),
- модуль автономного морфологического анализа с/у текста (q),
- модуль лексико-морфологического анализа ключевых ЛЕ текста (λ_k),
- модуль лексико-морфологического анализа всех ЛЕ текста (λ),
- модуль анализа поверхностной структуры текста (g),
- модуль анализа глубинной (тема-рематической) структуры текста (s_1),
- модуль семантико-прагматического анализа текста (s_2).

Второе подмножество включает такие синтезирующие модули, как:

- модуль графического или фонетического представления (кодирования) текста (k),
- модуль корректировки (с),
- модуль лексического синтеза (выбор из АС лексических эквивалентов для входных с/у и с/с) (l'),
- модуль автономного морфологического синтеза (q'),
- модуль лексико-морфологического синтеза с/у и с/с (λ'),
- модуль синтеза поверхностной структуры выходного текста (g'),
- модуль синтеза тема-рематической структуры выходного текста (s_1'),
- модуль синтеза семантико-прагматического образа текста (s_2').

При необходимости в ЛА могут включаться самые разнообразные модули, начиная с блоков вычисления темпов развития отдельных грамматических и лексических категорий и определения этимологии слова и с/с [23, 24] и кончая дидактическим блоком. В первом случае ЛА становится инструментом историко-лингвистических исследований, во втором он превращается в обучающий лингвистический автомат [25, с. 26].

3. Верхний страт. Его образует комплекс генерирующих программ-функций (F), которые, подобно КПО, должны генерироваться функциональными модулями среднего страта, а также той заложенной в ЛИБД лексической (L) и грам-

матической (G) информацией, которая необходима для переработки текста в одноязычной или двуязычной ситуации.

В настоящее время еще не удалось создать такие komponующие функции, которые могли бы построить полный ЛА, включая все указанные модули. Однако уже сейчас строятся "малые" ЛА, состоящие из части перечисленных модулей.

Так, например, с помощью функции $F_1(E)$ можно сформировать интерактивную систему коррекции и редактирования английского "дефектного" текста (спеллер)

$$Sp(E) = \{d, c, k, L, G\},$$

в которой пользователю предоставляется возможность самому выбрать правильную с его точки зрения форму из альтернативных с/ф, предлагаемых ЛА. Эта система может быть преобразована в автоматическую систему, работающую в пакетном режиме. В этом случае система выбирает среди реальных альтернатив "испорченного" с/у наиболее частотную словоформу.

Функция $F_2(P \rightarrow R)$ генерирует систему

$$S_2(P \rightarrow R) = \{d, \lambda, \lambda', k, L, G\},$$

осуществляющую первичный лексико-морфологический анализ португальских (P) информационных сообщений и их "грубый" русский (R) перевод.

Функция $F_3(F \rightarrow R)$ строит более сложную систему

$$S_3(F \rightarrow R) = \{d, k, l, \lambda, \lambda', k, L, G\},$$

производящую фрагментирование, составление поискового образа и "грубый" перевод на русский язык французского (F) патента, автоматически фрагментированного по рубрикам [2; 30, с. 141—154].

С помощью концептуально-сетевой (к/с) функции $F_4(R \rightarrow \text{к/с} \rightarrow G)$, выступающей в роли языка-посредника, строится система

$$S_4(R \rightarrow \text{к/с} \rightarrow G) = \{d, \lambda, g, s_1, s'_1, g', \lambda', k, L, G\},$$

превращающая русское (R) предложение в концептуальный граф [26, с. 22—29]. Затем на базе этого графа, представляющего глубинную семантико-синтаксическую структуру входного предложения, синтезируется иноязычный (немецкий — G) перевод.

Высший страт реализуется в настоящее время в форме человеко-машинного взаимодействия. Это взаимодействие можно условно считать аналогом мотива и отчасти КПО в схеме речемыслительной деятельности человека

2.2.2. Децизивная схема ЛА.

Подобно речемыслительной деятельности человека любая система АПТ всегда связана с операциями распознавания, которые осуществляются в условиях неопределенности. Эта неопределенность задается в машинном словаре и грамматике в виде множества альтернатив, из которых ЛА, обладающий элементами искусственного интеллекта, должен выбрать правильное решение. Поэтому архитектура ЛА должна описываться не только со структурно-функциональной, но и с точки зрения принятия решений, т.е. по децизивной схеме.

По аналогии с системами управления децизивную схему ЛА можно представить в виде иерархии следующих планов (стратов):

- 1) самоорганизации;
- 2) адаптации ЛА к обрабатываемым текстам;
- 3) выбора способа решения для поставленной задачи.

На первом уровне, обычно в режиме человеко-машинного общения, разрабатывается стратегия решения общей задачи \bar{P} . В соответствии с этой стратегией вырабатываются и komponуются те подсистемы и модули, которые необходимы автомату для решения этой задачи.

Обращаясь к описанию второго уровня, следует иметь в виду, что решая лингвистическую задачу, ЛА обычно оказывается в условиях неопределенности, порождаемой, с одной стороны, полисемией словарных ЛЕ, многозначностью морфологических форм и синтаксических схем, содержащихся в тексте, а также

недостатком лингвистических и энциклопедических знаний в ЛИБД. Поэтому децизивная архитектура должна обладать средствами сокращения этой неопределенности. Они включают, во-первых, фильтрующие алгоритмы, частично снимающие эту неопределенность [21, с. 91—145], а во-вторых — приемы адаптации ЛА к обрабатываемым текстам. К последним относятся в первую очередь пополнение АС географическими названиями, именами собственными, а также терминологическими с/ф и с/с, характеризующими данный подъязык, а затем создание новых и перестройка уже работающих алгоритмов. Это дообучение ЛА осуществляется как в процессе человеко-машинного общения, так и в автономном автоматическом режиме путем отбора автоматом наиболее частых альтернативных решений [13, с. 296—298] из КТВ [22]. Комплекс всех этих приемов и образует адаптационный уровень децизивной схемы ЛА.

Наиболее важной для развития концепции ЛА является проблема организации и функционирования механизмов третьего страта.

Рассмотрим эту проблему в деталях.

2.2.3. Поиск способа наилучшего решения задачи.

К настоящему времени в СтР для поиска оптимальных решений выработан ряд приемов, учитывающих инженерно-лингвистические ограничения, накладываемые на конкретную систему АПТ. Часть из них уже алгоритмизирована. Наиболее интересны два приема этого поиска.

Первый заключается в иерархической организации работы подсистем и модулей. Этот способ, сочетающийся со способностью последних к автономному функционированию, реализуется в следующих правилах:

— высшим уровнем управления является человеко-машинный блок принятия решения,

— подсистемы и модули верхних уровней обуславливают целенаправленную работу соответствующих блоков нижних уровней;

— если подсистемы и модули нижнего уровня, работая в автономном режиме, оказываются неспособными принять решение или принимают несколько альтернативных решений, то полученные здесь результаты переработки текста передаются на верхний уровень иерархии для выработки там окончательного решения.

Рассмотрим эту процедуру на примере системы, осуществляющей тема-рема-тический перевод немецких заголовков статей, относящихся к предметной области (ПО) "Сточные воды" [27]. Лексико-грамматическая переработка заголовка начинается на низшем уровне ЛА (шаг 1) и осуществляется с помощью немецко-русского словаря и машинной морфологии, содержащейся в ЛИБД. Она представляет не только лексико-морфологические заголовки для последующего перевода, но включает также сведения о морфологических граничных сигналах и семантическую информацию, которые будут использованы для принятия решений на более высоких уровнях.

Затем (шаг 2) с помощью морфологических индикаторов, полученных на предыдущем шаге, и синтаксических граничных сигналов, извлеченных из ЛИБД, осуществляется членение заголовка на семантико-синтаксические сегменты. Для определения коммуникативной (тематической или рематической) природы этих сегментов применяется цепочка фильтров, с помощью которых и принимается одно из альтернативных решений.

Первый фильтр имеет вероятностно-синтаксическую природу. Дело в том, что предварительные статистические исследования немецкого заголовка показали, что примерно в 90% случаев первый сегмент целиком совпадает с его ремой или входит в нее. Что касается конечных сегментов заголовка, то они примерно в 70% случаев входят в его тематическую часть. Еще менее четкую принадлежность к реме или теме дают второй и третий сегменты. Таким образом, позиционное сегментирование заголовка часто не дает однозначного решения. Поэтому полученные на шагах 1 и 2 результаты приходится передавать на более

высокий уровень, где осуществляется дальнейший коммуникативный анализ текста и одновременно проверяются ранее полученные результаты сегментов (шаг 1). Здесь работает фильтр, осуществляющий проверку всех слов и основ заголовка на их совпадение с ЛЕ, которые находятся в списках рематических и тематических индикаторов, содержащихся в ЛИБД. Результаты этого отождествления сопоставляются с информацией, переданной с нижнего уровня (шаг 2). Эта операция дает обычно один из следующих исходов.

1. ЛЕ, опознанные в качестве рематических индикаторов, попадают в начальные и тематические индикаторы — в конечные сегменты. Таким образом, результаты анализа на обоих уровнях совпадают, и ЛА принимает следующее решение: конечный сегмент представляет тему, а начальный — рему. Примыкающие к тематическому и рематическому сегментам атрибутивные с/с могут быть детерминантами темы или ремы.

2. Информация, добытая на шаге 2, противоречит информации, выработанной на шаге 3. В этом случае приоритетным является тема-рематическое разбиение заголовка, полученное на третьем шаге.

3. Шаг 3 не дает однозначного решения по тема-рематическому разбиению заголовка. В этом случае параметры заголовка, полученные на шагах 2 и 3, передаются на следующий шаг, основная задача которого состоит в соотношении заголовка с подобластями (ППо) исследуемой предметной области. Для решения этой задачи используются индексы принадлежности терминологических с/ф к ППо "Сточные воды" и другим смежным ПО, затрагиваемым в исследуемых текстах (эти индексы указываются в словарных статьях входных терминов).

Предварительные статистические исследования показали, что термины, принадлежащие к подобластям "Сточные воды", чаще всего встречаются в тематической части заголовка, в то время как термины других ПО — в рематическом его сегменте. Таким образом наличие в сегменте с/ф, принадлежащей к той или иной ПО, может быть использовано в качестве дополнительного индикатора рематичности или тематичности сегмента. Проиллюстрируем эту ситуацию на примере темарематического анализа немецкого заголовка статьи из журнала *Wasserwirtschaft — Wassertechnik* (1985, N1, S. 4). Обработка заголовка на шагах 1—3 не дает окончательного решения по опознанию темы и ремы. Поэтому все параметры передаются на следующий шаг, где путем обработки индексов принадлежности терминов происходит отнесение обрабатываемого заголовка к одному из ментальных пространств (подобластей) исследуемой ПО. При этом термины, имеющие индексы указанных ментальных пространств, рассматриваются в качестве слабых индикаторов темы, а с/ф и с/с с индексом какой-либо другой, отличной от области "Сточные воды" ПО, выступают в роли показателей ремы. Исходя из этого правила, сегмент *eines Auswerterechners* включается в рематическую часть заголовка. Что касается сегмента *Trinkwasseraufbereitung*, то его предметный индекс подтверждает принадлежность этой с/ф к тематическому сегменту. Коммуникативная природа сегмента *bei Verfahrensuntersuchungen* остается невыясненной и должна быть решена в ходе общения ЛА* с потребителем.

Второй прием поиска оптимального решения состоит в способности ЛА к декомпозиции или упрощающей модификации общей задачи \bar{P} в том случае, когда решить ее невозможно или это требует таких временных затрат и ресурсов памяти, которыми система в настоящий момент не располагает.

В случае декомпозиции общая задача \bar{P} представляется в виде множества частных задач P_1, P_2 и т.д. В качестве примера рассмотрим ситуацию, возникшую при построении экспериментального турецко-русского МП. Неизоморфность именной и глагольной парадигм турецкого языка и соответствующих им русских парадигм крайне велика. Поэтому лексико-морфологические модули λ и λ' оказываются неспособными без взаимодействия с модулями анализа и синтеза поверхностной и глубинной структур предложения ($g/g', s_1/s_2'$) выдавать русские с/ф с/с, которые морфологически точно соответствовали бы входным турецким

с/у. Поскольку модули g/g' , s_1/s_2' для турецко-русского МП пока не созданы, лексико-морфологическую задачу λ/λ' приходится разбить на следующие независимые подзадачи:

P_1 — анализ турецкого с/у, в результате которого оно расчленяется на основу (исходную форму) и составляющие ее аффиксы (ср. модуль q),

P_2 — определение грамматической природы каждого аффикса (модуль q'),

P_3 — перевод основы (модули $1/1'$).

Используя информацию, полученную в результате решения каждой из указанных подзадач, потребитель сам формирует перевод входного турецкого предложения. Типичным примером замены общей задачи \bar{P} на ее упрощенную модификацию \bar{P}' служит переход ЛА на пословно-пооборотный перевод в тех случаях, когда ему не хватает морфологических и семантико-синтаксических ресурсов для построения поверхностной и глубинной структур входного предложения. Позволяя выходить из тупиковых ситуаций, возникающих при отказе автомата от заданной формы переработки текста, прием декомпозиции и упрощения \bar{P} заметно повышает "живучесть" ЛА⁴.

3. Заключение.

Формирование концепции ЛА и ее реализация постоянно наталкивается на невидимый барьер отторжения, разделяющий язык человека и искусственный язык компьютера. Среди образующих этот барьер "генетических парадоксов" [14, с. 168—169] наиболее существенным оказался парадокс человека и робота, обобщивший частные противоречия человеко-машинного интеллектуального и лингвистического взаимодействия. Если рассмотреть его взаимодействие в свете известной теоремы Геделя о неполноте, то лингвистический смысл указанного парадокса можно представить следующим образом.

Пусть на основе имеющихся неформализованных знаний о ЕЯ и его лексико-грамматических описаний создается предельно мощная формализация F (при этом речь идет не только о машинной грамматике, но о любом формальном описании языка). Однако в силу таких особенностей ЕЯ, как идиоматичность, толерантность, нечеткость, F будет содержать выражение S , которое окажется неразрешимым в F . Создание в обозримый срок более мощной формализации F' , способной разрешить S , невозможно, поскольку ресурсы нашего формализованного знания в данный момент исчерпаны. Поэтому любая последовательная формализация будет беднее реальной эвристики ЕЯ. Иными словами, нечеткие и толерантные речемыслительные возможности человека оказываются хронологически впереди создаваемой им формализации для лингвистического робота.

С парадоксом человека и робота связаны более частные антиномии, среди которых укажем на:

1) несоответствие между континуальной природой языка, опирающейся на нечеткие толерантные лингвистические множества, и дискретным, оперирующим четкими эквивалентностными множествами, описанием ЕЯ в компьютере;

2) противоречие между открытым, динамическим (диахроническим) характером живого языка и закрытым, статическим (синхронным) его представлением в компьютере;

3) противоречие между единственным смыслом, с которым должен иметь дело компьютер, перерабатывающий текст, и многоаспектностью речевого сообщения, передаваемого от человека к человеку; необходимо иметь в виду, что каждое такое сообщение может нести в себе три смысла: обусловленные

⁴ Под "живучестью" понимается способность ЛА сохранять свои наиболее существенные свойства в результате воздействия на автомат таких катастрофических факторов, как выход из строя некоторых внешних устройств или участков оперативной памяти, искажение отдельных лексических единиц, грамматических кодов и правил.

прагматикой коммуникантов авторский и перцептивный смыслы и независимый от этой прагматики универсальный смысл [28, с. 27—30].

Большинство из описанных в разд. 2 приемов построения ЛА было выбрано с расчетом, чтобы снизить барьер отторжения и связанные с ним парадоксы. Этой задаче служит информационно-статистическое применение данных, извлекаемых из корпуса виртуальных текстов, отражающих современное состояние и динамику конкретного языка и его разновидностей. Этой цели служат также опирающиеся на лингвостатистику и КВТ приоритет лексических разработок и использование функциональнограмматической тактики. Снижает барьер отторжения способ нежестко модульного построения ЛА. Эти приемы позволяют отразить в искусственном разуме ЛА континуальную толерантность и постоянную динамику речемыслительной деятельности человека.

Однако наиболее сильным средством ослабления всех перечисленных антиномий и парадоксов является организация широкого человека-машинного взаимодействия, предусматривающего оперативную адаптацию ЛА, с одной стороны, к обрабатываемому тексту, а с другой — через его перцепционный смысл к прагматике человека-пользователя.

Использование всех этих приемов отражает одну из гуманистических черт современного научно-технического прогресса, состоящую в нашем случае в осознании активной роли субъекта-пользователя в человеко-машинных системах АПТ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чижаковский В.А., Бектаев К.Б. Статистика речи. 1957—1985: Библиографический указатель. Кишинев, 1986.
2. Пиотровский Р.Г. Лингвистические аспекты "искусственного разума" // ВЯ. 1981. № 3.
3. Kuhns R.J., Little A.D. News analysis: A natural language application to text processing // American association for artificial intelligence. Spring symposium series. Text-based intelligence systems. Palo Alto; Stanford, 1990.
4. Loatman R.B., Post S.D. A natural language processing system for intelligence message analysis // Signal. 1988. V. 42. № 1.
5. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. М., 1982.
6. Лурья А.Р. Язык и сознание. М., 1979.
7. Gardner H. The Mind's new science. A History of the cognitive revolution. With a new epilogue by the author: Cognitive science after 1984. N.Y., 1987.
8. Пашковский В.Э., Пиотровская В.Р., Пиотровский Р.Г. Психиатрическая лингвистика. Л., 1991.
9. Пиотровский Р.Г. Лингвистические уроки машинного перевода // ВЯ. 1984. № 4.
10. Шингарева Е.А. Семiotические основы лингвистической информатики. Л., 1987.
11. Piotrowski R. Linguistic automaton and computer-assisted language learning: a perspective // Language learning via the microcomputer. Proc. of CALL'89. International Conference on computer-assisted language learning at the Institute of applied Linguistics Wilhelm Pieck University Rostock. 15—17 November 1989. Rostock, 1990.
12. Miller G.A., Johnson-Laird P.N. Language and perception L., 1976.
13. Пиотровский Р.Г. Текст, машина, человек. Л., 1975.
14. Пиотровский Р.Г., Беляева Л.Н., Попеску А.Н., Шингарева Е.А. Двухязычное аннотирование и реферирование // Итоги науки и техники. Сер. "Информатика". Т. 7: Автоматизация индексирования и реферирования документов. М., 1983.
15. Chomsky N. Some concepts and consequences of the theory of government and binding. Cambridge (Mass.), 1982.
16. Joshi A.K. An introduction to tree adjoining grammars // Mathematics of language / Ed. by Manster-Ramer A. Amsterdam, 1987.
17. Ristad E.S. Computational structure of GPSG models // Linguistics and philosophy. 1990. V. 13. № 5.
18. Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов // Новое в лингвистике. Вып. V: Языковые универсалии. М., 1970.
19. Филлмор Ч. Дело о падеже // Новое в лингвистике. Вып. X: Лингвистическая семантика. М., 1981.
20. Halliday M.A.K. Notes on transitivity and theme in English // JL. 1984. Pt 1—2. V. 4.
21. Piotrowski R., Lesohin M., Lukjanenkov K. Introduction of elements of mathematics to linguistics. Bochum, 1990.

22. *Совпель И.В.* Автоматизированная переработка текста на основе воспроизводящего моделирования лингвистических объектов и процессов: Автореф. дис. ...докт. техн. наук. Харьков, 1991.
23. *Маковский М.М.* Английская этимология. М., 1986.
24. *Best K.H., Veldhu E., Altmann G.* Ein methodischer Beitrag zum Piotrowski-Gesetz / Hrsg. von Hammerl R. Bochum, 1990.
25. *Пiotровская К.Р.* Современная компьютерная лингводидактика // НТИ. Сер. 2. 1991.
26. *Попеску А.Н.* Продукционно-сетевой подход к моделированию смысла научно-технического текста: Автореф... докт. техн. наук. Винница, 1991.
27. *Чижиковский В.А.* Семантико-коммуникативные аспекты автоматической переработки заголовка научно-технического текста: Автореф. дис. ...докт. филол. наук. Л., 1988.
28. *Гончаренко В.В., Шингарева Е.А.* Фреймы для распознавания смысла текста. Кишинев, 1984.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ РЕЦЕНЗИИ

Фенрих Х., Сарджвеладзе З.А. Этимологический словарь картвельских языков. Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та. 1990. 619 с. (на груз. яз.).

Четверть века, истекшие после выхода в свет первого этимологического словаря картвельских языков автора настоящей рецензии, не прошли для науки бесследно. Более того, не будет преувеличением сказать, что последние десятилетия оказались для картвельской этимологии особенно плодотворными как в количественном, так и в качественном отношении. Ее очевидный прогресс обусловлен, на наш взгляд, двумя основными обстоятельствами. С одной стороны, он опирается на существенное расширение самой материальной базы исследования. Среди наиболее крупных в этом плане словарных собраний необходимо назвать древнегрузинский словарь И.В. Абуладзе [1], охватывающий, согласно оценке А.Г. Шанидзе, около 80% всей лексики, засвидетельствованной в памятниках древнегрузинского литературного языка, а также выдержавший за короткий срок два издания диалектологический словарь грузинского языка А.А. Глonti [2], обобщающий в компактной форме огромное лексическое достояние этого языка, по сей день остающееся за пределами его литературной нормы. Обогащению фактической основы исследования способствовали и опубликованные в последнее время словари отдельных грузинских диалектов (например, мхетского [3]), а также целая серия публикаций по лексикологии и сравнительной фонетике картвельских языков.

С другой стороны, этот прогресс в незначительной степени оказался связанным с выходом в свет фундаментальной монографии Г.В. Гамкрелидзе и Г.И. Мачавариани, заложившей основы по существу новой концепции сравнительной грамматики картвельских языков [4]. Сформулированные в ней закономерности фонологической структуры картвельского корня и морфонологических чередований, и в частности теория глагольного аблаута, создали прочную почву не только для верификации ранее предлагавшихся этимологий, но и для новых

как межъязыковых, так и внутриязыковых сопоставлений.

Оба названных фактора, равно как и некоторые недавние исследования в области сравнительной фонетики картвельских языков (ср., например, образцовые публикации И.Г. Меликишвили), оказали плодотворное воздействие на конкретные этимологические работы, опубликованные в последнее время грузинскими и зарубежными исследователями. В полной мере этими благоприятными условиями воспользовались и авторы рецензируемого труда — видный немецкий кавказовед и один из крупнейших грузинских картвелистов — создавшие монографию, составляющую, на наш взгляд, одно из наиболее значительных достижений современного картвельского языкознания.

Рецензируемое издание состоит из довольно краткого введения, в котором компактно характеризуется история этимологических исследований в картвелистике и излагаются принципиальные методические позиции авторов (с. 3—27), корпуса словарных статей (с. 28—508), списка использованной литературы (с. 509—521), списков различных сокращений (с. 522—528), а также индексов архетипов (с. 529—541) и рассматриваемых в книге грузинских, мегрельских, лазских и сванских лексем (с. 529—618).

Среди основных особенностей словаря следует прежде всего отметить гнездовой принцип расположения материала, в соответствии с которым в каждой его статье дана положенная в основу реконструкции корня совокупность лексем (перед нами, следовательно, так называемый *Wurzelbuch*). Схема статьи, помимо ее фактологической базы, представленной соответствующим лексическим материалом, включает отсылку к древнегрузинскому облику корня (в случаях документированности содержащих его лексем в текстах), историко-фонетический комментарий, отличающийся весьма информативной формой изложения истории корня

в конкретных языках, а также, как правило, исчерпывающие сведения об авторстве соответствующих сопоставлений и реконструкций архетипов. Словообразовательный анализ присутствует, но вынесен за скобки и представлен морфемным членением лексем. Наряду с корневыми морфемами в работе восстанавливается и материал грамматических. Функционирование каждой морфемы соотносится с одной из двух принятых плоскостей реконструкции, отражающих более раннее общекартвельское состояние и более позднее грузинско-занское, противопоставляющееся уже обособившемуся сванскому (точнее — пресванскому).

Среди бесспорных достоинств труда Х. Фенриха и Э. Сарджвеладзе необходимо в первую очередь отметить то, что он демонстрирует широкие перспективы исследования истории картвельских языков, ориентирующегося на схему их филиации, которая диктует строгое разграничение общекартвельских архетипов, с одной стороны, и грузинско-занских, с другой. При этом бросается в глаза следующее немаловажное обстоятельство — несмотря на то, что ранее предпринимавшиеся грузинско-занские корневые соположения во множестве случаев дополнены выявленными авторами их сванскими параллелями, в целом количественное соотношение общекартвельских и грузинско-занских архетипов остается в принципе прежним. Это обусловлено тем, что параллельно здесь обнаружено большое число новых исключительно грузинско-занских изоглосс. В итоге примерно 435 общекартвельским архетипам здесь противостоят около 600 грузинско-занских.

Наряду с заметным обогащением сванского компонента этимологического исследования, в целом ряде случаев и имевшийся занский материал дополнен ранее отсутствовавшим его мегрельским или лазским звеном. В подавляющем большинстве случаев нововыявленные когнаты не вызывают сомнений. Среди наиболее удачных находок авторов можно отметить реконструкции таких общекартвельских корневых морфем, как **didy-* "бормотать", **kucj-* "кромсать", **siasj-* "умолкать, неметь", **ziwn-* "течка", **qwn-* "истреблять, рущиться", а также груз.-зан. **grk-al-* "обруч", **ziwal-* : *ziul-* "валиться, рущить(ся)", **kurci-* "кожура", **ciuk-* "род колга", **cieng-* "вид растения", **x-* "касаться". Иногда достоверность авторских сближений может быть подкреплена дополнительными иллюстрациями. В частности, грузинско-занские архетипы **tuk-* "ошпарить(ся)" (с. 152), **ciox-* "жевать жвачку" (с. 414) и **ciqip-* "ответвление" (с. 415)

помимо приведенного в книге материала поддерживаются соответственно такими формами, как лаз. *tuk-* 'ошпарить', мегр. *cih-* 'пичкать, насильно кормить', мегр. *ciqip-* 'вилка', а общекартвельский архетип **plet-* : *plit-* 'драть, трепать' (с. 329) удостоверяется и закономерно отражающим его лаз. *plaf-* 'драть, терзать'. Если учесть, что из общего числа статей словаря 95 посвящены словообразовательным и словоизменительным морфемам, а некоторое число корней может быть сведено на правах разновидности к единым, то в работе тем не менее насчитывается свыше тысячи общекартвельских и грузинско-занских корней, что служит яркой иллюстрацией полноты охвата авторами всего известного современной науке фактического материала.

С точки зрения сравнительной фонетики картвельских языков чрезвычайно интересным представляется обнаруженное Э. Сарджвеладзе закономерное занское соответствие груз. *kuš-* "иссушать; сохнуть, заживать (о ране)" в виде лаз. *kušk-* (с. 385), предполагающее архетип **sjuš-*. Если эта основа действительно, как иногда полагают, восходит к переднеазиатскому арийскому источнику (ср. др.-инд. *suš-* "сушить"), то в распоряжении науки окажется еще один пример, наряду с общекартв. **šwid-* "семь", свидетельствующий в пользу вторичности сложных занских соответствий грузинским простым шипящим, характеризующихся развязтием заднеязычного фокуса последних в самостоятельный сегмент.

Бесспорно заслуживает одобрения проявляющаяся во многих случаях осторожность авторов в обращении с конкретным языковым материалом. Уже из самих авторских формулировок вытекает, что они отдают себе отчет в неравноценности предлагаемых ими решений по степени достоверности (прежде всего это отражается в оценке надежности межязыковых лексических соположений). При реконструкции звукотипа корневых морфем не без оснований отложена на будущее трактовка деталей, которые находятся в прямой зависимости от требующих своей доработки фрагментов сравнительной фонетики картвельских языков (ср. проблему вокалического противопоставления по долготе -- краткости, а также вопрос о реконструкции звонкого согласного фарингальной серии в праязыковом состоянии). Следствием присущего авторам духа самокритичности представляется то обстоятельство, что они отказались от отдельных еще недавно выдвигавшихся ими же соположений. Об этом же говорят и их нередкие указания на существование в литературе

альтернативных решений. Отметим здесь же встречающиеся в работе примеры двулученных архетипов (ср. **grçgil-* // *grçgil-* на с. 87, **wec₁xl-* // *werc₁xl-* на с. 124 и др.).

Подобно каждому выдающемуся исследованию монография Х. Ферриха и З. Сарджеладзе весьма отчетливо обозначает и круг проблем этимологии и сравнительной грамматики картвельских языков, задача решения которых становится все более безотлагательной. Если начать с собственно этимологической проблематики, то здесь прежде всего следует назвать задачу адекватной семантической реконструкции архетипов, достаточно сложную в условиях изучения материала замкнутой языковой группировки, ингредиенты которой обнаруживают различную степень родства. Повидимому, именно недостаточное внимание к этой стороне реконструкции в картвелистике и послужило поводом к откату авторов на с. 23 предисловия от реконструкции значения (подчеркнем, впрочем, что они не вполне следуют ему, поскольку помимо эксплицитной семантической реконструкции материала грамматических морфем в книге встречается множество случаев имплицитного разграничения корневых морфем, разведенных по разным статьям на именно семантических основаниях: ср. два корня **h-*, два — **bir-*, три — **g-*, два — **gwal-*, два — **da-* и мн. др., чем еще раз подтверждается справедливость диктума Э. Бенвениста о центральном положении значения в языковой структуре).

Представляется между тем, что в этой сфере у науки остается еще немало невосребованных резервов. Так, залогом адекватности анализа, с одной стороны, здесь должно быть пересечение показаний сванского языка и какого-либо из остальных языков, а в случаях реконструкции грузинско-занского хронологического уровня — грузинского и какого-либо из занских. С другой стороны, немалую пользу этимологическому исследованию принесет опора на принцип историзма, способный контролировать правдоподобность существования тех или иных понятий и реалий в соответствующую эпоху. И здесь будет необходим все еще крайне слабо ощущающийся в картвелистике, как, впрочем, и в кавказоведении в целом, контакт лингвистов с представителями таких смежных наук, как история и археология. Заметим в этой связи, что при наличии подобного контроля извне возникают, например, серьезные сомнения в адекватности реконструкции для общекартвельского состояния таких семантических точек, как "помочь миром", "кураца", "квохага"

(о наседке)", "конский волос", "белок яйца" и некот. др.

Другой не менее отчетливо рисуемой проблемой картвельской этимологии остается проблема релятивной хронологии реконструируемых архетипов, с особой остротой заявляющая о себе при рассмотрении материала, обнаруживающего по языкам соотношение фонетической идентичности (имеются в виду праформы типа **burs-*, **ixip-*, **zmoz-* и мн. др., строящиеся по фонетически единообразным показаниям картвельских языков, за которыми могут стоять и неопознанные поздние заимствования, распространенные уже из одного языка в другие). Естественно полагать, что в этих условиях на первый план должны выйти критерии ареально-лингвистического порядка, с одной стороны, и содержательного, с другой (в частности, значительно большую роль должен играть прием групповой реконструкции).

Еще одной проблемой, требующей к себе дополнительного внимания, является проблема вычленения в картвельской лексике исторической словообразовательной аффиксации. И хотя она во многом уже решена, что получает свое отражение в совокупности реконструируемых в словаре деривационных средств, в его материале налицо и трудные случаи. Остается неясным, например, насколько адекватно вычленение в качестве былых суффиксов конечных гласных в таких элементах культурного словаря, как **dika-* "яровая пшеница", **kila-* "ключ, запор", **polo-* "копыто", в условиях, когда в их довольно очевидных некартвельских аналогиях также представлен конечный вокализм (авторы, очевидно, ощущают высокую степень проблематичности своего решения и словообразовательных аффиксов *-a* и *-o* в работе не фиксируют). Аналогичный вопрос возникает и в случае груз.-зан. архетипа **dyweb-* "сбивать масло" (такое значение прослеживается во всех привлекаемых к его реконструкции картвельских когнатах), в котором предполагается вычленимость элемента *-eb*, в то время как в связанном с ним системными отношениями звукописи груз.-зан. **tkwer-* "взбивать яйцо и г.п." такого вычленения не предполагается (словообразовательного элемента *-er* в тексте книги также нет). Еще одну загадку, впрочем, несколько иного рода, задает картв. **yiviv-* "тлеть", которое может оказаться производным от **ywi-* "можжевелик" (как известно, тление можжевелика в прошлом широко использовалось на Кавказе в ритуале очищения от скверны и болезней).

Наконец, так или иначе сказываются на

этимологической практике и нерешенные задачи сравнительной фонетики картвельских языков, о которых отчасти уже говорилось выше. Отметим, в частности, требующий обобщающего рассмотрения вопрос о судьбе древнего конечного /l/ сванских именных основ. Как известно, в большинстве случаев здесь реализованы процессы его преобразования в /ʃ/ или /ʒ/. Вместе с тем, даже если не затрагивать основы типа *kəl-* "ключ, запор" и *pol-* "копыто", предполагающие, как показывают их другие картвельские, а также некартвельские аналогии, наличие конечного вокализма (ср. и.-е. **kla(u)-* и и.-е. **pōlo-*), то неразъясненным остается исход таких сванских лексем, как *kwel-* "сыворотка" (с. 283), *poʒdel-* "вид овсяницы" (с. 329), *ʒel-* "осел" (с. 439), где конечную последовательность *-el* невозможно принять за позднейший диминутивный аффикс.

Наконец остановимся коротко на трех замечаниях в адрес труда.

Как представляется, принятый в нем гнездовой принцип подачи материала пока не исчерпывает всех своих ресурсов. Так, естественно было бы, подобно тому, как это делается в некоторых других случаях, объединить статьи под архетипами **daqw-* "локоть" и **dlaqw-* тж. (с. 96 и 105), под архетипами **ʒex-* "ломать" и **ʒax-* (с. 291 и 294), поскольку это апофонически дифференцированные варианты единой исходной величины. То же самое следует сказать относительно праформ **ʃkb-* "прижимать" и **ʃkeb-* "придавливать" (с. 296—297), по всей вероятности, представляющих собой две различные ступени огласовки исторически единого корня. На этом же основании напрашивается объединение архетипов **bertq-* "выколачивать" и **brʒq-*, лежащего в основе адектива "плоский" (с. 49—60). Во всяком случае работа выиграла бы при снабжении упомянутых статей соответствующими перекрестными ссылками. Вместо корня **brag-* (с. 58), по-видимому, было бы целесообразнее дать лежащее в его основе и связанное с ним закономерными отношениями звукописи **breg-*, к тому же более широко проходящее по картвельскому материалу.

Другое наше замечание касается некоторой недооценки в книге такой существенной задачи каждого этимологического словаря, как поиск этимона, независимо от того, является ли соответствующий материал исконым или заимствованным. Поэтому подчеркнутый на с. 23 отказ авторов от поисков конечного истока того или иного образования за пределами картвельского материала искусственно обедняет объясни-

тельный аспект их исследования. Заметим в этой связи, что даже этимологический словарь Ю. Покорного, который обладает значительно большей глубиной ретроспекции, затрудняющей раскрытие подобных связей, не лишен примеров обращения к неиндоевропейским истокам тех или иных корней [5].

Отметим также наличие в приводимом в книге материале некоторых лакун. В ходе критического отбора фактов авторы не без основания отказываются от целого ряда ранее фигурировавших в специальной литературе сопоставлений. Вместе с тем в работе не находим и некоторых архетипов, на наш взгляд, выдержавших испытание временем: ср. такие корни, как **z1wa(w)-* "снеговой оползень", **qoγo-* "комар" (с характерным для картвельских символических образований вокализмом), **lag-* : *ʒg-* "сажать растения", **loʒ-* "лобзать(ся), лизаться", **mqar-* "прочный, крепкий", **plenz1-* "медь", **pic1x-* "сухой хворост", **uwin0-* "вино" и некот. др.

Возвращаясь к общей оценке книги, рецензент с удовлетворением отмечает многочисленные точки соприкосновения ее как фактической, так и методической стороны с его собственной практикой. Вместе с тем должно быть очевидным, что она сообщает новый стимул развитию картвельской этимологии. Одним из объективных факторов успеха дальнейших работ в этом направлении остается и то, что в отличие от индоевропеистики, уже давно вступившей, по выражению К. Уоткинса, в этап производства "неочевидных" этимологий [6], в картвельстике значительное место все еще принадлежит и "очевидным" (вероятно, именно поэтому число так называемых факультативных объяснений в картвельской этимологии не столь велико, как этого можно было ожидать). Следовательно, продуктивность дальнейших исследований здесь пока во многом будет зависеть от темпов введения в обиход науки нового языкового материала. Можно надеяться, что этому будет способствовать основание в Грузии в 1987 г. ежегодника "Этимологические разыскания", пять выпусков которого уже вышли в свет.

Монография хорошо выполнена технически. Удобству пользования словарем служит сплошное выделение особым шрифтом всего корневого материала. Этому же способствуют индексы реконструированных архетипов в составе корневых и грамматических морфем, а также проанализированных грузинских, мегрельских, лазских и сванских лексем. Обширный библиографический список, включающий около 320

названий работ на грузинском, русском и западных языках, составляет наглядное свидетельство объема интеллектуальных затрат, вложенных авторами в работу (заметим в этой связи, что им удалось использовать и такие по сей день остающиеся неопубликованными лексические собрания, как "Грузинско-мегрельский и мегрельско-грузинский сравнительный словарь" П. Чарая, созданный еще в 1918 г., и "Лазско-грузинский словарь" А. Тандидава). Несмотря на изобилие языковых фактов опечатки в тексте сведены к минимуму.

В заключение остается еще раз подчеркнуть, что выход в свет труда Х. Ферриха и З. Сарджвеладзе — одно из значительных событий в современном картвельском языкознании. В нем отражены передовые рубежи последнего не только в плане этимологии, но и в сравнительной фонетике и историческом словообразовании. Вместе с тем он служит очередным свидетельством творческих возможностей международного сотрудничества в науке.

1. *Абуладзе И.В.* Словарь древнегрузинского языка: Материалы. Тбилиси, 1973 (на груз. яз.).
2. *Глонти А.А.* Словарь грузинских народных говоров. I—II. Тбилиси, 1974—1975; 2-е изд. Тбилиси, 1984 (на груз. яз.).
3. *Кавтарадзе И.И.* Мохевский диалект грузинского языка (исследования, тексты, словарь). Тбилиси, 1985 (на груз. яз.).
4. *Гамкрелидзе Т.В., Мачавариани Г.И.* Система сонантов и аблауг в картвельских языках. Типология общекартвельской структуры. Тбилиси, 1965 (на груз. и русск. яз.).
5. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. 1. Bd. Bern, 1959. S. 13, 23, 68, 321, 335, 483, 596.
6. *Watkins C.* Etymologies, equations, and comparanda: Types and values, and criteria for judgement // Linguistic change and reconstruction methodology // Ed. by Baldi Ph. B.; N. Y., 1990. P. 295—296.

Климов Г.А.

Stellmacher D. Niederdeutsche Sprache, Eine Einführung. Bern: Peter Lang Verlag, 1990. 236 S.

Книга известного немецкого германиста, проф. Гёттингенского университета Д. Штелльмахера посвящена истории формирования нижненемецкого языка, анализу форм его существования в различные периоды развития, а также освещению вопросов его современного функционирования в качестве ряда диалектов немецкого языка. Появление этой книги стало заметным событием в германистике, поскольку она восполняет пробел в освещении вопросов немецкой филологии, с неизбежностью образовавшийся в связи с особенностями формирования немецкого литературного языка: известно, что нижненемецкие диалекты не были непосредственной основой при образовании общенемецкого литературного языка и поэтому учитывались главным образом при рассмотрении, например, второго передвижения согласных или при общей классификации немецких диалектов. Между тем исторический нижненемецкий язык имеет самостоятельную научную ценность, поскольку до периода выдвижения восточно-средненемецкого типа литературного языка на роль ведущего и унифицирующего варианта он существовал в качестве самостоятельного надтерриториального типа литературного языка (нижненемецкий язык в его

нижнесаксонском и нижнефранкском вариантах в качестве делового языка ганзейских городов Северной Германии) наряду с уже упоминавшимся восточносредненемецким и южнонемецким (das Gemeine Deutsch, язык Баварии, Австрии, Швабии и Швейцарии) типами делового, литературного языка. С другой стороны, он сохраняет свое функциональное положение в структуре современной немецкой речи в качестве совокупности нижненемецких диалектов (Plattdeutsch, Niederdeutsch) немецкого языка, которыми пользуются и которые понимают около 2/3 населения соответствующих регионов Германии. Так, согласно данным опроса 1966 г. в Северной Германии в среднем 46% опрошенных ответили положительно на вопрос о владении нижненемецким диалектом, 13% опрошенных сообщили, что они немного знают местный диалект, и только 41% ответили, что не знают диалекта и не говорят на нем. С другой стороны, согласно данным микроопроса 1985 г. в земле Шлезвиг-Гольштейн — регион распространения нижненемецких диалектов — в среднем 70% мужчин и 64,7% женщин могут говорить на местном диалекте [1].

Книга Д. Штелльмахера состоит из Вве-

ления, шести основных аналитических глав и заключения. Она снабжена также картами классификации и локализации нижненемецких диалектов, расположения границ, характерных языковых явлений и признаков, и содержит научную библиографию, включающую 272 названия книг и статей.

В вводной части работы автор напоминает, что северонемецкие диалекты сегодня обычно называются нижненемецкими (niederdeutsch) или "платтдойч" (plattdeutsch), при этом последнее является общераспространенным названием, тогда как niederdeutsch чаще всего используется в качестве филологического термина. Первоначально оно получило распространение в северо-западной части ареала "континентального германского языка" (Kontinentalgermanisch), т.е. на территории современного нидерландского языка, где соперничали между собой два названия — nederduytsch (нижненемецкий) и nederlandsch (нидерландский), из которых последнее в результате решений Венского конгресса 1815 г. стало названием языка вновь созданного Королевства Нидерландов.

История нижненемецкого языка распадается на три основных периода: древни-нижненемецкий, средни-нижненемецкий и современный нижненемецкий. Эпоха древни-нижненемецкого охватывает период IX—XII вв. на территории от Нижнего Рейна до Эльбы и от Гольштейна до Зауэрланда. Средни-нижненемецкий период приходится на XIII—XVII вв., когда благодаря своему положению в качестве языка ганзейских городов нижненемецкий приобретает особое призвание и авторитет. В результате немецкой колонизации на Востоке нижненемецкое языковое пространство заметно увеличивается, доходя до земель Балтийского побережья. Территория его распространения увеличивается также за счет регионов бытования восточно- и севернофризского языка, тогда как на юго-востоке немецкого ареала нижненемецкий язык начинает нести свои первые потери. С конца XVII в. начинается период современного нижненемецкого языка, когда функциональные потери для нижненемецкого приобретают необратимый характер и по мере укрепления в этом регионе верхненемецкого литературного языка обрывается путь его превращения в литературный (стандартный) язык и открывается возможность дальнейшего его существования лишь на уровне диалекта.

В главе "Древни-нижненемецкий период" (с. 19—37) Д. Штельмахер рассматривает звуковой состав нижненемецкого языка этого периода, анализирует его морфологическую

и синтаксическую структуры, а также дает общую характеристику его лексического состава. При этом он отмечает, что при периодизации истории нижненемецкого языка следует различать два основных этапа: период своеобразной предступени в историческом развитии языка, относящийся ко времени до вхождения саксов в состав франкского государства, и этап исторического периода собственно древни-нижненемецкого языка с VIII по XII вв. Говоря о первом этапе, автор напоминает, что о нем практически нет никаких исторических языковых свидетельств, если не считать найденных в 1927—1928 гг. при землеройных работах в районе Нижнего Везера высеченных надписей (так называемые везерские руны), тогда как для периода собственно древни-нижненемецкого языка можно установить целую группу типов текстов: библейская поэзия (Гелианд и фрагменты из Генезиса), поэзия малого стиха (формулы благословений, изречения и сентенции), церковная и светская проза (фрагменты псалмов, обеты при крещении, тексты молитв, исповеди), а также глоссы, содержащие различные слова из народного языка и пояснительные комментарии к ним в латинских текстах.

Говоря о лексическом составе текстов древни-нижненемецкого периода, Д. Штельмахер обращает внимание на то обстоятельство, что выявленные 4000 лексических единиц еще не отражают всего языкового богатства этого периода. Однако и обнаруженных свидетельств вполне достаточно, чтобы убедиться, что в языке уже этого периода представлены все основные словообразовательные типы слов, которые характерны и для современного немецкого языка: сложные слова (сочинительные и определительные композиты, бахуврихи), префиксальные образования и суффиксальные производные слова, включая диминутивы существительных (с. 34).

В главе "Средни-нижненемецкий период" (с. 39—87) автор подчеркивает, что современное название языка этого периода укрепилось со времени Я. Гримма. При этом имелось в виду не строгое название стандартного языка этого периода, а определение для совокупности близких друг другу письменных реализаций нижненемецкого языка в пределах данной языковой области (язык городов Ганзейского союза). Весь этот большой отрезок времени с XIII по XVII вв. распадается на три периода: ранний период (до середины XIV столетия), классический период (1350—1550 гг.), поздний период (до 1650 г.). Эта внутренняя пери-

олизация позволяет соотнести правомерность отождествления понятий средненижне-немецкого языка и языка Ганзейского союза. Даже для так называемого классического периода (1350—1550 гг.), когда такое отождествление могло быть наиболее допустимым (период расцвета ганзейских городов), характерно, что средненижне-немецкий язык использовался в функциях, "...которые не имели ничего общего с Ганзой" (с. 39). С другой стороны, в период до 1370 г. латынь также могла рассматриваться в качестве "ганзейского языка", а позднее наряду со средненижне-немецким языком "любекской реализации" в пределах Ганзы использовались другие письменные языки (вестфальский и рипуарский в Кельском регионе, восточно-средне-немецкий в Пруссии, а также в последние десятилетия середины XVI в. — верхне-немецкий язык в качестве языка Ганзы). Автор подчеркивает, что в этот период обозначилось стремление отойти от былого многообразия вариантов нижне-немецкого. На положение одного из ведущих типов письменного языка этого периода выдвигается любекская языковая норма. Одновременно для этого периода характерно существенное увеличение территориального пространства распространения нижне-немецкого языка на севере, востоке и северо-западе от его основного ареала, тогда как на юго-западе и юго-востоке наблюдались первые утраты территорий его распространения.

Другая характерная черта нижне-немецкого языка этого периода состоит в том, что стало более заметным расслоение языка по социальным сферам его использования. Так, письменный язык приобретает иное пространственное использование, чем разговорный, что приводит к дальнейшей стилистической дифференциации нижне-немецкого языка. Следует отметить, вслед за автором, что заметно возрастает число устойчивых вариантов письменного языка, общее число которых увеличивается в этот период до более 30. Практически в каждом городе формируется "свой" тип письменного языка: язык Дортмунда, Мюнстера, Магдебурга, Галле, Бремена, Гамбурга, Люнебурга, Ростка, Штральзунда, Даницга, Риги, Ревеля, Берлина. При этом среди них, как уже отмечалось, выделялась роль языка г. Любека как одного из ведущих ганзейских центров. Говоря об этом, Д. Штелльмахер далее подробно анализирует основные черты нормы любекского варианта нижне-немецкого языка (с. 41—43), а затем останавливается на характеристике других типов языка этого ареала

(вестфальский, остфальский и др.). Здесь же автор приводит образцы текстов на различных вариантах нижне-немецкого языка (с. 45—51), а затем рассматривает звуковой состав языка этого периода, его морфологическую и синтаксическую структуры, а также дает характеристику лексического состава средненижне-немецкого языка (с. 51—66).

Анализ состояния нижне-немецкого языка современного периода предваряется освещением процессов его функциональной перестройки в структуре современной немецкой речи. Начиная с XVI в. и в особенности в последующее время средненижне-немецкий тип языка в качестве литературного в Северной Германии стал неуклонно вытесняться верхне-немецким литературным языком (Hochdeutsch), что постепенно приводит к ограничению его использования только в роли диалекта. Процесс "диалектизации" (с. 69) нижне-немецкого языка не является прямым следствием каких-либо конкретных указов и распоряжений властей на этот счет, так как импульсом к этому первоначально послужили изменения географических границ распространения нижне-немецкого языка на юго-востоке этого языкового ареала, прежде всего на территориях вокруг городов Галле и Виттенберг, в канцеляриях которых в качестве письменного образца к этому времени утвердился верхне-немецкий тип языка. Такая замена привела к заметному сокращению коммуникативной сферы нижне-немецкого языка. Начиная с XVI в. и до середины XVII в. на верхне-немецкий тип письменного языка переходили канцелярии следующих городов: Берлин (1504 г.), Бранденбург (1525 г.), Гюстров (1540 г.), Даниг (1550 г.), Шверин (1551 г.), Оснабрюк (1553 г.), Рига (1560 г.), Ревель (1590 г.), Люнебург (1592 г.), Росток (1598 г.), Гамбург (1600 г.), Дортмунд (1610 г.), Любек (1615 г.), Бремен (1630 г.) и др. При этом такой переход происходил в пределах отдельных канцелярий в течение 25—30 лет, т.е. в пределах жизни одного поколения. Далее Д. Штелльмахер подробно рассматривает роль деятельности Лютера в отношении распространения верхне-немецкого языкового образца в Германии, а также центров книгопечатания (с. 72—76) и др.

Новонижне-немецкий период (с. 89—144) рассматривается автором книги прежде всего с позиций наличия в этом регионе совокупности форм языка эпохи нации. Вершину этой языковой иерархии образует верхне-немецкий литературный язык, укрепившийся повсеместно в ареале территорий и стран немецкой речи (Германия, Австрия,

Швейцария). К другим составляющим этой иерархии относятся местные диалекты и обиходно-разговорные формы языка (Umgangssprachen), к которым, по мнению автора, прежде всего следует отнести различные социально обусловленные групповые профессиональные языки [они определяются им в качестве специальных языков (Sondersprachen)]. Равным образом и в ареале распространения нижненемецкого языка (современные нижненемецкие диалекты) автором выявляется трехчастное построение языковой структуры, при котором нижненемецкие диалекты, лежащие в основании всего иерархического построения, и следующие над ними на вертикальной оси построения "специальные языки" перекрываются сверху "стандартизированным" верхненемецким литературным языком. В своей совокупности они образуют структуру немецкого национального языка (с. 90), в котором константную величину образует единый (стандартизированный) литературный язык, в то время как сущность позиции "специальных языков", и прежде всего диалектов, всегда определяется характером самих диалектов данной территории. В качестве примера можно указать на состав национального языка Баварии, где диалектный уровень принадлежит франкским, баварским и, отчасти, швабским говорам, чем определяется в значительной степени и характер местных "специальных языков", и, соответственно, состав национального языка в Северной Германии. Здесь на диалектном уровне (это важно и с точки зрения характера местных "специальных языков") оказываются только нижненемецкие диалекты. Говоря о роли нижненемецких диалектов в этом регионе, Д. Штельмахер обращает особое внимание на роль такой формы языка, как "миссингш" (Missingsch), которую он определяет как смешанную форму севернонемецкой речи, восходящую к местной литературной традиции (с. 94). В настоящее время тексты на "миссингш" предпочитают в жанре сатирической литературы, издаваемой прежде всего в таких крупных городах Северной Германии, как Бремен, Гамбург, Киль, Фленсбург.

Говоря о функциональном статусе современных нижненемецких диалектов (Plattdeutsch), Д. Штельмахер подчеркивает, что, согласно его собственным исследованиям, в 1987 г. в среднем 56% опрошенных сообщили, что они в разной мере владеют местным диалектом, а 43% ответили на этот вопрос отрицательно. При этом в земле Шлезвиг-Гольштейн число лиц, владеющих диалектом, составило 71%, и только 29%

ответили отрицательно, тогда как на юге Нижней Саксонии число лиц, говорящих на местном диалекте, составило лишь 44%, а 56% опрошенных сообщили, что не знают диалекта. Здесь же автор приводит интересные данные относительно того, как жители этих регионов Германии оценивают местный диалект и говорят о причинах, по которым они считают целесообразным его использование в речи. Так, 49% опрошенных считают, что диалект является "красивым" (schön), а 47% считают его родным языком (Muttersprache). Примерно каждый третий из опрошенных (31%) считает, что диалект необходимо сохранить в качестве обиходно-разговорного языка данной местности (с. 100).

Далее автор останавливается на характеристике отдельных нижненемецких диалектов (с. 104—137), приводя образцы текстов на вестфальском, севернонижнесаксонских, восточнонижненемецких и других говорах. В заключение этого раздела Д. Штельмахер приводит сведения о языковых "островах", образуемых этими диалектами в различных районах других государств. Здесь он говорит прежде всего о нижненемецких диалектных ареалах на территории Дании, Польши, Словакии, России, в Северной и Южной Америке, Австралии, Южной Африке (с. 137—139).

В последующих частях своей книги (гл. 6, с. 145—192) Д. Штельмахер переходит к описанию грамматической структуры современных нижненемецких диалектов, подробно останавливается на морфологии и синтаксисе диалектов, на процессах словообразования, а в заключение, говоря о лексическом составе диалектов, анализирует состояние лексикографической разработки словарного состава этих диалектов в Германии.

Завершает исследовательские главы труда Д. Штельмахера глава о правописании ("Plattdeutsche Rechtschreibungslehre"). При этом он подчеркивает, что в отличие от нормированного литературного языка диалектная орфография не отличается установленным единством правил. Говоря о наличии определенной орфографической традиции в нижненемецком языке, Д. Штельмахер выделяет шесть основных орфографических принципов: фонологический, морфологический, семантический, исторический, грамматический и так называемый ориентационный, под которым понимается общая ориентация на немецкую или нидерландскую орфографию.

Книга Д. Штельмахера представляет собой фундаментальное научное обобщение

исследований в области нижненемецкого языка и диалектов и подводит своеобразный итог личного исследовательского интереса ее автора, посвятившего этой проблеме значительную часть своих научных публикаций, начиная с конца 60-х годов, т.е. на протяжении более чем 20 лет. Приходится лишь сожалеть, что автору не довелось познакомиться, если судить по библиографии к книге, с интересными и важными исследованиями в этой области, проведенными в разное время в нашей стране. Здесь прежде всего хотелось бы упомянуть работы таких авторов, как Г.Г. Едиг, Г.Я. Панкрац, а также многие публикации С.А. Миронова, успешно разрабатывающего в отечественной германистике как пробле-

мы нижненемецкого языка и диалектов, так и вопросы становления нидерландского литературного языка. И тем не менее труду Д. Штельмахера принадлежит заслуга стать одним из первых энциклопедических изданий, мимо которого не пройдет ни один исследователь, начинающий и многоопытный, который занимается многообразными вопросами современной и исторической диалектологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. König W. Atlas zur deutschen Sprache. München, 1991. S. 132—134.

Домашнев А.И.

Masica C.P. The Indo-Aryan languages. Cambridge university press, 1991. XVI + 539 p.

Индоярийские языки представляют в индоевропейской семье группу, наиболее значительную по своему составу (полный их список превысит сотню наименований) и по функциональной значимости (число говорящих на них стремительно близится к миллиарду). Значительный теоретический интерес ее обусловлен еще и тем, что основные этапы развития языков этой группы доступны непосредственному наблюдению по памятникам литературы за более чем трехтысячелетний период. Первые сравнительные грамматики индоярийских языков (по преимуществу наиболее известных из них, обладавших письменной традицией) появились более ста лет тому назад. Достаточно назвать труды Р.Г. Бхандаркара [1], Дж. Бямза [2], Р. Хёрнле [3] (ср. также грамматику хинди и многочисленных близких к нему языковых разновидностей С. Келлогга [4]). Через полвека за ними последовали работы Дж. Грирсона [5] (опирается в значительной мере на материалы им же подготовленного многотомного "Описания языков Индии"), а затем и Ж. Блока [6], следующие в основном той же сравнительно-исторической модели, но содержащие уже и заметные элементы структурной типологии. При всем том в общелингвистических исследованиях индоярийский материал использовался на удивление мало, если не считать обращения компаративистов к санскриту.

В этом свете значение работы К. Масики трудно переоценить. Дело не только в том, что впервые после более чем полувекового перерыва в западной индологической лите-

ратуре появляется оригинальный труд, обобщающий последние результаты изучения новых индоярийских языков, но и в том, что труд этот написан с принципиально иных по сравнению с прежними работами позиций, отражая достижения типологического и ареального методов в языкознании. Автор к этому оказался наилучшим образом подготовлен, поскольку его перу принадлежат, с одной стороны, совместный с А. Рамануджаном очерк типологии индийских (южноазиатских) фонологических систем [7, с. 543—577], а с другой, первый в своем роде опыт ареального обследования ряда характерных грамматических (морфологических и синтаксических) черт языков Южной Азии на широком евроазиатском, а отчасти и североафриканском фоне [8].

Рецензируемая книга членится на десять глав. В первой (с. 1—7) К. Масика формулирует стоящие перед ним задачи, а во второй (с. 8—31) дает обзор новых индоярийских (НИА) языков. Хотя автор скромно именуется предложенную экспозицию "взглядом с птичьего полета" (с. 8), она вместе с органически смыкающимися с нею двумя приложениями (I. Инвентарь НИА языков и диалектов — с. 420—445 и II. Схемы классификации НИА языков — с. 446—463) сообщает читателю практически все необходимые внешние сведения о рассматриваемой языковой группе. "Инвентарь" содержит ровно четыре сотни лингвонимов (правда, 80 из них — отсылочные — являются дублетными наименованиями), среди которых до полутора сотен обозначают языки, остальные — диалекты.

Сама проблема разграничения тех и других, для рассматриваемой группы отнюдь не просто решаемая, подвергнута специальному обсуждению (с. 23—27), открывающему перед читателем выбор решений. Та же проблема рассматривается с другой стороны в анализе классификационных схем — от первой из них, предложенной Хёрнле еще в 1880 г. [3, с. XXXVI], до самых новейших, отражающих по преимуществу генетические, но отчасти также и типологические соотношения языков и важнейших диалектов.

Третья глава (с. 32—60) посвящена основным ступеням развития индоарийских языков — их внешней истории (начиная с генетических связей и реконструкции путей миграции их носителей в Индию и кончая оценкой субстратных и контактных влияний на субконтиненте) и основным этапам внутреннего развития членов группы — от древнего индоарийского состояния к новому, учитывая наряду со структурными и социолингвистические аспекты проблемы. Здесь, как и в предыдущей главе, привлекает широкий охват точек зрения, выдвигаемых предшественниками автора, и взвешенная их оценка, открывающая перед читателем возможность самостоятельного углубления в вопрос через обращение к рекомендуемой автором важнейшей литературе.

В четвертой главе (с. 61—85) характеризуется природа НИА словаря, причем преимущественно с точки зрения путей его развития и пополнения. Среди них наиболее актуальны такие, как (а) прямое заимствование лексики извне, (б) адаптация чужеродных терминов путем их калькирования, при котором, что в данном случае особо существенно, "строительным материалом" служат морфемы не самого заимствующего языка, а его "классического" предшественника (в первую очередь — санскрита) и (в) словотворчество, причем опять же в первую очередь на "классическом" этимологическом материале. В связи с этим должное место отводится ознакомлению с традиционным членением исконно индийской лексики НИА языков на "тадбхава" (прошедшую естественный путь фонетического развития, что отразилось и в орфографии) и "татсама" (сохраняющую санскритское написание и в какой-то мере звучание) и оценке роли в различных новых языках заимствований как из санскрита, так и из "внешних" источников, таких, как персидский (а через него и арабский), португальский, английский. Особо отмечены характерные локальные способы словообразо-

вания: "экспрессивные" формы, ономотолея, слова-эхо и некоторые другие оригинальные черты современного словотворчества.

Пятая глава (с. 86—132), посвященная дескриптивной фонологии НИА, открывается обсуждением трудностей, встающих перед исследователем на пути к воссозданию охватывающей всю группу адекватной общей картины: неравномерная изученность отдельных языков; разноречивость в представлении одних и тех же фактов разными авторами; наличие "вторичных" (социально обусловленных) фонологических подсистем; неясный статус заимствованных элементов, порождаемый разной степенью их ассимиляции; затруднения, вытекающие из специфики местных письменностей, и, плюс ко всему, теоретически оправданная допустимость неединственности фонемных решений в рамках различных подходов.

Консонантизм описан по традиционной схеме, исходя из локальных пучков смычных согласных (чаще всего их пять), включающих по четыре основных члена, различающихся глухостью/звонкостью и непридыхательностью/придыхательностью, к которым примыкают носовые (чаще неполный набор), немногочисленные сонанты и спيرانты. Применительно к каждому признаку обсуждается мера его реализации в конкретных языках, приводящая либо к расширению, либо к сужению типовой модели. Особо останавливается автор на периферийных фонемах из сферы заимствований. Свои выводы он суммирует в сравнительной таблице систем консонантизма по языкам.

Сложнее обстоит дело с вокализмом, представляющим своеобразный артикуляционный континуум, что затрудняет четкую и единообразную идентификацию гласных, особенно в переходных областях среднего (верхне-среднего и нижне-среднего) подъема. Неоднозначно решаются в существующих описаниях вопросы трактовки дифтонгов и назализованных гласных. Здесь автор склоняется к наиболее здравой позиции признания исходными единицами для сравнительного анализа реальных сегментных фонем, а не признаков таковых.

Откровенно указывая на те языки (диалекты) и те участки систем, для суждения о которых ему недостает объективных свидетельств, К. Масика тем самым намечает программу сбора фактического материала, необходимого для решения насущных задач. То же можно сказать о разделе, где трактуются тоновые и регистровые противопоставления, наблюдаемые в отдельных НИА, и вопросы словесного ударения, вы-

раженного в рассматриваемых языках слабее, чем в европейских.

Значительное внимание уделено дистрибуции согласных и гласных фонем, имеющей для сравнения НИА языков (особенно — исторического) отнюдь не меньшее значение, чем сами фонемные инвентари. И, наконец, полученные результаты оцениваются с точки зрения типологии ареала.

Шестая глава (с. 133—153) посвящена употребляемым для НИА языкам системам письма. Центральное место здесь занимают брахми и его производные, включая специфику их употребления в конкретных языках. Кратко характеризуются особенности использования на Индийском субконтиненте арабицы и латиницы.

Несколько выпадает из общей синхронной направленности книги глава седьмая (с. 154—211), посвященная исторической фонетике индоарийских языков. Это находит, однако, оправдание в том, что, не зная закономерностей фонетического развития сравниваемых языков, невозможно сознательно соотносить наблюдаемые в них исконые лексические и, что особенно важно для дальнейшего изложения, морфологические элементы. После сжатой характеристики инвентаря древнеиндийских согласных и гласных и закономерностей их дистрибуции автор показывает основные процессы фонологического развития среднеиндийских языков (пракритов), общие и локальные, а затем то же самое делает применительно к новоиндийским, где на фоне господствующих преобразований в системе выделяет особые линии развития отдельных языков и подгрупп их и присущие таким языкам исключения из общего правила, что позволяет ему наглядно продемонстрировать региональные и индивидуальные языковые инновации.

Все рассмотренное служит надежным фундаментом для последующих трех глав, составляющих половину основного содержания книги и демонстрирующих принципиально новый подход к сравнению современных НИА языков. Здесь К. Масика предлагает типологическое представление их морфологии и синтаксиса. Правда, морфология при этом понимается не в традиционном — узко формальном, — а в несколько расширенном, преимущественно функциональном смысле, позволяющем отнести к словоизменению три группы образований: первичные синтетические (флективные), вторичные синтетические (агглютинативные) и аналитические. В той или иной

совокупности (это зависит от конкретного языка) они образуют парадигму новоиндийского изменяемого (склоняемого или спрягаемого) слова, ср. [9, с. 18—25]. Автор оговаривает, что этот подход не вполне строг, и другие исследователи могли бы считать более последовательным использование генеративного метода, но с практической точки зрения он удобнее, так как, во-первых, позволяет представить материал более компактно, во-вторых, не требует столь широких новых обследований языков и, в-третьих, дает картину, наиболее доступную восприятию читателя, не имеющего специальной теоретической подготовки. Эта картина воплощается далее в виде последовательного ряда схем, где в клетках, отвечающих географическому взаиморасположению основных языков, приводятся форманты рассматриваемой грамматической категории или составляющих ее граммем. Развернутые комментарии к схемам оговаривают особые случаи и исключения, а также специфику малых языков и диалектов, в схемы не вмещающихся. Это позволяет легко увидеть основные категориальные и формальные сходжения и расхождения языков и сгруппировать их по различным типологическим параметрам. Так построены главы восьмая и девятая, которые автор, избегая употреблять впрямую слово "морфология", осторожно называет "Именные формы и категории" (с. 212—256) и "Глагольные формы и категории" (с. 257—330).

Описание именных форм вопросов не вызывает. Здесь последовательно рассматриваются род, число, падеж и определенность ~ неопределенность существительного, а также проявление первых трех названных категорий в сфере словоизменения прилагательных и местоимений. Правда, при обсуждении категориальной структуры стоило бы специально остановиться на характерной для многих НИА языков классифицирующей категории персональности ~ неперсональности (в смысле противопоставления "персон", т.е. людей и приравняемых к ним существ, "неперсонам" — животному и предметному миру), смешиваемой порой с одушевленностью ~ неодушевленностью, с которой она близко соседствует, но отнюдь не совпадает. Последняя охарактеризована в примеч. 2 к схеме 8.3 применительно к сингальскому, где противопоставление по одушевленности проявляется наиболее четко. Первая же лишь вскользь упомянута как одна из возможных интерпретаций агглютинативного показате-

ля множественности в восточных НИА, трактуемого и как выразитель почтительности (с. 229), и как классификационный признак вопросительных местоимений (схема 8.11), и вновь всплывает в главе о синтаксисе при обсуждении типов оформления прямого дополнения (с. 365). При этом использование гермина *personal* (vs. *impersonal*) без специальных оговорок может дезориентировать читателей, способного отнести его к традиционному выделению личных местоимений, и, видимо, по этой причине в гл. 10 тот же класс имен обозначается термином *human* (vs. *non-human*). Специально остановиться на этом признаке, явно классифицирующем для существительного, было бы тем более целесообразно, что в синтаксисе он формально перекрещивается с другим признаком — определенности ~ неопределенности объекта, выступающим как ситуационный, т.е. словоизменительный.

Значительно больше новых вопросов поднимает глава о глаголе. Здесь прежде всего нужно приветствовать решительное размежевание с давней европейской традицией объединения всего разнообразия спрягаемых форм глагола под общим названием "времен" (*tenses*). К. Масика предлагает последовательно формальный подход к анализу глагольного словоизменения, различая в нем две группы категорий: согласовательные и собственно глагольные. К первым относятся лицо и число, а в отдельных языках также род (преимущественно в западных) и иерархия форм вежливости (преимущественно в восточных). Находя выражение в первичных или вторичных окончаниях, эти категории различаются по языкам не только самими способами, но и широтой формальной манифестации. В группе вторых — чисто глагольных — выделяются две категории: а) вид и б) время или наклонение. В их выделении автор опирается на преобладающую структуру видо-временных форм НИА языков, представленных в подавляющем большинстве двучленными аналогичными образованиями, сочетающими в себе ту или иную форму (как правило, непредикативную) полнозначного глагола с личной формой вспомогательного глагола (связки). Соответственно, одночленные формы могут трактоваться как сочетания, в которых один из компонентов представлен "нулем". В результате все спрягаемые формы (кроме, заметим, одной — императива) укладываются в двухмерную схему, один из параметров которой, определяемый формой полнозначного глагола, трактуется как вид (*aspect*), а второй, определяемый формой

вспомогательного, как время/наклонение (*tense/mood*)¹

То понимание категории вида, которое предлагает К. Масика, отнюдь не общепринятое в индологии. Наибольшее распространение нашло оно в послевоенное время в работах русских индологов, начиная с И.Е. Катениной [11, с. 57, 63—65], но своими корнями уходит почти на столетие раньше — к первой классической грамматике хинди С.К. Келлогга, построившего схему строгого параллелизма форм, опирающихся на причастия несовершенного и совершенного вида, и трактовавшего различия между ними в первую очередь как аспектуальные [4, с. 227—228]. Впоследствии акцент нередко переносился на темпоральное содержание форм, что приводило к их качественной переоценке, причем сами причастия, на которые они опираются, стали определяться как "причастия настоящего и прошедшего времени" [12, с. 70, 75 и сл.]. В последние десятилетия дело осложнилось еще и новой концепцией НИА "вида" (прежде всего в хинди), предложенной В. Поржизкой [13] и активно развиваемой ныне П. Хуком [14] и др. Суть ее заключается в функциональном отождествлении так называемых сложновербальных глаголов хинди, бенгальского и других НИА языков со славянскими приставочными глаголами совершенного вида, которым они чаще всего (хотя и не обязательно) соответствуют в переводе. При всей соблазнительности подобной трактовки признать сложные НИА глаголы чисто словоизменительным типом мешает, во-первых, избирательность сочетаемости "векторов" (вторых, вспомогательных, компонентов таких сочетаний) с теми или иными полнозначными основами (первыми компонентами) и, во-вторых, заметные сдвиги лексического значения сложного глагола по сравнению с исходным. Поэтому

¹ О том, что такое строение системы отнюдь не универсально и представляет собой характерную черту именно НИА глагольного словоизменения, свидетельствует сравнение с другими языками, как неродственными, так и родственными. В частности, аналитические формы английского глагола, образуемые показателями четырех классов (1) *be* + *-ing*; 2) *have* + *-ed*; 3) *-ed*; 4) *will/shall* укладываются не в двух-, а в четырехмерную систему по параметрам, определяемым М. Джусом как *Aspect* (непродолженный vs. продолженный "вид"), *Phase* (неперфектная vs. перфектная "временная отнесенность"), *Tense* (непрошедшее vs. прошедшее "время"), *Assertion* (негипотетическое vs. гипотетическое "представление"), что в совокупности дает $4 \times 4 = 16$ форм [10, с. 81].

рациональнее относить их к сфере регулярного словообразования и трактовать как одно из проявлений лексико-грамматической категории способа действия (Aktionsart), как это было предложено еще три десятилетия тому назад Э. Линхардом для хинди [15]. Что же касается вида в понимании К. Масики, то можно лишь присоединиться к его заключению, что "эга категория лежит в самой сердцевине новоиндоарийской глагольной системы морфологически и исторически" (с. 262).

Второй параметр предлагаемых К. Масикой структурных схем сводит воедино две традиционных категории — времени и наклонения. Действительно, различие их в НИА языках не имеет под собой четких формальных оснований — выразителем и той и другой служит форма вспомогательного глагола (связки). Не случайны поэтому столь часто встречающиеся в грамматиках НИА языков разногласия по поводу функциональной трактовки одних и тех же форм (ср., например, "будущее II", "будущее III" [12, с. 83—84] и "предположительное наклонение" [11, с. 63—64] в хинди). Они отражают объективное отсутствие отчетливой функциональной границы, стремление исследователей к обязательному проведению которой можно объяснить влиянием классической традиции (давлению ее, надо признаться, в свое время поддался и автор цитируемой рецензии [9, с. 285—292]).

В целом же получающаяся двухмерная схема наглядно отражает основное функциональное содержание форм и существенно облегчает сопоставление систем рассматриваемых языков. В этом сопоставлении, кстати, удается осветить неясные для отчужденно взятого языка точки системы. В частности, оно позволяет усмотреть в двойной трактовке финишной формы хинди, равной простому причастию несовершенного вида (*caliā*) — как "несовершенного общего времени изъявительного наклонения" и "общего времени условного наклонения", омонимию двух разных форм, не совпадающих друг с другом в гуджарати (*āviā* vs. *āvat*) и маратхи (*caliā* vs. *caliā*). Но на чем следовало бы остановиться особо, так это на императиве, не находящем своего места в предложенной схеме и, очевидно, противостоящем всей совокупности включаемых в нее форм (об этом, между прочим, говорят и особенности синтаксиса повелительного предложения).

Конкретные парадигмы видо-временных форм по важнейшим языкам группы иллюстрируются и комментируются в следующем разделе главы.

Далее автор переходит к "производным основам первого порядка" — суффиксальным образованиям по линии валентности и залога. Здесь речь идет о формальном соотношении основ непереходных, переходных и каузативных, на одну ось с которыми ложатся и синтетические пассивные с суф. $[-i]$ - (< ДИА $-ub-$), вытесняемые в центральных и восточных НИА аналитическими сочетаниями с вспомогательным глаголом "идти" (корень $jā-$ — в связи с чем автор напоминает о древней гипотезе Бимза относительно возможности их появления под стимулирующим влиянием созвучия с суффиксом). Затем описывается система непредикативных форм, и завершается глава обсуждением вопроса о "производных второго порядка" — уже упомянутых сложных глаголах — и в связи с этим о категории способа действия. Интересно здесь предлагаемое автором определение "глаголов-векторов" как "спецификаторов латентной семантики конкретных глаголов", а самого явления — как "спецификации" (с. 329). Напомним, что А. И. Баранников определял сложные глаголы этого типа как "интенсивные" [16].

Заключительная и наиболее обширная десятая глава (с. 331—419) посвящена синтаксису. После предварительных замечаний и общей характеристики простого предложения — в плане господствующего в НИА (кроме кашмири) устойчивого порядка слов с глаголом (или связкой) в конечной позиции и допустимых от него отступлений — подробно обсуждается проблема субъекта, связанная с различиями способов оформления такового в активных, эргативных и эргативообразных ("квазиэргативных") конструкциях, варьирующимися к тому же по отдельным языкам, а также в конструкциях должностования и других, где логический субъект оформлен на сильном падежом, в пассивных конструкциях (если он упоминается) и в случаях, где мы сталкиваемся с другими "кандидатами" на эту роль (например, "субъектом обладания"). Обсуждение это суммируется схематическим воспроизведением основных типов глагольного предложения в виде дерева зависимостей с субъектом в вершине (с. 363—364).

Тесно смыкается с названной и проблема объекта — собственно, исследователь часто встает перед выбором, как квалифицировать конкретный именной член. Ответ придется искать не в оформлении имени, которое ничего не доказывает, а в факторах позиционных (обычно объект непосредственно предшествует глаголу) и, добавив, контекстуальных. Попутно автор касается

вопроса о так называемых отыменных глаголах, представляющих собой сочетание имени с глаголом (чаще всего со значением "делать"), где существительное может "вести себя" как объект, диктуя согласование глагольному компоненту в формах совершенного вида.

Кратко охарактеризовав, опять же с точки зрения нормативной позиции членов, именно (субстантивные и адъективные) конструкции, автор переходит к глагольным. Не возвращаясь к рассмотренным ранее вопросам объектного управления, он берет их здесь в сознательно суженном виде — как сочетания глагола с глаголом: "главного" — значимого, выступающего в какой-либо из непредикативных форм и занимающего в сочетании крайнюю левую позицию, и "вторичного", определяемого чаще всего как модальный (регулярные вспомогательные глаголы, выражающие время/наклонение, располагаются правее модального и в счет не идут). Предлагаемая классификация этих конструкций воплощена в восьми таблицах, где они собраны по функциональному признаку, выражаемому переводом основного значения, вносимого модальным глаголом: 1) "мочь", 2) "преуспевать в чем-л.", 3) "кончать", 4) "желать чего-л.", 5) "приходиться (делать что-л.)", 6) "долженствовать", 7) "начинать[ся]" и "допускать", 8) "продолжать", "практиковать". Формальные показатели таких конструкций (окончание главного глагола + корень модального) расположены в таблицах по географическому признаку тремя столбцами, представляя западные языки (от северного кашмири до южного маратхи), центральные (непальский, хинди и в отрыве от них сингальский) и восточные. Такое их соположение, с одной стороны, позволяет вывести любопытные соотношения ареального характера, а с другой, намечает линию дальнейших исследований в области НИА глагольного синтаксиса, поскольку предложенное К. Масякой обобщение выступает пока лишь в виде канвы, на которой отсутствует немало деталей узора. Во-первых, как это признает и сам автор, требует дальнейшего обсуждения статус некоторых из рассматриваемых здесь сочетаний — окончательный ответ на вопрос, что здесь относится к синтаксису, а что может переходить в разряд регулярного аналитического словоизменения глагола, еще нужно искать, тем более что процесс грамматикализации таких сочетаний в разных языках идет далеко не равномерно. Во-вторых, коррективы в полученную картину способно внести обращение к "малым" языкам и диалектам, остающим-

ся пока за сценой, к тому же и в охваченных основных языках остаются местами "белые пятна", откровенно помеченные в таблицах знаком вопроса. Ответить на эти вопросы сможет только целенаправленный поиск многих специалистов, стимулом к которому способна послужить предложенная К. Масякой схема.

В заключительных разделах главы бегло освещаются трансформации простого предложения при выражении вопроса и отрицания, допустимые случаи инверсии и опущения членов предложения, рассматриваются союзы и частицы, служащие средствами сочинительной связи, а также основные конструкции сложного предложения, классифицируемые по типам включения придаточного. Разумеется, исчерпать специфику НИА синтаксиса в одной главе невозможно, но в ней удачно выделены и наглядно представлены характернейшие его черты и среди них ряд вопросов, вызывающих больше всего разногласий. Она послужит хорошей основой для дальнейшего поиска.

Закрывают книгу упомянутые в начале рецензии "Приложения", поглавные примечания (с. 464—479), библиография (с. 480—510), указатели языков (с. 511—525) и общий предметный (с. 526—539). Эти указатели существенно облегчают пользование книгой как справочником. В построении же библиография, включающей 800 названий, разнесенных в алфавитные списки по восьми десяткам языков и предвещающий их общелингвистический, не учтено то обстоятельство, что искать в ней цитируемые источники по ссылке на автора и год издания не всегда легко и специалисту, ориентирующемуся в литературе, не говоря уже о неопытах. Сквозная нумерация работ списка при сохранении его строения намного облегчила бы эту задачу.

В целом книга дает наглядное системное представление соотношения индоарийских языков по основным структурным уровням, четко выделяя центральные (в обоих смыслах: системном и пространственно-территориальном) черты и достаточно подробно характеризует периферийные (в тех же смыслах) отклонения от преобладающей нормы. Она может быть рекомендована как надежный источник достоверной и удачно обобщенной информации лингвистам-типологам, широким индоевропейцам, а вместе с тем — как средство расширения профессионального кругозора — тем индологам, которые, занимаясь практическим изучением и преподаванием конкретных языков, хотят лучше понять своеобразные внутренние механизмы их развития и функционирования.

Особенно рекомендую ее вниманию своих соотечественников, поскольку книга являет тот редкий случай в западном индологическом языковедении, когда к теоретическому обобщению наряду с западноевропейской, американской и индийской специальной литературой широко привлекается русская, причем отнюдь не формально, а с компетентной оценкой и творческим использованием содержащихся в ней идей. Касательно наших работ, непосредственно связанных с обсуждаемыми К. Масикой вопросами, можно заметить лишь единичные упущения. В их числе помимо упоминавшейся работы А.Л. Баранникова о сложнопредикатных глаголах [16] назову статью В.М. Бескровного о глагольных сочетаниях хинди с *rahnā* (УЗЛГУ № 279. Л., 1960) и Т.Я. Елизаренковой об эргативных конструкциях НИА языков (Л., 1967) и первый том издания "Языки Азии и Африки" (М., 1976), более чем наполовину посвященный индоарийским языкам. Правда, все они не только не противоречат высказанным К. Масикой идеям, но могут служить дополнительным их подтверждением.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Bhandarkar R.G.* Wilson philological lectures on Sanskrit and the Derived languages. Delivered in 1877 // Collected works of Sir R.G. Bhandarkar. V. IV. Poona, 1929.
2. *Beames J. A.* comparative grammar of the modern Aryan languages of India. V. I—III. L., 1872—1879.
3. *Hoernle A.F.R.* A comparative grammar of the Gaudian languages L., 1880.

4. *Kellogg S.H.* A grammar of the Hindi language, in which are treated the High Hindi, Braj and the Eastern Hindi of the Rāmāyan of Tulsī Dās, also the colloquial dialects of Rājputānā, Kumāon, Avadh, Rīwā, Bhojpūr, Magadha, Maithīlā etc. with copious philological notes. 3rd ed. L., 1938
5. *Grierson G.A.* On the modern Indo-Aryan vernaculars // Indian antiquary. Bombay, 1931—1933.
6. *Bloch J.* L'indo-aryen du Veda aux temps modernes. P., 1934 (cf. Bloch J. Indo-Aryan from the Vedas to modern times. English edition largely revised by the author and transl. by Master A. P., 1965).
7. Current Trends in linguistics / Ed. by Sebeok Th. A. V. 5: Linguistics in South Asia. The Hague, 1969.
8. *Masica C.P.* Defining a linguistic area: South Asia. Chicago, 1976.
9. *Зозграф Г.А.* Морфологический строй новых индоарийских языков (Опыт структурно-типологического анализа). М., 1976.
10. *Joos M.* The English verb. Oxford, 1964.
11. *Каменина Т.Е.* Язык хинди. М., 1960.
12. *Баранников А.П.* Хиндустани (урду и хинди). Л., 1934.
13. *Pařizka V.* On the perfective verbal aspect in Hindi. Some features of parallelism between New Indo-Aryan and Slavonic languages // AO 1967-1969. V. 35—37.
14. *Hook P.E.* The compound verb in Hindi. Ann Arbor, 1974.
15. *Lienhard S.* Tempusgebrauch und Aktionsartenbildung in der modernen Hindi. Stockholm, 1961.
16. *Баранников А.П.* Сложнопредикатные глаголы хиндустани и их смысловые эквиваленты в русском языке // Язык и литература. Т. II. Вып. 1. Л., 1927.

Зозграф Г.А.

Рубинчик Ю.А. Лексикография персидского языка. М.: Наука, 1991. 224 с.

Значительным событием в иранистике явился выход в свет монографии Ю.А. Рубинчика, в которой нашел свое освещение и решение широкий круг актуальных и важных проблем современной персидской лексикографии. В этой первой фундаментальной лексикографической работе по иранским языкам подвергаются последовательному, детальному и комплексному рассмотрению вопросы теории и практики составления толковых и двуязычных переводных словарей персидского языка.

Книга состоит из Предисловия, пяти глав и Заключения. Автор начинает свое исследование с краткого, но глубокого анализа истории персидской лексикографии, уделив особое внимание характеристике и оценке

основных современных словарей персидского языка, изданных в Иране и в нашей стране. В конце гл. I "Персидская лексикография: проблемы и состояние разработки" (с. 22) им формулируется круг задач, стоящих перед составителями персидских переводных и толковых словарей: определение словарика и выработка критериев отбора лексических и фразеологических единиц для словарей различного объема и назначения; принципы выделения и представления в словаре различных типов лексического и фразеологического значения; решение проблемы соотношения полисемии и омонимии в преломлении к лексикографической практике, а также словарная разработка различных частей речи; отграничение слож-

ных слов, имеющих синтактикоподобную структуру, от соответствующих им по составу фразеологизмов; лексикографическое представление в словарной статье производных, сложных и сложнопроизводных слов; определение объемов фразеологии, структурно-семантическая типология и способы презентации в словарной статье фразеологического материала; решение проблемы вариантности и синонимии лексических и фразеологических единиц и поиск наиболее рациональных способов отсылок в корпусе словаря; структура словарной статьи, включение в нее слов, относящихся к разным лексико-грамматическим разрядам; выделение и группировка значений многозначных слов. В последующих главах и разделах книги Ю.А. Рубинчик дает свое понимание и теоретическое осмысление как этих, так и многих других затрагиваемых вопросов.

Как правило, автор не только указывает на наличие тех или иных проблем, но и предлагает конкретные пути их разрешения. Многие из них были найдены Ю.А. Рубинчиком во время практической работы по составлению двухтомного персидско-русского словаря, авторским коллективом которого он руководил в течение всего периода его создания. Словарь выдержал три издания (1970, 1983, 1985), что дает основание говорить о достаточной и надежной апробации выдвигаемых автором рецензируемой книги теоретических положений.

В гл. II "Лексикографическая разработка персидской лексики" выдвигаются критерии отбора лексических единиц персидского языка и принципы составления словаря. Автор справедливо считает, что в основу создания любого словаря современного персидского языка должен быть положен принцип нормативности, от чего зависит как объем лексики, включаемой в словарь, так и характер ее обработки. Конкретные критерии определения нормы вырабатываются автором в отношении различных пластов лексического состава: устаревшей и малоупотребительной, обиходно-разговорной и диалектной лексики, неологизмов и терминов. Кроме того, рассматриваются проблемы подачи в словаре иноязычной лексики, онимов, а также вопросы отражения в словарях различных лексико-грамматических классов слов.

Несомненным достоинством работы следует признать экскурсы в область лексикологии персидского языка, предваряющие рассмотрение вопросов собственно персидской лексикографии. Особую ценность, по нашему мнению, представляют тонкие на-

блюдения автора за изменениями, происходящими в лексике современного персидского языка. Книга изобилует богатым фактическим материалом, многие же новые слова и новые значения слов, появившиеся в последние годы в персидском языке, встречаются только в ней. В каждом подразделе повествуется о состоянии изученности обсуждаемого вопроса, при этом, как правило, приводится и точка зрения иранских ученых в области персидской лексикологии и лексикографии. В частности, довольно подробно в книге освещена деятельность Академии языка и литературы (Фархангестан-е Иран, 1935—1941) и Академии языка Ирана (Фархангестан-е забан-е Иран), организованной в 1970 г., много внимания уделено изменениям, происшедшим в лексике персидского языка после свершения исламской революции в Иране в 1979 г.

Хотелось бы особо отметить раздел главы, в котором рассматриваются вопросы, относящиеся к лексикографической разработке арабских заимствований в персидском языке, составляющих не менее половины его лексического состава. Принимая во внимание тот факт, что арабская лексика претерпела существенные изменения в процессе ее адаптации персидским языком, выявление и систематизация изменений как формы слова, так и его значений, с большой тщательностью проведенные автором, позволили ему обосновать и разработать принципы и приемы ее фиксации в корпусе словаря. Это касается, в частности, решения вопроса о целесообразности фиксирования значений у некоторых арабских причастий, обычно выступающих в роли именной части сложных глаголов и проявляющих лексико-синтаксическую несамостоятельность. Основанием для выделения словарного значения у такого рода причастий служит его появление при их использовании в других функциях. Например, у слова *варэд* значения "входящий, прибывающий; импортируемый; причиненный, нанесенный" реализуются в том случае, если слово, получая суф. "э", выступает в роли определения в составе атрибутивного сочетания. Конкретные вопросы фиксирования в словаре слов, не имеющих самостоятельного значения, рассмотрены в гл. IV (с. 180—184).

Хорошо известно, какие большие трудности возникают в персидском языке при отнесении слова к той или иной части речи, а проблема их лексикографической разработки и презентации в словнике поистине может считаться центральной для каждого лексикографа. Поэтому краткое и четкое описание основных характеристик лексико-

грамматических классов персидских слов, без сомнения, заслуживает высокой оценки. В нем подвергнуты лексикографическому анализу основные части речи персидского языка, при этом особое внимание обращается на выделение тех грамматических и деривационных форм, которые должны быть зафиксированы в корпусе словаря; подробно рассматриваются трудные случаи, когда грамматические формы образуются не по правилам, подверглись семантическому изменению или лексикализовались.

В целом следует отметить, что рецензируемая работа подводит итог многолетних исследований Ю.А. Рубинчика в области лексикологии и лексикографии персидского языка. На страницах книги часто встречаются конкретные рекомендации и советы по составлению словарей, обращается внимание на те или иные трудности, с которыми могут сталкиваться лексикографы.

Гл. III "Лексикографическая разработка фразеологии" является логическим продолжением предыдущей монографии Ю.А. Рубинчика "Основы фразеологии персидского языка" (М., 1981), в которой подвергнут детальному изучению и систематизации фразеологический состав персидского языка.

Автор является сторонником широкого понимания объема фразеологии, справедливо исходя из интересов пользующегося переводным или толковым словарем. Такой подход позволяет достаточно полно охватить и описать устойчивые словесные комплексы различной структуры и разного семантического диапазона. Он наглядно показывает, что принципы расположения персидских фразеологизмов в специальных фразеологических словарях существенно отличаются от принципов их фиксирования в толковых и переводных словарях общего типа. Большим достоинством работы следует считать разработку теории опорного слова фразеологической единицы и его выделения в разных структурных типах персидских фразеологизмов. Это позволяет разместить богатый фразеологический материал внутри словарных статей наиболее рациональным и оптимальным способом, облегчает нахождение в словаре нужного фразеологизма, позволяет исключить необоснованные случаи его повторной подачи и тем самым уменьшить объем словаря. Вместе с тем правила определения опорного слова в фразеологизмах, сформулированные автором, достаточно просты и понятны читателю и могут быть быстро освоены пользующимися словарем.

В этой связи необходимо заметить, что именно отсутствие четких научных крите-

риев лексикографической разработки фразеологии не позволило представить достаточно полно и последовательно фразеологический материал в переводных и толковых словарях, изданных за рубежом, в том числе и в Иране.

В данной главе рассмотрены многие теоретические и практические вопросы подачи в словарной статье основных видов именных, глагольных фразеологических единиц и фразеологизмов-предложений.

Среди вопросов, затронутых в связи с фразеологией, несомненный интерес вызывает такая актуальная для персидского языка проблема, как отграничение именных фразеологизмов от сложных слов, имеющих идентичную структуру и сходный состав компонентов. Тщательный теоретический анализ, выполненный автором с привлечением большого фактического материала, позволил ему выработать верные диагностические признаки отграничения сложных слов от именных фразеологизмов, обладающих различными семантическими и структурными характеристиками: изафетных, предложных, копулятивных, основанных на примыкании, беспредложных и безызафетных сочетаний-повторов. На основе выделенных критериев даются практические рекомендации и способы их лексикографирования.

Впервые в области персидского языка подробно подвергнут всестороннему изучению и описанию такой весьма распространенный, но не привлекавший к себе достаточного внимания специалистов-лексикографов разряд фразеологизмов, как именные и глагольные моделированные словосочетания серийного типа. Их разработка и семантизация в словаре, способы представления моделирующего компонента вызывают определенные трудности. В отличие от типичных фразеологизмов моделированные образования представляют собой структуры открытого типа, и в персидском языке появляется довольно значительное число новообразований по этим моделям. Поэтому включение их в словари, без сомнения, облегчит правильное истолкование их значения и перевод. Рекомендации автора по систематизации моделированных словосочетаний, приемам и способам их представления в словарной статье могут быть с успехом использованы как при научном описании терминологических систем персидского языка, так и при создании словарей терминов той или иной отрасли, поскольку многие персидские термины образуются по моделям серийных словосочетаний.

Заслуга автора в лексикографической разработке коммуникативных фразеологиче-

ских единиц состоит прежде всего в том, что им впервые был поставлен и решен в теоретическом плане вопрос о словарной форме фразеологизмов-предложений. До сих пор в толковых словарях персидского языка фразеологизмы-предложения фиксируются в искусственной форме инфинитивного словосочетания, следуя традициям средневековой иранской лексикографии. В качестве примера можно привести фразеологизм-предложение *муї бър тән-диш раст шод* "он сильно испугался" (букв. "волосы на его теле встали дыбом"), который подается в известных иранских словарях персидских фразеологизмов, пословиц и поговорок Юсефа Рахмати, Амира Голи Амнини, Юсефа Джамшиди-Нура в виде *муї бър тән раст шодан* (букв. "волосы на теле вставать дыбом"), тогда как данный фразеологизм может использоваться только с глагольным компонентом, выраженным в финитной форме. Фиксация же фразеологизмов-предложений в такой условной словарной форме, конечно, сбивает пользующегося словарем, создаст неправильные представления о реальном функционировании фразеологизма в речи.

К сожалению, в монографии лишь в самом общем виде поставлен вопрос о необходимости фиксации в словарной статье парадигматических ограничений, наиболее характерных для глагольных фразеологизмов и фразеологизмов-предложений, которые отражали бы реальный круг употреблений той или иной группы фразеологических единиц.

Автор убедительно аргументирует необходимость включения в состав словарной статьи персидских пословиц и поговорок, однако, по нашему мнению, в книге недостаточно четко проведено разграничение между пословицами и поговорками, с одной стороны, и поговорками и фразеологическими единицами, с другой.

Следует также отметить, что в книге не поставлена проблема подачи буквального значения фразеологизмов с идиоматичным значением. Если исходить из интересов читателя, то по крайней мере в двух случаях следовало бы снабдить фразеологическую единицу буквальным переводом, передающим образ, который лег в основу ее значения:

а) когда в состав компонентов фразеологизмов входит многозначное слово и не ясно, какое из значений лежит в основе подлинной внутренней формы. В качестве примера можно привести фразеологическую единицу *Ин диғар че сиғэ-и-ст?* "Это еще что значит?", в котором слово *сиғэ* является

многозначным: 1) "формула, произносимая при заключении какого-либо договора; 2) грамматическая форма; грамматическая категория; 3) временный брак, заключенный на определенный срок; 4) сигэ, временная жена; женщина, взятая в жены на определенный срок; наложница";

б) когда возможна неоднозначная трактовка образа, передаваемого буквальным переводом фразеологической единицы. Например, фразеологизм *амд мэс-е ин-ке му-йдиш-ра атзи эдэ-днд* "он появился неожиданно, внезапно" букв. "как будто подожгли (сожгли) его волос(ы)" может быть истолкован следующим образом: "как будто его волос бросили в огонь (и вызвали с помощью чар)" или "как будто подожгли его волосы (на голове)" и т.д.

Незнание же образа, лежащего в основе значения фразеологизма, или неоднозначность его трактовки не позволяют понять в полной мере окказиональные, авторские трансформации фразеологической единицы, которые нередко встречаются в живой устной речи и в произведениях художественной литературы.

В гл. IV "Структура словарной статьи" излагаются принципы составления словарной статьи и расположения лексико-фразеологического материала. В ней в сжатом виде находят свое выражение основные положения, выработанные автором в ходе проведенного исследования. Исходя из анализа особенностей лексико-семантической системы персидского языка, он приходит к обоснованному выводу о целесообразности выделения в словарной статье лексического и фразеологического разделов. Здесь следует особо отметить обстоятельную лексикографическую разработку значений персидского слова, где автор предлагает конкретные пути решения сложных вопросов разграничения полисемии и омонимии, лексического и фразеологически связанного значений слова, выделения значений знаменательных морфем и компонентов моделированных образований. В разделе приводятся способы лексикографического описания этих значений, подробно рассмотрена проблема выделения значений полисемантических слов и основные принципы их рубрикации.

Структурная классификация персидских фразеологизмов, разработанная Ю.А. Рубинчиком, удобна как для практики составления словаря, так и для пользующегося им.

Завершается монография главой, которая посвящена лексикографическим проблемам персидской орфографии, фонетики и транскрипции. Отсутствие орфоэпических и ор-

фографических словарей в Иране вызывает безусловные трудности при создании толковых и переводных словарей. Поэтому становится понятным, почему автор подробно анализирует состояние правописания в современном Иране, различные подходы к решению данных проблем в имеющихся словарях персидского языка. В этой главе даются выработанные автором практические рекомендации составителям словарей по транскрибированию.

В заключение хотелось бы отметить, что рецензируемая монография во многом носит новаторский характер и является существен-

ным вкладом не только в персидскую, но и в общую теорию лексикографии. С выходом книги закладывается надежный фундамент дальнейших научных исследований в этой области иранского языкознания, ее выводы и рекомендации, безусловно, будут способствовать улучшению качества практической работы по составлению словарей персидского языка различного типа и профиля. Она может также служить ценным пособием для чтения курса по персидской лексикографии в востоковедных вузах страны.

Веретенников А. А.

Lamberterie Ch. de. Les adjectifs grecs en -ος: Sémantique et comparaison. V. 1—2. Louvain-la-Neuve: Peeters, 1990. 1035 p.

Двухтомная монография французского лингвиста Ш. де Ламбертери посвящена одному классу слов — греческим прилагательным на *-ος*, соответствующему общиндоевропейскому классу прилагательных на *-u-*. Для анализа автор собрал все известные греческие прилагательные этого типа, не только реально зафиксированные, но и восстановленные на основе композитов и словообразовательных моделей. Всего рассмотрено около 40 лексем и их производных. Временные рамки анализируемого материала весьма широки — от Гомера и микенских текстов до современного греческого.

Во Введении (с. 1—41) автор отмечает, что среди греческих прилагательных на *-ος* можно найти много достаточно архаических форм, находящихся особенно явные параллели в древнеиндийском. Ср. греч. ἡδύς — др.-инд. *svadú* "сладкий, приятный", βαρύς — *gurú* "тяжелый, весомый" (др.-инд. также "учитель, наставник"), ἕλαχός — *laghú* "легкий", ὄκός — *ācú* "быстрый" и мн. др. Достаточно подробный список этих соответствий приведен у К. Бругмана [1]. При этом важно заметить, что совпадают не только корень и аффикс, но и структура слова целиком, в частности, морфология (нулевой вокализм корня). Дискуссионным автор считает только вопрос о соотношении греч. *πολύς* и др.-инд. *purú* "много": последний пример демонстрирует нулевую ступень корня, как и гот. *filu*, др.-ирл. *il*, тогда как вокализм греческой формы остается неясным. С нашей точки зрения, здесь возможны два решения. Представители классической ларингальной теории видят в этом так называемый ларингал *H₃, который

окрашивает вокальные элементы тембром *o*: **pH* > **pal* > *pol*-; ср. дериват того же корня: πόλις - др.-инд. *pur*, литов. *pilis* "город" [2, с. 179]. Недостатком подобного объяснения является наличие дериватов, лишенных этого тембра: лат. *plenus* (**pleH*). Поэтому вероятнее видеть в греч. πόλις и πολύς эолийско-ахейский рефлекс **λ*, ср. эол. γροφεύς - атт. γραφεύς "писец" (и.-е. **gh₂rbh-*, ср. др.-в.-нем. *ceorfan*, нем. *kerben*, церк.-слав. жръбни), греч. στόβρις — др.-инд. *stṛóti*, греч. βρυχι — др.-инд. *móti*. Таким образом, πολύς не выбивается из общей картины; лексемы с нестандартным оформлением слоговых плавных, по-видимому, вместе с другими эолийскими и ахейскими элементами проникли в язык Гомера (о плавных см. [3, с. 49]), и некоторые стали позднее достоянием литературного языка.

Построение книги служит максимально точному описанию семантики прилагательных. Основная морфологическая и сравнительно-историческая проблематика изложена в первой главе (с. 41—72); остальные главы именуют различные семантические поля: гл. II "Пространство, формы измерения" (с. 72—318); гл. III "Физические качества и чувственные ощущения" (с. 319—596); гл. IV "Множество, изобилие и связанные с ним понятия" (с. 597—742); гл. V "Другие качества" (добро/зло, привлекательность/непривлекательность; мужское/женское) (с. 743—906). Глава VI (с. 907—950) включает в себя три словообразовательных этюда: прилагательное πρεσβύς "старый, почтенный" рассматривается как древний композит **preis-g'u-* "вперед-идущий, впереди-стоящий" ("прежний", "ста-

рий"), ему родственно арм. *eies* (с помощью которого в переводных текстах и передавалось греч. *πρεβύς*) и, возможно, лат. *priscus* "пожний, старый". Прилагательные *ἴτος* "отдельный" и *ἡμισός* "половинный", по мнению Ш. де Ламбертери, репрезентируют суф. *-*tu-*, хорошо известный как суффикс существительных и прилагательных. В микенском *ewisuzoko* (киосские таблицы), *ewisu-79-ko* (Пилюс) "равновесный (?)", автор видит древнее **εἰσιτός*, соотносящееся с греч. *ἴτος* < **εἰσιτός* "равный" как первичное атематическое с производным тематическим.

Соответствие греческого и идиоанского распространяется не только на морфологическую структуру первичных прилагательных, но и на их словоизменительную и словообразовательную деривацию: греч. им. п. *ἡδύς* др.-инд. *svadhūh*, вин. п. *ἡδύν* — *svadhūm*, им. п. мн.ч. *ἡδέες* — др.-инд. *svadhāvah*, *ἄκός* — др.-инд. *ācūh* — авест. *āsuš*, *ἄκέες* — др.-инд. *ācāvah* — авест. *āsauuo*. Во всех названных языках от этих прилагательных прехосходная степень образуется одинаково: суф. -*u-* заменяется на -*i-* и прибавляется дополнительный суф. -*to-* греч. *ἡδίστος* др.-инд. *svādīstha*, *ἄκιστος* — *ācīstha*, авест. *āsišta*. Соответствия имеются и на уровне формул: гомер. *ἄκεις Ἴπλοι* "быстрые кони" соответствует вед. *ācvaso ācāvo*, *ācunt acvāt* (вин. п.), авест. *āsuš aspu* (им. п. ед. ч.), *āspanho...* *asauuo*. Вообще прилагательные на -*u-* образуют важную греко-арийскую изоглоссу, стягивающую в себя достаточно много элементов (см. [4] о различении понятий изоглоссы и простого соответствия).

По соотношению с системой данных прилагательных автор разделяет все и.-е. языки на три большие группы. В первую входят те, в которых эти прилагательные получили значительное развитие. В индоиранских языках этот способ является весьма продуктивным, так как с его помощью образуются многие оплагольные прилагательные, в том числе и от производных основ. Это — так называемые "псевдо-причастия" (quasi-participles) от дезидеративов на -*sa-*, отыменных глаголов на -*ya-*: др.-инд. *didrksū* "жаждущий увидеть" (*didrksāti* — дезидератив от *dr̥c* "видеть"), *vasuyū* "жадный до богатства" (*vasūyati* "жаждать богатства" — производное от *vasū* "богатство, добро", ср. р. от *vasūh* "хороший, добрый"). Достаточно развита эта категория также в литовском языке, она сохраняет продуктивность, так как оформляет многие современные заимствования: *aktualūs*, *elementarūs*, *specialūs*. Женский род

у этих имен образуется с помощью суф. -*i-*: *platūs* "широкий" — *plati* "широкая". Некоторые падежи изменились по аналогии с основами на -*i* под влиянием жен. рода: дат. п. ж. р. *plāčiai* — м.р. *plāčiam* вм. ожидаемого **platiui*; ср. у существительных: *sunūs* — *sunūi*. Кроме того, в литовском имеются существительные, являющиеся субстантивированными прилагательными, например, упоминавшееся *sunūs* "сын", ср. др.-инд. *sūnū*, производное от глагола *su/sū* "выжимать сок; рожать". К этой же группе языков относится и хеттский, в котором можно наблюдать следующую закономерность: основа прилагательных на -*u* приобретает в косвенных падежах полную степень, тогда как у существительных сохраняется нулевая степень: *aššu* "хороший", род. п. *aššayaš* — *genū* "колени", род. п. *genūyaš*. Это обстоятельство проливает свет на некоторые особенности апофонии у существительных и прилагательных на -*i-* и -*u-*. В древнеиндийском они подразделяются на две группы. У одной флексия генитива не отличается от флексии номинатива, а последний слог основы становится полногласным (так называемые протеродинамическое имена), у другой группы основа не изменяется, а генитив, как и в согласном склонении, противопоставляет своей полной степени вокализма номинативу с нулевой степенью (гистеродинамическое имена): ср. с одной стороны, др.-инд. *agnih/agneh*, *sunuh/sunoh*, с другой — др.-инд. *dāru* "дерево" / *druvāh*. В греческом генитив всегда полногласен, а основа изменяется у всех прилагательных и части существительных: *ἰχθύς* "рыба" / *ἰχθύος*, но *πῆχυς* "локоть" / *πῆχεος* < **πῆχητος*. По мнению Э. Бенвениста [5], первичные имена на -*i-*, -*u-* были гистеродинамическими, а производные — протеродинамическими. Но это соотношение нарушено уже в ведическом наряду с *druvāh* появляется генитив *drōh* (**draus*). В эпическом же и классическом санскрите соотношение обоих типов вполне однозначно: имена на -*i-* / -*u-* протеродинамичны (примеры см. выше), имена на -*iū-* (жен. рода) гистеродинамичны: *devī* "богиня" / *devyāh*. Исходя из общего тяготения имени прилагательного к окситонности и связанной с ней полной степени ауслота словоформы, гипотезу Э. Бенвениста можно переформулировать следующим образом. Существительные на -*u-* были изначально гистеродинамическими, т.е. при словоизменении к их основе присоединялась флексия: прилагательные же на -*u-* были протеродинамическими, т.е. словоизменение затрагивало ауслот их основы. Это связано с

общей тягой прилагательных к окситонезе, а существительных к баритонезе (аналогично типу τόνος/τόμος), что наглядно подтверждается сопоставлением греч. λήγυς (*bhéHghu) с πάχυς "густой" (*bhngǵhú). Эти соображения подтверждаются хеттскими данными. О соотношении силового акцента и аблаута см. [6].

Ко второй группе языков относятся те, в которых сохраняются лишь пережитки данной категории. Это германские и кельтские языки. Так, др.-ирл. *tiug* "острый" восходит к **tiġu*, *fiuch* "важный" < **uliku*; следы этого типа можно видеть также у префигурованных прилагательных: *ciung* < **kom-angu* "дальний", *driug* < **di-regu* "правый". Словоизменение у этих прилагательных заимствовано у тематических имен: *dub* "черный" — (< **dubu*, ср. литов. *dubùs* "глубокий") — род. п. *duib* (< **dub-i*); ср. тематическое *macc* "сын" — род. п. *maicc* (огамическое *maġi*). В германских языках тоже можно наблюдать только следы прилагательных на *-i-*: гот. *Ɔaurus* "сухой", вич. п. муж. р. *Ɔaurusjan*, им. п. жен. р. *Ɔaurusja* (ср. литов. *platus* — *plati*). Др.-норв. *Ɔurr* вообще лишено всяких показателей основы на *-i-* и склоняется как обычное прилагательное. В общем можно констатировать, что лишь в самых архаических германских языках есть номинативы и аккузативы прилагательных, восходящие к этой основе.

К третьей группе относятся языки, в которых прилагательные на *-i-* регулярно замещаются другим типом. Так, в латинском основа на *-i-* сохранилась, по-видимому, только в композите *acufolius* "имеющий острые листья" (а также в производных: глагол *acuo* "заострять", причастие *acutus* "острый"). В основном же исконные прилагательные на *-i-* дополнены здесь суф. *-i-*: греч. ἡδύς, др.-инд. *svadú* — лат. *suavis*; греч. βραχύς (< **myghu-*) — лат. *brevis*. Согласно традиционной точке зрения, причиной этого является обобщение основы жен. рода на *-i* (помимо указанных литовских примеров, где суф. *-i-* замещает суф. *-u-*, см. древнеиндийские, где первый суффикс дополняет второй: *prithu* — *prithivi* [1, с. 214]). По этому поводу автор с полным основанием замечает, что в латыни суф. жен. рода **iH* отражается как *-ic*: *genitor* — *genetrix* (греч. γενέτωρ — γενέτειρα, др.-инд. *janitri* "родительница"). Прилагательные же типа *mollis* (**moldvis*, ср. литов. *maldùs*), *tenuis* сформировались в результате контаминации суф. *-u-* и *-i-*. В этой связи автор отмечает, что формы на *-u-* часто оказываются параллельны тематическим: *tenuis*

"тонкий" — *con-tinuus* "протяженный", *brevis* — ток. А *mrakwo*, лат. *levis* — литов. *leġivas*.

В славянских языках, по мнению Ш. де Ламбертери, есть только одно прилагательное, достоверно репрезентирующее основу на *-i-*: *mladъ* (и рефлексы в современных языках), ср. литов. *maldùs*, греч. *ἀμάλδύς, реконструированное на основании глагола ἀμάλδύω. Это утверждение не представляется абсолютно бесспорным. Ю.В. Откупщиков [8, с. 36] отмечает несколько русских прилагательных без суффикса *-ык-*, прямо соответствующих литовским прилагательным на *-i-*: *мъдръ* — *mandrùs*, *осмръ* — *astrùs*; диал. *лыкий* "горбатый" — *lnkùs* "гнушийся", *не-ук* "необъезженная лошадь" — *jaikùs* "смирный". Но Ю.В. Откупщиков при этом отмечает, что эти изолированные в словообразовательном отношении примеры нельзя отнести с уверенностью к старым основам. Данный вопрос требует дальнейших исследований.

Регулярно же литовским и индоевропейским прилагательным на *-i* соответствуют славянские на *-ык* (ср. еще [7; 8]): литов. *saldùs* — *сладъкь*, лат. *levis* — *льгъкь*, др.-инд. *athu* — *тхъкь*. Этот суффикс представляет собой расширение исконного *-i-* формантом *-ko-*, имеющим посессивное и уменьшительное значение. (На вопрос о том, какая функция первична — диминутивная или посессивная — едва ли можно дать однозначный ответ. Оба этих значения часто выражаются единым суффиксом: др.-инд. *maryaka* "карлик", но *astaka* "наш"; греч. суф. *-to-*, *-tdio-* в качестве адективных маркируют прилагательные прилагательные, а в среднем роде — диминутивы.)

Надо заметить, что в некоторых случаях суф. *-iko-* восходит к индоевропейскому состоянию; так, церк.-слав. *сладъкь* (литов. *saldùs*) близок к греч. ἀλυκός "соленый", а русск. диал. *солкий* совпадает с ним поморфемно (и семантически). Распространение данного суффикса в славянском связано с законом открытых слогов и редукцией конечных гласных, в результате которой прилагательные на *-i-* совпали с тематическими именами и понадобилось морфологическое средство, характерное именно для прилагательного. Им стал суф. *-i-*, находящийся в сочетании с *-ko-* параллели в других и.-е. языках, но не получивший в них такого широкого распространения, как в славянских.

Вообще суф. *-u-*, как и многие другие, принимает активное участие в контаминациях и чередованиях с другими. Это обстоятельство позволяет реконструировать неко-

торое количество прилагательных на -υ- на основе дериватов. Так, сохранившееся греч. *δρυῖα* "улица" дает возможность предположить наличие **δρυός* "протяженный" (ср. др.-инд. *rjū*). Но производящую основу для таких прилагательных удастся найти далеко не всегда. Если *βριθός* "тяжелый" образован от *βρίθω* "быть тяжелым", то для *λαχός*, *πίτος* "сосна", *μέθυ* "мёд" таких первичных глаголов не засвидетельствовано. Только закономерности в чередовании суффиксов, получающие наименование "закона Калаанда" [10], позволяют понять эти имена как производные, а -υ- - как подлинный суффикс. Согласно Э. Ришу, особенно тесно связаны между собой суффиксы -ι- и -ρο (*κυδαινεῖρα* "славная мужами" — *κυδρός* "славный"), далее в этот круг входят -λος, -ωος, -άλεος, -ιός, -ωος, степени сравнения -ιον, -ιστο-, абстрактные имена на -ος/-εος, композиты на -ησ-, -εσσ-.

Автор подчеркивает, что всегда нужно делать поправку на то, что такие чередования могут развиваться по аналогии у форм, изначально в них не вовлеченных. Так, прилагательное *ἐχθρός* имеет сравнительную степень *ἐχθίων*, превосходную *ἐχθιστός*; сигматическая основа представлена абстрактным существительным *ἐχθος* "вражда", назальная — глаголом *ἐλεχθάνομαι*, простая — аорист от того же глагола — *ἐλεχθόντι*. Но чистая основа *ἐχθ-* есть фикция, так как все названные формы возникли в результате переразложения и опрощения первичного **ἐκσ-τρός*, образованного от предлога *ἐξ* "вне" с помощью пространственного суффикса (ср. лат. *exterus* [5]). Развитие значений шло таким образом: "вне, внешний" — "чужой" — "враждебный". Этот пример, на наш взгляд, показывает не только необходимость критического отношения к словообразовательным моделям, но и — с другой стороны — их устойчивость, благодаря которой эти модели втягивают в себя новые основы.

К числу наиболее устойчивых словообразовательных корреляций автор относит соотношение между прилагательными на -ι- и сигматическими абстрактными именами. Оно находит параллель в индоиранском: греч. *εὐρός* "широкий" / *εὐρος* "ширина" — др.-инд. *urū/vāras*; *πλατός/πλάτος* — *prthū/práthas*; авест. *parədu/šradah*. Эти параллели показывают, что индоиранский сохранил более архаичную морфологию, чем греческий: здесь наличествует различие корневого вокализма (нулевая ступень прилагательного и полная — существительного), тогда как в греческом он унифицирован. Вообще вопрос о морфологии прила-

гательных на -ι- сложен, многие из них обнаруживают полную ступень вокализма, как многократно упоминавшееся *saldūs* — *сладъкь*; нулевая ступень корня представлена греч. *ἀλυός*, русск. *солкий*. Хотя ударение стоит на суф. -ι-, это не приводит к появлению у него полной ступени вокализма, по крайней мере в прямых падежах. Из этого можно сделать вывод, что становление этого класса прилагательных происходило в период замены старого, преимущественно силового индоевропейского ударения на новое — музыкальное [11]; непоследовательность в редукции корневой гласной может объясняться ослаблением экспираторного компонента у ударения. По-видимому, в тот же период сформировались и коррелирующие с прилагательными на -ι- абстрактные имена на -es/-os: безударность суффикса не приводит к его редукции (редуцированным может быть корень у прилагательных на -es: ср. многочисленные греческие композиты с вторым элементом -υνη). Вероятно, прилагательные на -υ- формировались под влиянием конкретных имен типа *τορός* (многие из которых функционировали как прилагательное), а существительные на *es/os* — под влиянием абстрактных имен типа *τόμος*.

После краткого обзора прилагательных на -ι- в и.е. языках автор переходит к определению функции данного суффикса. Этимологический анализ данного класса прилагательных позволяет их в конечном итоге определить как девербативы (так, литов. *saldūs* / слав. *сладъкь*, выглядящие как производные от **sal-d* "соль", ср. гот. *salt*, др.-ирл. *alt*, по сути являются отглагольными, реперентирующими глагол типа лат. *sallo*, гот. *saltan* "солить"). Автор характеризует эти прилагательные как "псевдопричастия", наиболее близкие по значению к перфектным, т.е. выражающие состояние, достигнутое в результате действия. Суффикс подлинно перфектных причастий **-ues-* (др.-инд. -*vas-*, греч. -*φασ-*, слав. -*виш-*, оск.-умбр. -*us*) является расширением простого -ι-. В этом отношении интересно сопоставление др.-инд. перфектного причастия *cikītvāns* "узнавший" с *cikītvās* "знающий, сведущий". Автор определяет функцию суффикса как эссивную (связанную с глаголами, не обозначающими активного действия). Мы бы добавили к этому, что прилагательные на -ι- указывают на большую степень наделенности признаком: помимо указанной оппозиции греч. *πόλις/πολύς*, др.-инд. *pūr/purū* можно отметить др.-инд. *tāna* "продолжающийся; потомство" / *tānū* "долгий, длинный". Не случайно именно на базе -ι- образован аффикс прилагатель-

ного высокой степени **-cent* (др.-инд. *-vant*, греч. *-Fevt*. Итак, значение суф. *-и* определяется как высокая степень достигнутого состояния. Именно поэтому прилагательные на *-и* в греческом обозначают многие важные понятия, связанные с духовными и физическими качествами; можно сказать, что у суф. *-и* в греческом есть достаточно устойчивое семантическое поле. Ряд прилагательных этого класса вступает между собой в отношения синонимии, антонимии, паронимии.

Как показано в рецензируемой работе, особенно богатыми лексическими связями обладает прилагательное *ὄξυς* "острый" (в разных значениях), которое в зависимости от контекста может относиться к различным лексическим полям. На большую многозначность этого слова указывал еще Аристотель (Тописка, I, 15). В значении "острый на ошупь" *ὄξυς* антонимичен *ἀμβλύς* "тупой", "легкий" — *βαρύς* "тяжелый"¹. С другой стороны, *ὄξυς* и *βαρύς* могут выступать и как синонимы, если *ὄξυς* означает "резкий, болезненный; мучительный": ср. *ὄξεῖαι ὀδυρά* (Илиада, II, 268) "болезненные муки" и *ὀδυρά* ... *βαρεῖαι* (Илиада, V, 417) "тяжелые муки". Суммировать наблюдения Ш. де Ламбертери относительно семантических связей прилагательного *ὄξυς* можно следующим образом: А. Антонимы *ἀμβλύς* "тупой", *βαρύς* "тяжелый", *βραδύς* "медленный", *βραχύς* "короткий" в сочетании с *νόος* "разум", *λαγύς*, *πλατύς* "широкий, плотный, плоский", *γλυκύς*, *ἡδύς* "сладкий", *πραῦς* "спокойный, простой"; В. Синонимы — *βαρύς* "мучительный, тяжелый". *δριμύς* "острый, кислый"; *ἰθύς/εἰθύς* "прямой", *θρασύς* "смелый, отважный", *ἴτυς* "громкий, ясный" (о звуке, голосе), *τανύ-* (первый член композита) "длинный", *ὄκυς* "быстрый", *τραχύς* "жесткий". Замечательно, что все члены как антонимического, так и синонимического ряда относятся к одному морфологическому классу.

Другие прилагательные на *-и* также четко структурируют семантические поля. Они обозначают плотность (*λαγύς*), глубину (*βαθύς*), длину/короткость (*βραχύς* "короткий"), величину (*ταῦς* "большой", *λίγυς* "маленький, легкий"). Ряд прилагательных (рассмотренных во втором томе рецензируемой книги) обозначает различные нематериаль-

ные качества: "хороший/плохой", "смелый", "мужской/женский".

На основании словообразовательных моделей автор реконструирует такие прилагательные, как **τανύς* "длинный", чья основа сохранена в композите типа *τανύ-πέπλος*; продолжением ее в греческом является тематический дериват *τανάος*, микен. *tanawo*. Тематические *στενός*/**στενFός* "узкий" и *μινός*/**μινFός* "маленький" предполагают первичные **στενύς*, **μινύς*. Глагол *ἀμαλδύνω* позволяет реконструировать прилагательное **ἀμαλδύς* (ср. *βαρύνω* — *βαρύς*), *μινύθω* — **μινύς* (ср. *βαρύθω*). Рассматривая соответствия прилагательному *κακός* в других и.-е. языках, автор приходит к выводу, что здесь существовали параллельно две основы: тематическая и основа на *-и*. В близкородственном греческому фригийском языке они сосуществуют: ст.-фриг. *kakiioi/kakioi* (лат.п.), н.-фриг. *kaouu/kakou*. В новогреческом основа древних прилагательных могла изменяться: прилагательные на *-и* заменялись тематическими, а тематические — прилагательными на *-и*. др.-греч. *γλυκύς* — н.-греч. *γλυκός*; др.-греч. *μακρός* — н.-греч. *μακρός*.

Особенно тщательно анализирует автор глоссу Гезихия *ταύς μέγας* "большой". Сложность состоит в том, что корневой ауслат идентичен предполагаемому здесь суффиксу. Автор предлагает рассматривать данную словоформу как *τανύς* < **teHu-ú*. В пользу этой реконструкции свидетельствует нестяжение *au* и акцент на *u*. Производным является прилагательное *σαFός* < **tu-eH-uo*.

Соотношение **teHu-ú* и **tu-eH-ub-*, очевидно, объясняется закономерностями в редукации безударных гласных, констатированными В. Шмальстигом [12]; ближайшие к ударным гласные редуцируются; предшествующие/следующие сохраняются и т.д.

Книга Ш. де Ламбертери — результат удивительно скрупулезного и многопланового исследования в области исторической морфологии и семантики греческого языка. Конечно, тема исследования (индоевропейские прилагательные на *-и*) не может быть исчерпана и более чем 1000-страничной монографией. Остается ряд спорных моментов в морфонологии и морфологии этих прилагательных. Изучение их структуры способно прояснить становление грамматического строя и.-е. языков, в частности, еще и потому, что их формирование, по видимому, происходило в период изменения характера и.-е. ударения. Для этих дальнейших исследований важным подспорьем будет фундаментальная работа Ш. де Ламбертери.

¹ Антонимия *ὄξυς/βαρύς* была использована грамматиками для противопоставления высокого и низкого тона в ударении. Эти термины были скальжированы латинскими грамматиками (*accentus acutus/gravis*) и хорошо известны как в общелингвистической традиции (акут — *gravis*), так и в национальной французской (*accent aigu/grave*).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Brugmann K.* Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen Bd III. Hf. 1. Strassburg, 1906 S. 176—179.
2. *Beekes R.S.P.* The development of Proto-Indo-European laryngeals in Greek. The Hague, 1969.
3. *Strunk K.* Die sogenannten Äoliden der homerischen Sprache. Köln, 1957.
4. *Откупщикова Ю.В.* Диалектный материал и этимология // Этимология. 1984. М., 1986.
5. *Бенвенист Э.* Индоевропейское именное словообразование. М., 1955.
6. *Hirt H.* Der indogermanische Ablaut mit seinem besonderen Verzichtung zum Akzent. Strassburg, 1990.
7. *Эккерт Р.* Основы на -и- в праславянском языке // Уч. зап. Ин-та славяноведения 1963. Т. 27.
8. *Откупщикова Ю.В.* Балтийские и славянские прилагательные с -и- основой // Baltistica. 1983. XIX.
9. *Трубецкой Н.С.* О притяжательных прилагательных (possessiva) в староцерковнославянском языке // Трубецкой Н.С. Избр. тр. по филологии. М., 1987.
10. *Risch E.* Wortbildung der homerischen Sprache. В.; N.Y., 1974.
11. *Гамкрелдзе Т.В., Иванов Вяч.Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. I. Тбилиси, 1984. С. 190.
12. *Schmalstieg W.R.* The Indo-European Linguistics: A new synthesis. Austin; London, 1980.

Красухин К.Г.

**СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ
В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»**

- БЕ — Български език
 ВДИ — Вестник древней истории
 ВИ — Вопросы истории
 ВСЯ — Вопросы славянского языкознания
 ВФ — Вопросы философии
 ВЯ — Вопросы языкознания
 ЕИКЯ — Ежегодник иберийско-кавказского языкознания
 ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
 ЗВО РАО — Записки Восточного отделения Русского археологического общества
 ИАН СЛЯ — Известия АН СССР. Серия литературы и языка
 ИКЯ — Иберийско-кавказское языкознание
 ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН), АН СССР
 ИЯШ — Иностранные языки в школе
 РЯШ — Русский язык в нач. школе
 РЯШ — Русский язык в школе
 СБНУ — Сборник за народни умотворения
 СТ — Советская тюркология
 ФН — Доклады высшей школы. Филологические науки
 ADAW — Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
 AfslPh — Archiv für slavische Philologie
 AGL — Archivio glottologico italiano
 AKGW — Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen
 AL — Acta linguistica
 AmA — American anthropologist
 ANF — Arkiv för nordisk filologi
 AO — Archiv orientální
 APAW — Abhandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften. Philosoph.-hist. Klasse
 BCLC — Bulletin du Cercle Linguistique de Copenhague
 BPTJ — Biuletyn Polskiego towarzystwa językoznawczego

BSLP — *Bulletin de la Société de linguistique de Paris*
 BSOS — *Bulletin of the School of Oriental studies*
 BzNf — *Beiträge zur Namenforschung*
 CAJ — *Central Asiatic Journal*
 CFS — *Cahiers F. de Saussure*
 CJ — *The classical journal*
 FPhon — *Folia phoniatica*
 FuF — *Finnisch-ugrische Forschungen*
 GL — *General linguistics*
 HR — *Hispanic review*
 IF — *Indogermanische Forschungen*
 IJ — *Indo-Iranian journal*
 IJAL — *International journal of American linguistics*
 JA — *Journal asiatique*
 JASA — *Journal of the Acoustical society of America*
 JEGPh — *Journal of English and Germanic philology*
 JL — *Journal of linguistics*
 JP — *Język polski*
 JRAS — *Journal of the Royal Asiatic society*
 JSFOu — *Journal de la Société finno-ougrienne*
 JФ — *Јужнословенски филолог*
 KZ — *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen*
 LaPh — *Linguistics and Philosophy*
 Lg — *Language*
 LIn — *Linguistic Inquiry*
 LM — *Les langues modernes*
 MM — *Maal og minne*
 MSFOu — *Mémoires de la Société finno-ougrienne*
 MSLP — *Mémoires de la Société de linguistique de Paris*
 MSOS — *Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin*
 NSS — *Nysvenska studier*
 NTS — *Norsk tidsskrift for sprogvidenskap*
 PBB — *Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur*
 PMLA — *Publications of the Modern Language Association of America*
 RES — *The Review of English studies*
 RÉG — *Revue des études grecques*
 RÉSI — *Revue des études slaves*
 RF — *Romanische Forschungen*
 RKJL — *Rozprawy Komisji językowej Łódźk. t-wa naukowego*
 RKJW — *Rozprawy Komisji językowej Wrocławsk. t-wa naukowego*
 RLing — *Russian linguistics*
 RLR — *Revue de linguistique romane*
 RO — *Rocznik orientalistyczny*
 RS — *Rocznik slawistyczny*
 SaS — *Slovo a slovesnost*
 SDAW — *Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst*
 SL — *Studia linguistica*
 SMS — *Sbornik matice slovenskej pre jazykozpyt, národopis a literárnu históriu*
 SPAW — *Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften*
 StO — *Studia orientalia*
 SWAW — *Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften*
 TA — *Traduction automatique*
 TCULC — *Travaux du Cercle linguistique de Copulacoe*

TCLP — Travaux du Cercle linguistique de Prague
TIL — Travaux de l'Institut de linguistique
IPhS — Transactions of the Philological society
UAJb — Ungarische Jahrbücher
VR — Vox Romanica
WW — Wirkendes Wort
ZAS — Zentralasiatische Studien
ZCPh — Zeitschrift für celtische Philologie
ZDA — Zeitschrift für deutsches Altertum
ZDMG — Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft
ZDPh — Zeitschrift für deutsche Philologie
ZMaF — Zeitschrift für Mundartforschung
ZNS — Zeitschrift für neuere Sprachen
ZPhon — Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft
ZRPPh — Zeitschrift für romanische Philologie
ZSL — Zeitschrift für Slavistik
ZSLPh — Zeitschrift für slavische Philologie

Технический редактор *Т. И. Васильева*

Сдано в набор 29.12.92	Подписано к печати 12.02.93	Формат бумаги 70 × 100 ¹ / ₁₆		
Офсетная печать	Усл. печ. л. 13,0	Усл. кр.-отт 38,4 тыс	Уч.-изд. л. 15,5	Бум. л. 5,0
Тираж 2903 экз.		Зак. 3956		Цена 10 р. 80 к.

Адрес редакции. 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
телефон 201-74-42

Московская типография № 2 ВО „Наука“, 121099, Москва,, Г-99 Шубинский пер., 6